

УДК 820-3

ББК 84(4Вел)-44

Л78

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Ответственный редактор Алла Николаевская

Художник Сергей Биричев

Лоуренс Д.Г.

Л78

Собрание сочинений: в 7 т. / Дэвид Герберт Лоуренс. — М.: Вагриус: Бослен, 2006—2008.

Т. VII: Сумерки Италии / [пер. с англ. М.Кореневой, А.Николаевской; сост., коммент. А.Николаевской и Н.Пальцева]. — Бослен, 2008. — 560 с.

ISBN 5-9697-0108-4

ISBN 978-5-91187-050-8 (т. VII)

Произведения выдающегося английского писателя Д.Г.Лоуренса — романы, повести, путевые очерки и эссе — составляют неотъемлемую часть литературы XX века. В настоящее собрание сочинений включены как всемирно известные романы, так и издающиеся впервые на русском языке.

В состав седьмого тома вошли повесть «Лис», книги очерков «По следам этрусков», «Сумерки Италии», «Утро в Мексике», эссе.

УДК 820-3

ББК 84(4Вел)-44

Запрещается полное или частичное использование и воспроизведение текста и иллюстраций в любых формах без письменного разрешения праволадельца

ISBN 5-9697-0108-4

ISBN 978-5-91187-050-8 (т. VII)

© Пальцев Н.М., составление, комментарии, перевод, 2008

© Коренева М.М., перевод на русский язык повести «Лис», 2008

© Николаевская А.Г., перевод на русский язык «По следам этрусков», «Сумерки Италии», «Утро в Мексике», комментарии, 2008.

© Богатыренко Е.Д., Казнина О.А., Комов Ю.А., перевод на русский язык эссе, 2008

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Бослен», 2008

Сумерки Италии

Распятие в горах

Императорская дорога в Италию идет от Мюнхена, через Тироль, мимо Инсбрука и Базеля до Вероны, через горные перевалы. Этим путем двигались торжественные процессии, когда императоры направлялись на юг или возвращались домой из цветущей Италии к себе в Германию.

Интересно, наложило ли отпечаток имперское высокомерие на душу немца? Стали ли германские короли наследниками погибшей «Священной Римской империи»? Хотя она была не совсем настоящей империей, ее название звучало величественно и красиво.

Может, немецкому характеру досталась по наследству некоторая Grossenwahn*? Если бы нации осознавали тот факт, что они обладают определенными, присущими именно им чертами, если бы они могли понять и принять особенности характера другой нации, насколько проще стала бы наша жизнь!

Императорская процессия теперь уже не пересекает горы, направляясь на юг. Те времена почти стерлись из памяти, да и об этой дороге почти забыли. Но она сохранилась, а вдоль нее по-прежнему стоят ее главные опознавательные знаки.

Распятия у дороги — это не просто ее приметы, в них заключен особый смысл. Императорские процессии отправлялись в путь, получив благословение Папы, их сопровождали архиепископы, они-то, наверно, и водружали эти священные символы, будто сажали растения в горах, чтобы они там росли и размножались, в согласии с почвой, в которую попадали, и нравом местных жителей.

А когда оказываешься в баварских высокогорных лугах, очень скоро начинаешь понимать, что ты очутился в других землях и там исповедуют другую религию. Это иная, чужая страна, замкнутая и непонятная. Может, она по-прежнему принадлежит временам забытых императорских процессий?

Пока путник едет по открытым дорогам, ведущим к горам, он вряд ли обращает внимание на распятия и фигуру Христа. Просто в нем они не пробуждают интереса. Само по себе распятие — всего лишь фабричный кусок дерева, запечатлевший чье-то сентиментальное чувство. Душа не откликается на это.

Но постепенно распятия, неясно прорисовывающиеся одно за другим вдоль дороги, укрытые навесами, создают вокруг непривычную атмосферу окрест, ощущение темноты, тяжести, нависшей в воздухе, неестественно ярком и прозрачном, отражающемся в снегах, покрывающих вершины гор, создают ощущение темноты, давящей землю. Какой тут прозрачный, неземной, льющийся с гор свет, играющий удивительными переливами! Тут и там на повороте открытой,

поросшей травой дороги возникает распятие, затаившее под своим остроконечным навесом тень и тайну.

Меня оглушило это чувство, когда однажды вечером я шел один по болотистой местности вдоль подножия гор; небо было бледным, неземным, невидимым, а горы почти черными. На перекрестке стояло распятие, в ногах Христа лежал пучок увядших маков. Я увидел сначала маки, потом — Христа.

Старая деревянная скульптура, напоминающая крестьянина-баварца. Христос был крестьянином, жителем предгорья Альп. Широкие скулы, крепкие руки и ноги. Простое, невыразительное лицо, обращенное к горам, шея напряжена, словно он сопротивлялся этим гвоздям и кресту, но не смог избежать своей участи. Человек, чей дух стремились сломить, но он не покорился неволе и бесчестию. Мужчина средних лет, простой, грубый, крестьянской породы, в нем присутствовало внутреннее благородство, не позволившее его душе покориться обстоятельствам. Простой, бесхитростный душой крестьянин средних лет, распятый на кресте, сопротивлялся, хотя и был не в силах изменить свой тяжкий удел. Он не сдался. Его душа не сломалась, его воля не изменила ему. Он остался верен себе, несмотря на жестокие испытания, на погубленную жизнь.

С другой стороны болота светился крошечный, цвета апельсина квадратик окошка фермерского дома под низкой крышей. Я запомнил, как мужчина с женой и детьми работали до темноты — молчаливые и сосредоточенные, они носили охажками сено и прятали его от грозы под навес.

Тело гнулось вперед, к земле, почти складываясь в кольцо, руки обхватывали мягкое сено, прижимая его тесно к груди и животу, оно кололо руки и грудь, наполняло легкие дремой высохших трав, дождь тяжелыми каплями падал на плечи, и мокрая рубаха прилипла к горячей, жесткой коже, капли несли тяжелую, приятную прохладу, незаметно струйками бежали к чреслам. Вот что такое крестьянин — жаркая неразбериха физических ощущений. И все это действует, как хмель. Хмелеешь, почти как от наркотика, как от сильнодействующей таблетки, когда под дождем собираешь в охапку сено и тащишь его под навес, спотыкаясь в густой траве, а потом с облегчением бросаешь его там в копну, радуешься свободе и свету под сухим навесом, а потом возвращаешься под ледяной проливной дождь и снова наклоняешься, а потом снова распрямляешься и снова возвращаешься с ношей.

Постоянный жар и восторг плотских ощущений, благодаря чему твое тело полнится энергией и в голове пульсируют жар и дурман. Но этот дурман, этот жар физического труда постепенно превращаются в подневольный труд и в конце концов становятся твоим распятием. Этот поток плотских ощущений и составляет смысл жизни крестьянина. Но он сводит его с ума, ибо спасения от него нет.

А над головой — постоянное странное сияние гор, рядом — тайна льдистой реки, мчащейся по розоватым отмелям в темноту пиний, в воздухе постоянный тихий звон льдинок и силплый рокот воды.

Лед и сияние снегов на вершинах гор великолепны в своей вечной неподвижности на фоне движения и теплоты жизни. Там, наверху, они вторгаются в пределы жизни, в пределы мягкого, влажного огня крови. А потому человек обречен жить под лучами самоотрицания.

Жители баварского высокогорья — мужчины и женщины — отличаются непривычной, чистой красотой форм. Они крупные, красивые, простые, взгляд голубых глаз пронизателен, зрачок маленький, напряженный, радужная оболочка яркая, словно резкий свет, играющий на голубом льду. Их крупные, полные руки и ноги, прямые спины красиво, отчетливо вылеплены, формы четкие, словно эти люди отделились полностью от суеты жизни, обретя неизменяющиеся контуры, точно под резцом скульптора. Там, куда они ступают, все отходит на задний план, как в чистом морозном воздухе.

Секрет их красоты именно в том и заключен, что они пребывают в этой странной, полной изоляции, словно каждый из них стремится еще больше, полностью отделиться от своих собратьев.

И при этом они веселы и общительны, они, по существу, единственный народ с душой художника. Они по-прежнему разыгрывают мистерии, обладая врожденным даром актеров, поют диковинные песни на горных лугах, ухаживают за своими девушками, нянчат своих детей; их торжественные шествия и религиозные фестивали удивительно красочные, торжественные и самозабвенные.

Это народ, которому подвластны самые сильные проявления мистического, чувственного восторга. Каждый жест — органичен. Каждая фраза — преисполнена символического смысла.

Познание им дает чувственный опыт, думают они с помощью мифа, драмы, танцев и песнопений. Всё в них кипит кровью и ощущениями. Разум не нужен. Разум подавлен физическим жаром, он не вычленен, он покорен.

И в то же самое время наверху — постоянное, вечное, все отрицающее сияние снегов. Внизу — жизнь, жаркая пульсация крови, выбравшей свои правила игры. А наверху — сияние неизменного небытия. И жизнь переходит в это извечное сияние. Лето и буйное сине-белое цветение земли иссякает в труде и иступленном восторге человека, исчезает, переходит в сияние, льющееся с небес, в сияющий холод, который ждет, когда вернется к нему все, пережившее мгновение бытия.

Смысл этого абсолютно ясен. У крестьянина нет выбора. Судьба ведет его постоянно, озаряет его светом вечного, не поддающегося осознанию небытия. И такова наша жизнь — смесь труда и теплого опыта нашей плоти, она постоянно стремится вверх, к неизменному сиянию в небесах, к свету вечных снегов. Таков этот непреходящий смысл.

И что бы ни делал человек — пел, танцевал, участвовал в представлении, занимался любовью, мстил или проявлял жестокость, что бы то ни было — труд, печаль, религия — конечный смысл неизменен: переход в сияющее отрицание вечности. Отсюда красота и совершенство, законченность облика крестьянина-горца. Его фигура, руки и ноги, лицо, движения — все совершенно и красиво. Нет и тени сомнений, надежды, ожидания завтрашнего дня, всё уже есть — отныне и во веки веков. И это извечно, не подвластно времени, неизменяемо. Все сущее и преходящее — частица вечного и постоянного. А потому здесь нет будущего или прошедшего. Все здесь сущее — отныне и во веки веков. Этим и объясняется красота, завершенность и изолированность от другого мира баварского крестьянина.

И в распятии это нашло простое выражение. В деревянной скульптуре заключен смысл бытия. Лицо простое и суровое, почти невыразительное. И понимаешь, сколь неизменны и традиционны лица мужчин и женщин, жителей этих краев, — они красивы, но статичны, как выражение чистой формы. В лице Христа кроется еще злость простолюдина. И это тоже часть красоты — чистой, пластичной красоты. Тело Христа напряжено и выполнено в тех же традициях, хотя необычайно красиво благодаря пропорциям и статичному напряжению, объединяющим его в гармоничное целое. Никакого движения, ибо движение невозможно. Бытие предопределено, оно конечно. Его тело замкнуто знанием, и потому оно красиво и совершенно. Он неотделим от этих гвоздей. Нет, он не чахнет и не умирает. Он воплощение упорства, ибо осознает свое безоговорочное бытие, он уверен в абсолютной реальности своего чувственного опыта. И хотя тяжкий жребий сокрушил его, вопреки этому жребию он сохранил силу и восторг чувственного опыта. И он одинаково приемлет и свою судьбу, и тот мистический восторг, что дарован ему его чувственным опытом, он — само совершенство. Его чувственный опыт представляет собой нечто высшее — это одновременное пресуществование жизни и смерти.

И так было всегда: когда он шел с косой вдоль склонов холмов, пилил бревна, сплавливал плот по реке, сверкающей льдинками, пил в Gasthaus*, занимался любовью, качал младенца, пылал

к кому-то неистребимой, жестокой ненавистью, преклонял колени в благолепном порыве в храме, пропахшем ладаном, шел в темной толпе незнакомых людей в поля, чтобы читать литании об урожае, рубил молодые березки для праздника Frohenleichnam** — его неизменно переполнял темный, мощный, мистический, чувственный опыт, а он, ни о чем не думая, был частицей в абсолюте мироздания этого неизменного, великого, ледяного небытия, который извечно пребудет над нами, который и есть высшая сила.

Я двигаюсь дальше, по направлению к Австрии, поднимаюсь вверх по течению реки Изар; потом ее берега становятся уже, а она меньше, воды ее белее, а воздух холоднее, передо мной — северные горы во всем своем великолепии, они дивно сияют, переливаются всеми оттенками радуги от растущих здесь цветов; потом сияние блекнет и уступает мраку, ощущению чего-то зловещего. Я поднимаю голову и вижу еще одного маленького Христа, он средоточие, душа этого места. Дорога идет вдоль реки, по которой плывут снежные льдинки-пузыри, с другой стороны возвышаются скалы и высокие, хищные пинии, растущие среди розоватых отмелей. Воздух холодный, суровый, разреженный, все пронизано холодом, изолировано друг от друга. И в маленьком стеклянном ящике возле дороги — еще один маленький деревянный Христос, он сидит, склонив голову на руку, он о чем-то упорно думает, он утомился от своих печальных мыслей, брови приподняты, локтем он опирается о колено. Он унесся в своих мыслях куда-то, мечтает о чем-то, на нем маленькая золотая корона из терновника и маленький плащ из красной фланели, его сшила для него какая-нибудь крестьянка.

Не сомневаюсь, он и сейчас сидит там — маленький Христос с простым лицом, в плаще из красной фланели, он думает о чем-то, думает упорно, настойчиво. В его облике задумчивость и печаль, словно он понимает, что ему не под силу осмыслить происходящее в мире. Нет решения и в смерти. Смерть не дает ответа на тревогу души. Как есть, так есть. И если что-то отринуть от себя, оно не перестанет существовать. Смерть не способна сотворить или разрушить. Как есть, так есть.

Маленький, задумчивый Христос знает это. Так о чем же, в таком случае, он размышляет? В его неизменном терпении и упорстве сквозит мудрость. О чем же он печалится, хотя пока что его удел представляется мирным и безмятежным? «Быть или не быть» — может, этим вопросом задается он, но смерть не даст на него ответа. Это не вопрос бытия или не-бытия — «быть или не быть». И не вопрос — держаться за жизнь или нет, терпеть все или нет. Главное — извечное небытие, а если это не так, то что тогда бытие? Над головой неизбывное сияние снегов, вбирающее в себя цветение всего живого, сияние постоянное, яркое и бессмертное, снежное небытие. Так что тогда бытие?

Чем ближе подходишь к перевалу Альп, к самой высокой точке, чтобы потом спускаться по южному склону гор, тем больше снова ощущаешь влияние цивилизованного мира. Бавария край глухой, словно ее дух остался нетронутым. Ее распятия — старые, серые, абстрактные, маленькие, будто зерна истины. А в Австрии они уже другие — новенькие, выкрашенные в белый цвет, больше размерами, больше бросающиеся в глаза. Они несут на себе печать более поздней, новой эпохи, они более погружены в себя. И тем не менее они — истинное выражение души народа.

Часто можно обнаружить руку мастера, его особый дар. В долине Земм, в сердце Тироля, позади Инсбрука, есть пять или шесть распятий, сделанных одним скульптором. Это уже не крестьянин, старательно вырезающий условный образ, воплощающий идею, догму. Это художник, обучавшийся искусству, имеющий свои представления о творчестве, может, даже работавший в Вене. Он обдуманно стремится передать чувство, он не старается неуклюже выразить истину, религиозную идею.

Самое главное его распятие стоит далеко в Кламме, в сыром ущелье, где всегда сумрачно. Дорога бежит вдоль склона гор, мимо деревьев, они тянутся вдоль дороги на протяжении половины пути. А внизу ручей шумно перекачивается через огромные валуны, шум этот не прекращается. Гора напротив вздымается вверх, в высокое небо. Кажется, что идешь в темноте.

В подземелье. А чуть ниже дороги, там, где выючные лошади карабкаются по тропе в дальние заброшенные деревеньки, в хладном мраке проступает большой, бледнолицый Христос. Он выше человеческого роста. Он падает вперед, уже мертвый, распятые на кресте руки прогибаются под весом его мощного тела. Мертвое, тяжелое тело кренился вперед, провисает, словно сейчас сорвется с гвоздей и рухнет под тяжестью своего веса.

Это конец. На лице маска смерти, оно измучено, искажено болью и страданием. Уродливый, чувственный рот закрылся навеки, его сомкнула печать разочарования. Смерть — это окончательное разочарование, она легла печатью на тело и душу, на страдания, немощь и страсти бытия.

Дорога мрачная и сырая, вода беспрерывно шумит, так громко, что превращается в непрестанную боль. Мужчина, который ведет выючную лошадь, приближаясь по узкой тропе с одной стороны ущелья к большому бледному Христу, старается стать незаметным, спрятать свое благодушие, он снимает шапку, проходя мимо распятия, правда, при этом смотрит в сторону. Он ускоряет шаг, лицо его мрачнеет, он торопится следом за своей лошадью по каменистой тропе, а над ним нависает большой белый Христос.

Мужчина, который ведет выючную лошадь, испуган. Страх постоянно сидит в нем, хоть он на вид крепкий здоровяк. Душа его не столь прочна. Она сжалась от страха. Над головой — темные горы, а внизу во мраке гремит ручей. Сердце его бьется в тисках ужаса. И когда он проходит мимо распростертого Христа, он снимает шапку перед Повелителем Смерти. Христос мертв, Он — воплощение Смерти.

А мужчина видит в этом мертвом Христе Всевышнего. Крестьянина-горца придавил страх, страх смерти, физической смерти. Больше он ничего не ощущает и не знает. Самое сильное чувство, которое знакомо ему, — физическая боль, ее самое сильное проявление. А ее апогей — в смерти. Поэтому он преклоняется перед ней, обожествляет, она завораживает его. Смерть — завершение его пути, он приближается к ней, претерпевая физическую боль.

И эти памятники физической смерти можно увидеть повсюду в долине. Чуть подальше, в конце моста, стоит маленький Христос, вырезанный тем же мастером, что и большой. У этого Христа — красивая борода, он сухощав, а потому тело его не обвисает, не в пример тому большому, мрачному и красивому. Но в нем, как и в другом, — торжество смерти, окончательной, отрицающей все смерти, столь совершенной, что она превращается в символ, абстракцию, преодолевающую грубую откровенность самой смерти своей бесповоротностью.

Повсюду одержимость фактом физической смерти, боли, несчастного случая, внезапной смерти. И где бы злой рок ни настиг человека, возвышается небольшой памятник этой трагедии как жертвоприношение Господу боли и смерти. Вот человек стоит по пояс в воде, воздев руки к небу, скоро вода поглотит его. Эта маленькая картинка в деревянной рамке прибита к дереву, тут когда-то произошел несчастный случай. А вот другая картинка, прикрепленная к скале: дерево, упавшее на ногу человека, сломало ее, вокруг — кровь. И во всем — сгусток тоски и страха, во всех этих картинках, прикрепленных там, где произошло несчастье.

Это преклонение, обожествление смерти и знаков смерти, физического насилия, боли. В этом есть нечто грубое и зловещее, почти как в греховности, это одна из форм извращения, возвращающая нас вспять.

Большая дорога, ведущая на юг, императорская дорога в Рим, огибает горный хребет — и здесь все по-другому. Образы Христа становятся очень разными, но все выполнены в реалистической манере. Один — весьма изящный, он причесан, вид у него почти фатоватый (хотя он и распят на кресте), такое впечатление, что скульптору позировал сын Габриеле Д'Аннунцио, изображая святого великомученика. Образ Христа-страстотерпца выполнен в традициях глубочайшего преклонения перед его мученичеством. Очень важно, что он столь утончен и изящен, это чисто австрийская особенность. Можно вообразить себе, как этот юноша

выполнял столь суровую и непривычную роль, чтобы поразить воображение впечатлительных дам. Скульптура вполне отвечает венскому духу. В ней заключены некие смелость, задор. Гордость человека, победившего все тяготы своего положения. Гордость и удовлетворение, выраженные в ясной, изящной форме, — тщательно причесанные волосы, элегантная одежда куда важнее, чем смерть и страдания. Может, это покажется вам глупым, но это в то же самое время очень притягательно.

Сама идея распятия, чем дальше вы продвигаетесь на юг, становится все более сентиментальной и инфантильной. У деревянных образов Христа воздеты небу лица, закаленные глаза — все это вызывает жалость и сострадание, манерой исполнения они напоминают Гвидо Рени. Они — воплощение патетики. Они смотрят в небеса, но думают о себе, сочувствуют и страдают сами себе. Другие распятия тоже очень красивы, словно элегии. Перед вами мертвый Гиацинт, его подняли в воздух, чтобы им, таким прекрасным мертвым юношей, вы могли любоваться. Молодое тело мужчины поникло на распятии, словно мертвый цветок. Такое впечатление, что истинная красота его — в смерти. Как прекрасна смерть, как впечатляющая, истинна, лишь она способна принести радость! Подлинный элегический дух.

Потом встречаются изображения обычного, фабричного производства Христа, они малозначительны. Они невыразительны (такие же мы встречаем в Англии), на них печать грубой безликости. Но на этих распятиях — алые пятна, красный цвет крови, что поражает вас.

После Бреннера мне попадались лишь грубые, примитивные распятия или такие, что оставили неизгладимое впечатление. На груди и коленях Христа — раны, из которых льется алая кровь, падая каплями вниз, иногда распятое тело превращено в нечто уродливое, состоящее из красных и белых полос, в немощное тело, испещренное красными полосами.

На поворотах дороги тут красят горы: синее с белым кольцо указывает на путь к Гинзлингу, красное — к Святому Якову. И путник идет или к сине-белому кольцу, или к трем сине-белым полоскам, или к красному пятну. И красный цвет на скале, пятна красной краски, — те же самые, что на распятиях, так что красный цвет на распятии воспринимается всего лишь как краска, а знаки на горе — как кровь.

Я запомнил маленького задумчивого Христа возле реки Изар — укрытого плащом из алой фланели, в венце из золотого терновника, он как живой в моей душе, он дорог мне, не в пример этой грубой показухе.

«Couvre-toi de gloire, Tartarin — couvre-toi de flanelle». Почему мне так пришлось по душе, что он в плаще из красной фланели?

В долине возле Святого Якова, сразу после горного хребта, вдали от железной дороги, — очень большой, очень значительный культовый памятник. Это часовня, построенная в стиле барокко, выкрашенная в розовый и кремовый цвета, с яркими маленькими арками. А внутри — поражающий вас Христос, таких я не видел никогда. Крупный, мощный мужчина, сидящий возле могилы — верно, после того, как его распяли, и он воскрес. Он сидит боком, словно страшное испытание позади, страсти улеглись, остался лишь результат того, что ему пришлось претерпеть. На его мощном, обнаженном, поруганном теле — кровь, он сидит в неестественной позе. Но в вас вселяет ужас выражение его лица. Христос слегка повернулся, смотрит через свое изуродованное плечо. И выражение лица Христа, чье тело убили, не поддается описанию, столь оно ужасно. Глаза, устремленные на посетителя, не видят его, они видят лишь кровь. Они залиты кровью, даже белки стали алыми, радужная оболочка алая. Эти алые, залитые кровью глаза с кровавыми зрачками, смотрят вызывающим ужас взглядом на всякого входящего в часовню, смотрят так, словно тщатся прозреть сквозь кровь, пролитую в мгновения своей ужасной смерти, и этот взгляд вселяет ужас. Обнаженное, сильное тело познало смерть, Христос сидит, безнадежно подавленный, сломленный, неуклюжий, опозоренный. Последние искры жизни — лишь в лице, его выражение зловеще и мрачно, такое бывает у нераскаявшегося преступника, замученного пытками до смерти. Выражение страдания и ненависти на застывшем, измученном лице и залитые

кровью глаза — это невозможно пережить. Он покорен, сломлен, его тело — истерзано пытками, вопиет о позоре, которому подвергли его. И при этом его воля упорна, чудовищно изуродована ненавистью, наполнявшей его.

Испытываешь шок, когда в этой хорошенькой, барочной, со стенами, выкрашенными розоватой побелкой часовне, приютившейся на одном из альпийских лугов, которые для нас — колыбель романтики и цветов, как на картине в галерее Тейт, вдруг видишь эту фигуру. «Весна в австрийском Тироле» для нас символ чистой красоты. Но ведь там еще и этот Христос с грузным телом, изуродованным пытками и смертью, жизнь сильного мужчины, уничтоженная физическим насилием, взгляд залитых кровью глаз, наполненных ненавистью и страданием.

Часовня в хорошем состоянии, за ней следят, верно, тут бывает немало посетителей. В ней много ех-voto и подаяний. Это место поклонения, поклонения почти непристойной святыне. После часовни темные пинии и река в этой долине кажутся вам нечистыми, словно там обитает нечистый дух. Даже цветы кажутся искусственными, а белое сияние вершин представляется блеском высшего, грубого ужаса.

И дальше в этих роскошных лугах вам попадаются покрытые краской примитивные распятия. Лишь поднявшись выше, туда, где распятия становятся все меньше и меньше, вы видите на них печать былой красоты и веры. Чем выше, тем меньше размером становятся распятия, пока, наконец, среди снегов вы не увидите крест, который напоминает маленький столбик или толстую стрелу с устремленным к небу наконечником. Распятие — совсем маленькое, под выкрашенным навесом — наконечник этой стрелы. Под крошечным навесом на маленьком Христе сверкает снег. А вокруг — нетронутая белизна снега, неровные изгибы и впадины девственной белизны горных вершин, белизна ущелий меж пиков, там дорога идет через самый высокий перевал. И там возвышается последнее распятие, наполовину утопающее в снегу, маленькое, запорошенное сверху. Проводники идут мимо медленно, с трудом, не обращая внимания на эту святыню, не склоняя перед ней головы. А когда начинается спуск, все крестьяне-горцы приподнимают шапку перед новым распятием. Но проводник идет, сохраняя полное безразличие. Он ведь представляет собой особую профессиональную ценность.

На дороге вдоль невысокой горы в Джауфен, неподалеку от Мерана, — упавший Христос. Я быстро шагал вниз, спасаясь от ледяного ветра, от которого почти терял сознание. Я глядел вверх на сияющие вечными снегами вершины, окружавшие меня. Они казались мне несгибаемыми клинками в небе. Я почти бежал в очень старый городок Мартертафель. Он пристроился к холодному каменистому склону горы, окруженной белыми пиками, вздымающимися вверх.

Деревянный навес был выбелен временем, сверкал, как серебро, а на нем рос седыми пучками лишайник. На камне возле распятия лежал Христос, без рук, он упал и лежал там в неестественной позе, голый, — древняя деревянная скульптура на голом, живом камне. Это было изображение старого, неловкого Христа, вырезанное из дерева, с длинными, в форме клинка, конечностями, с тонкими, плоскими ногами, символ подлинного духа, это воплощение религиозной истины, а не чувственного опыта.

Руки упавшего Христа были отбиты у плеча, они остались висеть на гвоздях, словно ех-voto в церкви. Прибитые в ладонях, они болтались на гвоздях — каждая с края крестовины, мускулы, тщательно вырезанные из старого дерева, теперь свисали в обратной перспективе и выглядели уродливо. Ледяной ветер раскачивал руки, и среди стылого холода и камня они отзывались в вас болью. Я не рискнул притронуться к повергнутому Христу, лежавшему на спине в такой дикой позе у подножия распятия. Кто решится, подумал я, подойти и унести его, да и зачем?

1. Пряха и монахи

Святой дух — Голубь или Орел. В Ветхом Завете был Орел, а в Новом — Голубь.

И по всему христианскому миру разбросаны церкви Голубя и Орла. Более того, есть много церквей, которые построены вовсе не во имя Духа Святого, а просто ради забавы и игры ума, пример таких церквей — церковь Рена в Лондоне.

Соборы Голубя — робкие. Прячутся от любопытных глаз в гуще деревьев, их колокола звонят лишь в светлые Воскресения, или же они молчаливо стоят где-то посреди городских улиц, так что прохожие идут мимо, даже не замечая их, они незаметны, не противопоставляют себя грохоту уличного движения.

А соборы Орла гордо высятся, вознеся купола в небо, словно они бросают вызов миру, что простерся внизу. Это соборы духа Давида, их колокола звонят воинственно, повелительно, обрушивая свой звон на простершийся внизу мир.

Церковь Святого Франциска построена во имя Голубя. Я несколько раз проходил мимо по темной, молчаливой маленькой площади, не ведая, что рядом церковь. Стены ее были без окон, неприметные, она ничем не обращала на себя внимания, пока случайно я не заметил, что занавеска, висевшая на дверях, отодвинулась — внутри было темно. А ведь это главная церковь в деревне.

А церковь Святого Фомы возвышается над деревней. Я несколько раз шел по выложенной булыжником боковой улице, смотрел вверх и между домами видел шаткую старую церковь, возвышающуюся над ними в лучах света, словно она пристроилась на насест на крыши домов. Ее высокая башня гордо тянулась вверх на фоне листвы и высоких холмов.

Я часто видел ее, но не задумывался над тем, что она действительно существует. Она была словно видение, нечто, к чему не следует приближаться. Просто возвышается что-то вдали над крышами домов, на фоне сияющих листвой холмов. Я был внизу, в деревне, шел по неровной, выложенной булыжником улице, между старых высоких стен, магазинчиков-пещер и домов с лестничными пролетами.

Долго я определял время по властному звону колоколов в полдень и вечером, обрушивающемуся на дома и берег озера. И мне даже не приходило в голову поинтересоваться, откуда этот звон. Но однажды, в конце концов, мое отсутствующее состояние было нарушено, и я понял, что колокола — на церкви Святого Фомы. Церковь стала частицей моего бытия.

И я отправился на ее поиски, решил дойти до нее. Она была совсем близко, я видел ее с площади возле озера. Деревушка была небольшой — всего несколько сотен жителей. До церкви наверняка рукой подать.

Но, тем не менее, я не мог найти ее. Вышел с черного хода, пошел по узкой улочке, что тянется на задах домов. С верхних ступеней лестницы на меня смотрели женщины, старики стояли вполоборота ко мне, ссутулившись и прислонившись к стене. Казалось, из тени на меня поглядывали какие-то диковинные создания. Я принадлежал другой стихии.

Итальянцев называют детьми Солнца. По-моему, вернее их было бы называть детьми Тени. У них сумрачная и угрюмая душа. Если бы они могли, они бы прятались во тьме пещер. Я шел по этому крошечному лабиринту хаотичных боковых улочек, словно его выстроили некие хитроумные существа, наблюдавшие за представителем другой стихии. Я был белокожим, у всех на виду, мимолетным, как свет, а они — темными, затаившимися, неменяющимися, как сама тень.

В результате я окончательно заблудился в этих крохотных извилистых переулках. Не мог найти дорогу к церкви. Заторопился к концу переулка, туда, где солнечный свет и олива казались миражом. И там прямо над собой я увидел тонкую, прочную колонну старой церкви Святого Фомы, серо-белую на солнце. Но я и теперь не смог подойти к ней, а очутился снова на площади.

На другой день я все-таки нашел старую лестницу, на ступеньках которой росли сорняки, а на той части стены, что была в тени, рос адиантум. Я нехотя подошел к лестнице, потому что итальянцы такие боковые старые лестницы считают частными, так же как и все переулки.

Но я взбежал по ней и неожиданно — как по волшебству — очутился на дворе церкви Святого Фомы, залитом жгучим солнцем.

Тут был другой мир, мир орла, мир бесконечной абстракции. Все было залито чистым, испепеляющим солнечным светом, двор просто парил в свете. А внизу — робкие черепицы крыш деревенских домов, а дальше — бледно-голубая гладь воды, а напротив, прямо перед моим лицом, — сверкающий снег на горе по другую сторону озера, она казалась на одном со мной уровне, хотя на самом деле была гораздо выше.

Я попал на небеса, глядел вниз с выложенной булыжником квадратной террасы, булыжник был совсем стерт, как и порог у входа в старую церковь. Вокруг террасы шла низкая, широкая стена, отгораживающая от меня небо, на которое я забрался.

Алый парус, подобно бабочке, порхал по голубой воде, а ближний берег утопал в серебристо-зеленой дымке оливок, окутавшей и землистого цвета крыши.

Я навсегда запомнил эту картину — церковь Святого Фомы и терраса возле нее парят в воздухе над деревушкой, словно нижняя ступень небес, ступень лестницы Якова. Позади нее земля круто вздымается вверх. Но терраса Святого Фомы спустилась с небес и не касается земли.

Я вошел внутрь церкви. Там было очень темно, все пропитано многовековым запахом ладана. Мне почудилось, что я очутился в берлоге какого-то огромного существа. Мои ощущения обострились, все во мне пробудилось в этой жаркой, пропитанной запахом ладана темноте. Кожа стала чувствительной, словно в ожидании чьего-то прикосновения, объятия, словно осознавая близость физического мира, физического контакта с темнотой и тяжкой, притягательной субстанцией замкнутого пространства. То была густая, плотная тьма всех чувств. И моя душа сжалась.

Я снова вышел. Плиты на крыльце сверкали чистотой, как драгоценный камень, волшебная чистота солнечного света, превращающегося в высоте в синеву, казалось, затягивает меня в себя.

Напротив над озером нависла мощная гора, ее верхняя половина ослепительно белая, она принадлежит небу, а нижняя — темная и мрачная. Так вот что значит «земля отделена от неба». Слева позади меня из огромной, бледно-серой, скучной высоты спускался мыс, он прорезался сквозь потоки рыжего и алого к дымке оливковой рощи и воде, плещущей на уровне земли. А между небом и землей, расщепляя землю, словно клинок неба, — бледно-голубое озеро, отрезая гору от горы с торжеством небес.

Потом я увидел большую, в голубую клетку скатерть, висящую на парапете передо мной, на парапете неба. Интересно, почему она там?

Я повернулся и увидел с другой стороны террасы под кустом каперса, кровавым пятном расплзшимся по серой стене, маленькую серенькую женщину, зажавшую что-то в руках. У меня при виде ее, как и при виде церкви, возникло ощущение нереальности. Я брел вдоль парапета небес, глядя вниз. А она стояла спиной к прочной стене, незаметная и никого вокруг себя не замечающая. Она напоминала выцветший от солнца кусок земли, один из оживших камней, какими выстлана терраса. Она не видела меня, а я, не решаясь двинуться с места, глядел в землю.

Она стояла спиной к выцветшей от солнца прочной стене, словно камень, что катился откуда-то сверху и застрял в рытвине.

На голове темно-красный платок, а короткие, цвета грязного снега волосы торчали из-за ушей. Она пряла. Меня это так удивило, что я не решался подойти к ней. Она вся была серой — фартук, платье, платок, руки, лицо были залиты солнцем, испятнаны солнцем, они были серовато-голубовато-коричневыми, как камни или осенние листья, играя всеми цветами. Я в своем черном плаще ощущал себя неестественным, фальшивым чужаком.

Она пряла быстро-быстро, как ветерок. Под мышкой она зажала темную, крепкую деревяшку с крючком на конце, напоминающим кулак сжатых коричневых пальцев, в которых был пучок черновато-рыжей шерсти. А пальцы ее быстро сновали вдоль шерстяных ниток, которые она вытягивала из этого приспособления. Возле ее ноги крутилось вокруг черной нитки, деловито вертелось, словно на веселом ветру, веретено, на бобине уже был толстый слой грубой, черноватой ткани, которую она пряла.

То и дело ее пальцы бездумно теребили пряжу, доводя ее до нужной толщины: коричневые, старые пальцы работали, словно во сне, на большом пальце был длинный серый ноготь, и время от времени большой палец и указательный быстрым движением вниз сучили зажатую меж ними нитку, висевшую у нее на переднике, тяжелая бобина начинала вертеться еще быстрее, а женщина снова проверяла нитку, тянула ее книзу, потом снова крутила, а бобина еще быстрее вертелась.

Глаза у нее были ясными, как небо, голубыми, неземными, прозрачными. Они были ясными, но ничего не выражали. Лицо ее было как выжженный солнцем камень.

— Вы прядете? — спросил я ее.

Она скользнула по мне отсутствующим взглядом.

— Да, — ответила она мне.

Она увидела лишь фигуру мужчины, стоящего рядом с ней мужчиной. Я ведь был человеком со стороны, ничего для нее не значащим. Она продолжала свое занятие, упорная и невозмутимая, будто старый камень на склоне горы. Стояла — низенькая и крепкая — глядя, почти не отрываясь, прямо перед собой, ничего не замечая вокруг, поглядывая с безотчетным вниманием на нитку. В ней было чуть больше жизни, чем в солнечном сиянии, или камне, или каперсе, что рос над ней. А пальцы двигались у груди, перебирая шерсть.

— Так в старину пряли, — сказал я.

— Что?

Она взглянула на меня чистыми, прозрачными, как небо, глазами. Но немного встревоженно. Она повернулась ко мне, ее движение напоминало орлиное, в глазах сверкнуло напряжение. Наверно, ее озадачил мой итальянский.

— Так в старину пряли, — повторил я.

— Да, в старину, — подтвердила она, словно хотела произнести мои слова так, чтобы они прозвучали для нее привычно. А я стал для нее всего лишь чем-то случайным, человеком, который был частицей окружающего мира. У нас были просто разные способы выражать свои мысли, не более того.

Она снова взглянула на меня своими прекрасными, бездумными, не меняющими выражения глазами, похожими на небеса или на чистые и невинные цветы. Я для нее был частичкой окружающей среды, не более того. Ее мир был чист и обособлен, даже бездумен. И она не осознавала себя, потому что не подозревала, что во вселенной есть еще что-то, кроме ее вселенной. В ее вселенной я был чужаком, синьором иностранцем. Она не подозревала, что у меня есть свой собственный мир, отличный от ее мира. Ей это было безразлично.

Так мы воспринимаем звезды. Нам говорят, что они — другие миры. Но в нашем мире они всего лишь гроздь сияющих огоньков. Когда я иду ночью домой, надо мной сияют звезды. А когда я перестаю существовать в микрокосме и начинаю думать о макрокосмосе, тогда звезды становятся другими мирами. И макрокосм поглощает меня. Но макрокосмос — не я. Это нечто, в чем мой микрокосм не существует.

Есть вещи, неведомые мне, но, тем не менее, они существуют. Я конечен, и горизонты того, что доступно моему пониманию, ограничены. Вселенная больше, чем я способен представить себе в мыслях или воображении. Есть нечто, что существует не для меня.

Если я говорю: «Планета Марс — обитаемая», я не знаю, что я имею в виду под словом «обитаемая» в отношении Марса. Лишь то, что тот мир — не мой мир. Мне дано лишь знать, что там все не мое. Я микрокосмос, а макрокосмос — не мой.

Старушка на террасе тоже ничего об этом не знает. Она сама по себе — ядро, центр мира, солнце, единственный небосвод. Она понимает, что я живу в краях, которые она никогда не видела. Но и что с того! У нее в теле есть части, которые она тоже никогда не видела, просто физиологически не способна увидеть. Но, тем не менее, только по той причине, что она никогда их не видела, они не перестают быть частями ее тела. Они неотъемлемые части ее тела, а понимание того, что они недоступны ей, — ее тайна. Она суть субстанция знания, независимо от того, осознает она это или нет. В конечном счете для нее, помимо нее самой, ничего не существует. Даже этот человек, мужчина — частица ее самой. Просто он — отдельная, движущаяся частица. Но от этого он не меньше принадлежит ей, хотя он и существует отдельно от нее. Если каждое яблоко разделить на две половинки, оно от этого не изменилось бы. Яблоко, по сути, одинаково, независимо от того, целое оно или половинка.

И эта старуха-пряха — как яблоко, вечное, неизменяемое, цельное каждой своей частицей. Именно это и придает ее взгляду столь удивительную ясность. Зачем ей думать о себе, если все сущее и есть она?

Она начала рассказывать мне об овце, которая сдохла. Но я не понимал диалекта, на котором она говорила. А ей и в голову не приходило, что я не понимаю ее. Просто сочла меня чужаком и болваном. Она продолжала свой рассказ. Овцы жили под домом, несколько овец увели из-за барана — соседи привели своих овец, чтобы он покрыл их. Но почему эта овца сдохла, я так и не понял.

Ее пальцы без усталости сновали — мелкими, немного нетерпеливыми движениями. Непроизвольными. Как порхание бабочек. Она быстро что-то говорила на своем итальянском диалекте, верно, история про овцу ее не на шутку волновала. Но при этом лицо ее оставалось неподвижным. Взгляд был искренним, открытым и отстраненным, как небо. Только упорство, твердая воля сверкали в нем, когда она смотрела на меня, точно хотела подавить меня.

Ее веретено зацепилось за сухие ветки растения и замерло. Она не заметила этого. Я наклонился, отломил эти ветки. На них осталось синее пятно. Наблюдая за мной, она отошла на несколько шагов в сторону. Бобина продолжала болтаться.

Она сделала еще несколько шагов, с удивлением поглядывая на меня. Она была похожа на Вселенную, на сотворенный мир, на первую зарю. Глаза ее были как первое утро мира, не подвластное времени.

Нитка порвалась. Она не придала этому ни малейшего значения, автоматически подхватила веретено, закрутила вокруг него конец пряжи, связала концы, наладила бобину и стала прясть, продолжая свой рассказ немного доверительно, немного отвлеченно, словно беседуя со своим миром, заключенным во мне.

Вот так она и стояла под солнцем на небольшом возвышении, старая, но при этом напоминала утро, а я, стоя пониже, на уровне ее локтя, напоминал ночь, лунное сияние. Улыбался ей и боялся, что она откажется замечать меня.

Так и произошло. Она вдруг замолчала, перестала смотреть на меня, а продолжала прясть, коричневое веретено весело крутилось. Так она и стояла. Отдаваясь солнечному свету, теплу, не замечая меня, словно я темный куст каперсов, свисающий со стены у нее над головой, а я рядом с ней был, словно луна на дневном небе, залит солнцем, едва заметный, хотя на мне была темная одежда.

— Ты долго это пряла? — спросил я.

Она помолчала, глядя на бобину.

— Это? Не знаю, дня два.

— Быстро.

Она посмотрела на меня подозрительно и насмешливо. Потом внезапно пересекла террасу, подошла к скатерти в крупную сине-белую клетку, что сохла на парапете. Я не решился пойти следом. Она отвлеклась от меня. Я повернулся и побежал прочь, ускоряя шаг, торопясь убежать от нее. Через мгновение я был между стен, карабкался вверх, словом, скрылся.

Школьная учительница сказала мне, что я должен собрать подснежники со двора позади церкви. Если бы она не поделилась со мной своим тайным знанием, я не знал бы, правильно ли она переводит слово *perge-peige**. Она имела в виду молочай.

Однако я пошел собирать подснежники. Стены внезапно закончились, я очутился в заросшем травой оливковом саду и побрел меж камней старой, разрушенной кладки. Скоро я очутился на краю крутого узкого ущелья, спускавшегося к озеру. Там я и остановился в поисках подснежников. Заросший травой, каменистый край ущелья обрывался прямо подо мной. Из темной глубины до меня доносилось журчанье воды. В сумраке я заметил бледные крапинки, то были, как я понял, примулы. Я стал осторожно спускаться вниз.

Я посмотрел вверх из густой тени расселины и увидел прямо над собой серые горы, сияющие и прозрачные в чистом небе. «Неужели они так высоко?» — подумал я. Но не рискнул подумать: «Неужели я так низко?» Мне стало не по себе. Как бы то ни было, здесь, в прохладной тени, — красиво, уютно, если отрешиться от сияющих гор, высящихся далеко вверх, я попал в гармоничный мир ровного, без теней, полумрака. Примулы росли повсюду, гнездами бледных цветков на темном, крутом склоне ущелья, язычки папоротника свисали вниз, а еще тут и там под побегами и ветками кустов были пучки завядшего молочая, почти наверху, в самых холодных уголках, цвели прелестные бутоны, как пригоршни снега. В овражках в зимней прохладе повсюду росло столько молочая, что эти цветы трудно было заметить.

Я собрал примулы, пахнувшие землей и свежестью. Подснежников не было нигде. Накануне я набрел на бледные, нежные, лилового оттенка с темными прожилками крокусы, растущие под оливами, как мириады лиловатых язычков пламени прорезавшие густую траву. Мне так хотелось найти в этом сумраке подснежники! Но их тут не было.

Я собрал примулы, потом быстро выбрался из глубокого ручья, торопясь на солнечный свет до наступления вечера. Наверху в солнечной золотистой траве росли оливы, высились залитые солнцем серые горы. Я боялся, что наступит вечер, пока я, как выдра, брожу в сырости и темноте, боялся, что солнце сядет.

Вскоре я снова оказался на солнце, на дерне под оливами, настроение стало бодрее. Это горный мир сияющего солнца, я снова в безопасности.

Возле озера собрали урожай оливок, круглые сутки работал отжимный пресс, вокруг стоял острый запах оливкового масла. Мимо бежал маленький ручей. Мул под крики погонщика торопился к другим мулам по Страда Веккья. Наверху тянулась Страда Нуово, новая, красивая военная дорога, изящно петляющая высоко в горах, несколько раз пересекающая один и тот же ручей (там были перекинута мостики); она тянулась вдоль склона высоко над озером, красивая и изящная, к австрийской границе, а там заканчивалась. Я посмотрел вверх, на изящно петляющую дорогу, и в ярком вечернем сиянии закатного солнца увидел телегу, в которую был запряжен вол, мне это показалось миражом, хотя я явственно слышал грохот телеги и свист хлыста.

Там, наверху, все было ясным, окрашенным солнечным светом, светло-серые горы казались частью неба, рыжая трава и низкий кустарник, коричневато-зеленые шпильки кипарисов, а потом — дымка серо-зеленых оливок у озера. Нигде не было тени, все залито ясным солнечным светом, телега с волом медленно ползет в солнечном свете, по самой высокой части военной дороги. Теплый покой прозрачного полудня.

Катер, который отплывает в четыре часа дня, отчаливает от австрийского берега, пробираясь меж утесов. Вдали, за островом, — берег Вероны, он затянут золотой дымкой. Горы напротив так спокойны, что стук моего сердца становится медленнее, словно оно тоже решило стать спокойнее и тише. Все абсолютно спокойно, воплощение чистой субстанции. Маленький катер на воде внизу, мулы на дороге внизу — все было без тени. Они тоже были чистыми солнечными субстанциями на поверхности сотканного из лучей мира.

Рядом со мной прыгнул сверчок. Я вспомнил, что именно в субботу мир погружается в странное оцепенение. И тут прямо под собой я увидел двух монахов, они ходили по саду меж голых, тонких виноградных лоз, гуляли по своему унылому саду, меж коричневых виноградных лоз и оливок, их коричневые рясы мелькали меж коричневых лоз, головы были непокрыты, освещены солнцем, порой на ботинке, показывавшемся из-под рясы, тоже играл лучик света.

Было так тихо, все было в таком застывшем состоянии, что я слышал их беседу. Они шли своей чудной походкой монахов — делали большой, размашистый шаг, головы придвинули друг к другу, рясы медленно колышутся, два коричневых монаха со спрятанными руками скользили меж виноградных лоз, мимо гряд с капустой, сдвинув головы, — они вели беседу о чем-то своем, секретном. Мне казалось, что я незримо присутствую при их неслышной беседе — моя мрачная душа с ними. Все это время я притаился, был одним из них, участником, хотя звука голосов не слышал. Я сопровождал их, шел в рясе таким же размашистым шагом, как и они, бесшумными прыжками пересекал сад, а потом возвращался. Они спрятали руки в длинные рукава и в складки рясы. Они не прикасались друг к другу, не жестикулировали. Никаких лишних движений, лишь размашистый шаг, головы приблизились одна к другой. И все-таки в их беседе был некий пыл. Почти как существа мрака выползают на свет божий, решаясь покинуть свою холодную, мрачную стихию обитания, так и монахи ходили взад и вперед по своему унылому саду, уверенные, что их никто не видит.

Над ними лежал тонкий, слепящий покров снега. Но они не поднимали взгляда. Слепящий снег засверкал, когда они проходили мимо него, прекрасный, слабый, эфемерный всполох снега в небесах с приходом вечера стал гореть. Приближался иной мир — холодная, чужая ночь. На длинной горной гряде напротив закат играл изящными оттенками ледянисто-розового цвета. Монахи прохаживались взад-вперед, беседа в наступающих сумерках.

Я заметил, что над снегами, едва заметная в голубоватом небе, выплыла бледная луна, подобно тонкой, зубчатой пленке льда, она выплывала на медленном потоке приближающейся ночи. И зазвонил колокол.

А монахи продолжали прохаживаться взад-вперед, со странным, ничего не выражающим, нейтральным постоянством.

С вечерними сумерками появились тени, которые отбрасывали горы на западе. И вот исчезли оливы там, где я сидел. Теперь это был мир монахов — тонкая грань между ночью и днем. Они продолжали вышагивать взад-вперед в ничего не выражающем, нейтральном, сумеречном, пока еще не отбрасывающем теней свете.

Ни сверкание дня, ни глухая тьма ночи не господствовали над ними — они вышагивали по узкой тропинке сумерек, ступали в нейтральные мгновения времени и закона. В них молчали плоть и дух, их хозяином был только закон, порядок, абстракция среднего числа. Бесконечность может быть положительной или отрицательной. А среднее число — только нейтральным. И монахи семенили взад-вперед по этой нейтральной линии.

Тем временем на горной гряде снег стал ослепительно розовым, словно в небесах расцвели цветы. В конечном счете, вечное небытие или вечное бытие — одно и то же. Розовый снег, сияющий в небесах над потемневшей землей, был символом ликования, экстаза этого воссоединения. Ночь и день слились в единое целое, свет и тьма слились в единое целое, у них одни и те же источник и предназначение, они в данное мгновение одинаковы, ликование, экстаз — свет, сотканный из тьмы, тьма, сотканная из света, — там, в розовых снегах, что выше сумерек.

Но в монахах не чувствовалось никакого ликования, ими руководила нейтральность, сила подземелья. Над сумеречной, покрытой тенями землей парили вечные розовые снега. А далеко над нами и под нами царствовала нейтральность сумерек, время монахов. Плоть, нейтрализующая дух, дух, нейтрализующий плоть, торжество закона среднего понятия, посредственности — вот что воплощали собой монахи, вышагивающие взад-вперед.

Луна взошла еще выше, застыла вдаль от снежной, исчезающей из виду горной гряды, постепенно стала четкой и явной. В корнях оливо засыпала маргаритка с розоватыми лепестками. Я сорвал ее, присоединил к моему маленькому букету хрупких, нежных примул, пусть ее сон согреет их. Еще я сорвал несколько барвинок — ярко-синих, напоминавших мне глаза старой женщины.

Пока я спускался к берегу озера, день кончился, сумерки уступили тьме, снег стал невидимым. На небе оставалась лишь только луна, белая и сияющая, словно женщина, упивающаяся своей красотой, когда она гордо красуется перед всем миром, порой выглядывая из-под кружева темных листьев оливо, порой любясь в водной глади озера своим великолепным, трепещущим обнаженным телом.

Моя маленькая старенькая женщина ушла. Она, воплощение солнечного дня, ничего не имеет общего с луной. Всегда она порхает, как птичка небесная, окидывая своим зорким глазом весь мир, что распростерся под ней, ведь он поник пред ней, а она, зоркая и бдительная, парит над ним, как орлица, как недремлющее око. И как птица, она отходит ко сну с наступлением сумерек.

Ей неведом отказ от своих ощущений, она не поддается власти неизвестности, тех непонятных чувств, что овладевают тобой, когда на небе появляется луна. Победоносное солнце не признает такого. Оно идет своим путем. А потом маргаритки тотчас засыпают. И душа старой пряжи тоже засыпает на закате, все остальное — сон, замирание.

Как это странно и у всех по-разному — смуглые итальянцы оживают ночью, при луне, синеглазая старая женщина полна жизни на солнце, а монахи в саду внизу, те, что должны бы включать в себя обе модели, двигаются лишь в нейтральной полосе переходного, среднего времени суток. Где же это место встречи — где человечество несет в себе ликование света и тьмы одновременно, где высший, трансцендентный отблеск, где день блаженствует в объятиях наступающей ночи, как Эвридика в объятиях Орфея, как Персефона в объятиях Плутона?

Где высшее блаженство человечества, когда день несет ликование и ночь несет ликование, где конечная цель — экстаз, а встреча — экстаз, и единая страсть тела и души — ликование в подлунном мире? Где это трансцендентное знание в наших сердцах, объединяющее солнце и тьму, день и ночь, дух и чувства? Почему мы не понимаем, что когда двое встречаются, то они

сливаются в одно, что каждый лишь часть; он частица, обреченная на одиночество навсегда; но встреча двух — совершенство, покоряющее тоску и одиночество?

2. Сады лимонов

Padrone* пришел к нам, когда мы пили кофе после обеда. Было два часа дня, катер, залитый солнцем, плыл по озеру по направлению к Десензано, а вода играла бликами, скачущими по стене меж теней под звуки пианино.

Синьор был воплощением корректности. Я увидел его в холле — он склонился в низком поклоне, зажав в одной руке шапку, в другой — лист бумаги; на плохом французском он стал рассыпаться в извинениях по поводу того, что нарушил мой покой.

Он — маленький, ссохшийся человечек, с коротко стриженными седыми волосами, с мощной челюстью, которая постоянно напоминала мне, когда я слушал его и наблюдал, как он размахивает руками, древнюю аристократку-обезьянку. Синьор — джентльмен, последний, ссохшийся представитель своего рода. Единственное качество, отличающее его, по мнению жителей этой деревни, — скупость.

— Mais — mais, monsieur — je crains que — que — que vous derange...*

Он развел руками, поднял брови, глядя на меня своими карими невыразительными глазами, казалось, они были неподвластны годам, напоминали оникс, а лицо его было как у сморщенной обезьянки. Ему нравилось говорить на французском, он чувствовал себя знатным. У него была смешная, наивная, изначальная страсть быть знатным. Но, будучи последним представителем древнего, зачахшего рода, он был не намного состоятельнее, чем зажиточный крестьянин. Но верность старому роду не изменяла ему, была какой-то трогательной.

Он любил разговаривать со мной по-французски. Он держался за подбородок и взволнованно ждал, когда родится очередная фраза. Потом, споткнувшись, он торопливо заканчивал ее на итальянском. Но особым предметом его гордости была решимость говорить по-французски.

В холле было холодно, но он не хотел пройти в комнату. Он нанес не визит вежливости. И сейчас он — не джентльмен. А всего лишь разволнованный сельский житель.

— Voyez, monsieur — cet — cet — qu'est-ce que veut dire cet — cela?***

Он протянул мне бумагу. Это была старая инструкция, напечатанная типографским способом, с картинкой американского патента на дверную пружину, с указанием: «Прикрепи пружину. Закрути. Никогда не раскручивай».

Лаконично, чисто по-американски. Синьор следил за мной с волнением, выжидал чего-то, зажав рукой подбородок. Он был напуган — ему предстояло понять мой английский. Я заговорил по-французски, слава богу, фразы инструкции были короткими. Я растолковал ему их.

Он не верил своим ушам. Там должно быть еще что-нибудь. Он ничего такого не делал, что нарушало бы инструкцию. Он был чрезвычайно расстроен.

— Mais, monsieur, la porte — la porte — elle ferme pas — elle s'ouvre...*

Он подошел к дверям и продемонстрировал мне трагическую загадку. Дверь закрыта — раз! Он отпустил ручку — и она открылась. Она открылась. И ничего тут не поделаешь!

Карие, невыразительные, без возраста глаза, похожие на глаза обезьянки или на оникс, выжидали. Я почувствовал груз ответственности. И разволновался.

— Позвольте, я пойду и посмотрю вашу дверь, — сказал я.

Мне было не по себе, как Шерлоку Холмсу. Патрон стал протестовать: «Non, monsieur, non, cela vous derange»** — он только хотел, чтобы я перевел ему фразы, он не хочет беспокоить меня. Как бы то ни было, мы пошли. Я чувствовал, что я олицетворяю техническую Англию.

Каза ди Паоли, очень красивое здание, большое, розовато-кремовое, в центре крыши — квадратная башня, от которой во всю длину фасада тянется крашенная лоджия. Дом стоит чуть поодаль от дороги, над озером, на выложенной булыжником площадке перед ним растет трава. Когда ночью луна освещает этот бледный фасад, никакой спектакль не в силах тягаться с этим зрелищем.

Холл просторный и красивый, с большими застекленными дверями по краям, сквозь них виден сад, залитый солнцем, там, в листьях бамбука, играет солнечный свет и пламенеют герани. Пол выстелен мягкими красными плитками, они смазаны маслом и отполированы, как стеклянные, стены выкрашены в серо-белый цвет, на потолке — розовые розы и птицы. Этот переход из внешнего мира во внутренний позаимствовал многое из того и из другого.

Другие комнаты были темными и уродливыми. Вот уж действительно внутренний мир. Они напоминали меблированные склепы. Отполированные красные плитки на полу в гостиной были холодными и влажными, резная, холодная мебель стояла здесь, будто в усыпальнице, было темно, пахло смертью, тленом.

А снаружи играло солнце, пели птички. Наверху серые горы словно поддерживали солнце в небесах, Святой Фома стерег террасу. Внутри была неизбывная темнота.

Снова я подумал об итальянской душе — какая она темная, погруженная в вечную ночь. Такое, похоже, произошло с ней в Возрождение, после Возрождения.

В Средневековье христианская Европа, казалось, избавлялась от своей сильной, примитивной, звериной природы, устремляясь к самоотречению и к абстракции Христа. И этот процесс принес понимание завершенности, гармонии. Две половинки души европейца соединились в стремлении стать единым целым, пусть и неосознанно. В Целом была заключена ликующая радость.

Но движение постоянно развивалось в одном направлении — к умерщвлению плоти. Человек жаждал все больше чистой свободы и абстракции. Чистая свобода заключалась в чистой абстракции. Слово стало абсолютом. А когда человек воплотился в Слове, в чистом законе, он обрел свободу.

И к тому моменту, когда это произошло, движение замерло. Уже Боттичелли нарисовал Афродиту, царицу плотских ощущений, столь же высшее существо, как Мария, царица Небесная. И внезапно Микеланджело свернул с христианского пути, обратился к плоти. Плоть стала высшим идеалом, божеством, мы едины во плоти, в физическом своем пресуществлении, а потому едины в Господе Нашем, Боге Отце. Бог Отец создал человека по образу и подобию своему. Микеланджело вернулся назад, к периоду ранних мозаик. Христос перестал существовать для него. Для Микеланджело не было спасения в духе. Был лишь Бог Отец Вседержитель, создатель плоти. И наступило торжество законов плоти, Судного дня, когда бессмертная плоть спускается в Ад.

С тех пор таков был взгляд итальянца на мир. Разум — это Свет, чувства — Тьма. Афродита — Царица чувственности, рожденная из пены морской, вспышка сияющей чувственности, свечение моря, самодостаточность чувства. Афродита — сияющая Тьма, она — освещенная ночь, богиня разрушения, ее белый, хладный огонь лишь поглощает, но не творит.

Такова душа итальянца со времен Возрождения. На солнце он сладко дремлет, собирая в своих венах виноградный сок, чтобы ночью претворить его в иступленный, чувственный восторг, сильнейший, белый, холодный экстаз тьмы и лунного света, хриплый, кошачий, разрушительный восторг, в осознанные чувства; он ликует в объятиях наслаждения, поработившего этот южный народ, а может, и всех латинян, со времен Возрождения.

Это рывок назад, к истокам, к Моисею, когда плоть обожествлялась, а заветы считались незыблемыми. Но к этому теперь добавился культ Афродиты. Плоть, чувственность стали самодостаточными. Они знают свое предназначение. Их цель — высшее чувство. Они стремятся получить как можно больше чувственного восторга. Они даже стараются избавиться от власти плоти, ибо она сосредоточена на самой себе и в этом упоении собой достигает апогея, экстаза, преображаясь в сияющий экстаз.

А разум постоянно поддерживает чувства. Как в кошке, в человеке утонченность, красота и достоинство тьмы. Но огонь, горящий в нем, холоден, такой он и в глазах кошки, это зеленый огонь. Он изменчивый, электрический. Достигая апогея, он становится белым экстазом свечения во тьме, всегда во тьме, будто под черной шерстью кошки. По-кошачьи хитрый и цепкий, он разрушителен, всегда поглощает человека, низводит его мироощущение до чувственного экстаза, что само по себе губительно.

Вот он Я, всегда Я. Мой разум подчинен, подавлен. А чувства вызывающе надменны. Чувства — абсолют, божество. Я испытываю такое, что неведомо другому. Это я, и подобные чувства доступны лишь мне. И все доступно мне лишь благодаря моим чувствам. Так что все заключено во мне и подчиняется мне. А то, что не я, — ничто, это нечто, ничем не являющееся. Так итальянец веками сторонится нашей северной прагматичной цивилизации, ибо она представляется ему выражением никчемности.

Он напоминает по своему нраву тигра. Тигр — высшее проявление чувств, которые стали для него абсолютom. Словами Блейка —

Тигр, о Тигр, в крошечный мрак
Огненный вперивший зрак!

И в самом деле, с наступлением ночи он начинает пламенеть. Но истинный огонь тигра — холодный и белый, огонь белого экстаза. Его можно увидеть в белых глазах разъяренного кота. Это превосходство плоти, пожирающей все и превращающейся в великолепное пятнистое пламя, действительно, в куст, охваченный пламенем.

Таков один из путей перевоплощения в вечный огонь — перевоплощения через экстаз плоти. Как тигр ночью, я пожираю все сущее, алчу крови, пока это пламя не вспыхнет во мне и я не сольюсь с пламенем Бесконечности. Испытывая иступленный восторг, я пребываю в Бесконечности, я снова становлюсь частицей великого Целого, горю Единым Белым Пламенем, а оно — Бесконечно, Вечно, оно Творец и Создатель, Предвечный Господь. В чувственном экстазе, взалкав всей крови и поглотив всю плоть, я превращаюсь в вечное Пламя, я бесконечен.

Так и тигр, он — царь зверей. У него плоская голова, словно его сплющил тяжелый груз, придавив его череп, он давит, давит, давит его мозг, пока тот не превратится в камень, но он продолжает давить, и тот погружается в кровь, служит лишь крови. Он становится послушным орудием крови. Воля словно опускается вниз позвоночника и подчиняется только животному инстинкту; воля к жизни, разум тигра заключены в чреслах. Там, в спинном мозгу, — жизненный центр.

Таков итальянец, таков воин. Таков дух воина. Он марширует, а сознание его сконцентрировано где-то в нижней точке позвоночника, его разум подавлен, поработан. Воля воина — это воля крупных кошек, воля к иступленному восторгу разрушения, к поглощению всего сущего, самое ценное для него — его собственная жизнь, и так до тех пор, пока экстаз не взрывается белым вечным пламенем, Бесконечностью, Пламенем Бесконечности.

Таков истинный воин, таков бессмертный апогей чувств. Таков апогей плоти — мощного тигра, пожравшего все живое вокруг себя, а теперь вышагивающего по клетке своего бесконечного мира взад-вперед, взирающего своими невидящими, свирепыми, отсутствующими глазами округ себя, но ничто не представляет для него ни малейшего интереса.

Тигр видит лишь при помощи света, горящего внутри него, света собственного желания. Его хладный, бледный свет столь яростен, что теплый свет дня гаснет, иссякает, исчезает. А белые глаза тигра светятся, и перед ним постепенно все обретает четкие контуры, даже и то, чего нет. Поэтому он так зорок. То, что, как я полагаю, я представляю собой, для него — пустое пространство, не цепляющее его взгляд. Он знает, что я рядом, потому что чувствует мой запах, мое сопротивление, мою коварную, сопротивляющуюся мощь, которую он должен одолеть, чтобы кровь текла из пасти, а внутри нее ощущался великолепный вкус живой плоти. Это он видит. Все прочее — нет.

А что же такое все прочее, не тигр, что такое не-тигр? Что это?

Что идет одним путем с ангелом в обличье чудовищного орла, ангела страстей эпохи Возрождения? Итальянцы говорили: «Мы все едины в Боге Отце Нашем — мы явимся». А северные народы говорили: «Мы все едины во Христе: мы продолжим свой путь».

Что такое умереть со Христом? Человек познает радость, когда он, преодолев все искушения, преосуществляется в Бесконечном, когда становится частицей вечного. В высшем экстазе плоти, в дионисийском экстазе, он достигает высшего блаженства. А как это преодолеть, живя во Христе?

Это не мистический экстаз. Мистический экстаз — особый чувственный опыт, в котором чувства находят самоудовлетворение с помощью искусственно созданного объекта. Он дается путем сосредоточенности на самом себе, это чувственное удовлетворение, которое приходит благодаря воссозданному, спроецированному «я».

«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное».

Царство Небесное — бесконечность, в которую мы, быть может, вольемся, если будем нищие духом или станем изгнанными за правду.

«Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

«А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»

«...будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный».

Что надо сделать, чтобы быть праведником, жить во Христе, быть бесконечным и вечным? Обратиться другую щеку к обидчику, возлюбить врагов своих.

Христос — Агнец, на которого падает орел, голубь в когтях ястреба, олень, которого пожирает тигр.

Кто же я такой, если недруг придет ко мне с мечом убить меня, а я не стану ему сопротивляться и приму смерть от его меча, кто я? Я мощнее, сильнее его? Сольюсь ли я тогда в Бесконечности, став жертвой, добычей тигра, пожирающего меня? Не оказывая ему

сопротивления, я помешаю ему слиться с Вечностью, достичь своей цели. Но для тигра нет иной цели, как убить истерзанную, бьющуюся в его тисках добычу. Для мясника и гиены не существует Вечности. Я могу лишить тигра его исступления, его порыва к конечной цели, его вечности, самого его *raison d'être** моим непотворением. Мое непотворение обрекает тигра на гибель.

А я, что же я такое? «Итак, будьте совершенны». В чем же мое совершенство, когда я не оказываю сопротивления? Есть ли утверждение в моем отрицании, отличное от самоутверждения тигра его победоносной бесконечности?

Что же такое Союз, Единение, на которые я уповаю, будучи непотворенцем здесь, в своем телесном обличье?

Может, мне суждено испытать лишь негативный экстаз, оттого что меня сожрут, и тогда я стану частью Вседержителя, Великого Молоха, высшего и чудовищного Повелителя? Мне знаком этот экстаз подневольного. Но что же еще?

Кредо Тигра: «Мои чувства исключительно Мои, чувства мои — это мой Бог». Но Христос сказал: «Я не таков, как прочие люди, Господи». Во многом множестве других — Господь, всесильный Господь, более всесильный, чем Мой. Господь — это Не-Я.

И это истина христианина, истина, проясняющая языческую установку: «Господь — это Я».

Господь — это Не-Я. В познании Не-Меня я сливаюсь с Бесконечностью, становлюсь вечным. Обращая обидчику другую щеку, я подчиняюсь воле Господа, который всесилен, сильнее меня, Он другой, который — во всем, что не-я. И в этом высшее слияние с Вечностью. А чтобы слиться с ней, надо возлюбить ближнего своего больше самого себя. Мой ближний — воплощение не-меня. А раз я люблю все сущее, я могу стать частицей Целого, слиться полностью с вечным, соединиться с Господом, с бесконечностью, разве не так?

После Возрождения северные народы продолжали жить, сообразуясь с религиозным убеждением, что Господь — это Не-Я. Даже сама идея спасения души была негативной: речь шла о том, как избежать проклятия. Пуритане осуществили последнюю серьезную атаку на догму «Господь — это Я», отрубив голову Карлу I, королю, правившему Англией по Божьему промыслу; пуритане этим символическим актом разрушили абсолютную власть «Меня», олицетворявшего Господа, «Меня» во плоти, «Меня» — пламенеющего огнем тигра, «Меня» — короля, Повелителя, аристократа, «Меня» — божество, ибо он являл собой плоть Господа.

Вслед за пуританами мы стали собирать доказательства, что Бог — Не-Я. Когда папа сказал: «Запомните, Господа нельзя познать. Чтобы изучить человечество, надо изучить человека», — он тем самым хотел сказать: «Человек идет праведным путем, когда он стремится познать Человека, эту великую абстракцию; он сливается с Вечностью, а метод познания — анализ, который ведет к разрушению его “эго”». В то время считалось, что человек — это уменьшенная модель Вселенной. Предназначение человека — стремиться к самовыражению, осуществлению своих желаний, удовлетворению своих помыслов.

Но теперь произошла перемена. Индивидуум стал существом ограниченным, замкнутым в самом себе. Хотя он и способен постичь то, что вне его. «Чтобы хорошо изучить человечество, надо изучить Человека». Иными словами — «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Это означает, что он достигает совершенства, когда он постигает не себя, а абстрактного Человека. Поэтому совершенство, предел возможного — в стремлении к ближнему, в познании ближнего. Стюарт полагал: «Человек достигает совершенства, выражая свое собственное “Я”».

Новое направление духовных поисков нашло свое воплощение в эмпирических и идеалистических философских системах. Основа основ — сознание, и в сознании каждого Человек велик и возможности его безграничны, в то время как индивидуум — мал и фрагментарен. Поэтому индивидуум должен раствориться в великом целом Человечества.

Совершенство человека — таков краеугольный камень философии Шелли. Так мы следуем заповеди: «Будьте совершенны, как совершен Отец наш Небесный». Как учил апостол Павел: «Сейчас я познал лишь часть истины; но потом она мне откроется вся, когда и меня узнают».

Когда человек знает все и постигает все, он становится совершенным, а жизнь его — праведной. Он способен познать все и постичь все. А потому он вправе уповать на безграничную свободу и милость небес.

Главный постулат новой религии — постулат свободы. Когда я подчиняю себе свою плоть или освобождаюсь от похоти, когда я, словно жаворонок, растворяюсь в небе, наполняя небеса и землю пением, тогда я достигаю совершенства, соединяясь с Бесконечностью. А когда я превращаюсь в не-меня, я обретаю полную свободу, не знающую границ. Главное — отказаться от своего «Я».

Этот религиозный догмат нашел свое выражение в науке. Наука стала инструментом изучения окружающего, изначальной субстанции внешнего мира. А машина — великая модель безликой мощи. Отсюда самозабвенное поклонение, которому мы предались в конце прошлого столетия, поклонение механической силе.

И по сей день мы продолжаем поклоняться всему, что не-мы, Безликому миру, хотя и мечтаем о том, что Я придет нам на помощь. Мы упиваемся словами Шекспира, обращенными к воинам: «Должны вы подражать повадке тигра». Мы вновь пытаемся превратиться в тигра, в высшее, царственное, воинственное «Я». И в то же время сохраняем верность идеалу — бескорыстному, справедливому миру.

Мы продолжаем служить Бескорыстному Богу, поклоняемся великому духовному, безликому единению, единению во благо великого человечества, воплощению Не-Меня. Этот безликий Бог — Тот, что един, равен для всех, без всяких оговорок. Его воплощение — в машине, поработившей нас, повергшей нас в ужас, мы трепещем перед ним, готовы служить ему. И он един для всех смертных.

В то же самое время мы хотим стать воинственными тиграми. Это ужасно — смешение двух целей. Мы, воинственные тигры, оснащаемся различными механизмами, и наши доспехи буквально пламенеют от тигриного гнева. Это чудовищное зрелище — машины, управляемые тиграми, поставленные на службу тиграм, заряженные агрессией тигров. Но еще более чудовищное зрелище — тигры, пойманные, загнанные в тупик и истерзанные машиной. Это чудовищно — хаос внутри хаоса, невообразимый ад.

Тигр не виноват, и машина не виновата, но мы, лжецы, прислужники, полные тупицы, мы виноваты во всем, и нет нам прощения. Мы говорим: «Я стану тигром, потому что я люблю человечество; из любви к ближним, из бескорыстного желания помочь другим, тем, кто не-я, я готов стать даже тигром». Но это полный абсурд. Тигр пожирает все вокруг себя, потому что в процессе поглощения он движется к своей цели, к самореализации, он достигает своего идеального воплощения. Он не потому не пожирает оленя, или голубей, или других тигров, что ему жаль их.

Достигнув крайнего воплощения механической безликости, мы мгновенно бросаемся к другой крайности трансцендентного «Я». Но ведь мы стремимся одновременно к разным полюсам. И не переходим из одного состояния в другое. Мы даже не играем поочередно эти роли. Мы хотим быть одновременно тигром и ланью. А это отвратительно и низко. Тем самым мы утверждаем: «Тигр — лань, а лань — тигр». Что само по себе — ноль, nihil*, nought**.

Хозяин гостиницы отвел меня в маленькую комнату, которая, казалось, была просто тайником в толще стены. Там я наткнулся на полный удивления и волнения взгляд темных глаз синьоры, устремленный на незнакомца. Она моложе синьора, дочь простого деревенского купца и — увы! — бездетная.

Действительно, дверь была открытой. Мадам опустила отвертку и выпрямилась. В ее взгляде пламенело волнение. Эта дверная пружина, из-за которой дверь оставалась постоянно распахнутой, тогда как ей следовало быть закрытой, вызвала в ней живейший интерес. Синьора вела неравный бой с ангелом механизма.

Ей было около сорока, она напоминала язычок пламени и была бесконечно грустной. Полагаю, она и не подозревала о том, что ей грустно. Но сердце ее съедала бессмысленность ее жизни.

Она посвятила пламя своей жизни маленькому хозяину гостиницы. Он был странноватым, статичным, мало похожим на человека, скорее на обезьянку без возраста. Она поддерживала его своим пламенем, поддерживала его статичную, классическую, даже красивую плоть, охраняла ее от порчи временем. Но она не верила в него.

Сейчас синьора Джемма поддерживала своего мужа, пока он отвинчивал шуруп, на котором держалась пружина. Если бы они были одни, она сама бы это сделала под его присмотром. Но поскольку при этом присутствовал я, он лично занялся пружиной; неприметный, неуверенный в себе, хорошо воспитанный маленький господин стоял на стуле с длинной отверткой, а жена была позади, она приподняла руки — на тот случай, если супруг начнет падать, чтобы подхватить его. Но он казался на удивление независимым — в его манерах и породе таилась странная нетронутая сила.

Они почти приладили тугую пружину к закрытой двери и легонько выпрямили ее, прикрепив к косяку так, чтобы в тот момент, когда задвижку отодвигали, дверь открывалась.

И вскоре мы справились с ней. Наступил ответственный момент — шуруп закреплен основательно. И дверь встала на свое место. Они были в восторге. Синьора Джемма, вызвавшая во мне электрический заряд меланхолии, захлопала от радости в ладоши, когда увидела, что дверь закрылась.

— Ессо!* — воскликнула она, в голосе ее зазвенел воинствующий клич. — Ессо!

Взгляд ее пылал, когда она смотрела на дверь. Она сделала шаг вперед, чтобы самой попробовать. Открыла ее, сгорая от нетерпения. Пуф! — та со стуком захлопнулась.

— Ессо! — в голосе звенели металлические нотки, гневные и торжествующие.

Мне пришлось тоже попробовать. Пуф! Она со стуком захлопнулась. Мы хором радостно закричали.

Потом синьор ди Паоли повернулся ко мне с благодарной, вялой, вежливой улыбкой. Он повернулся спиной к жене и, держа руку на подбородке, улыбнулся мне своим некрасивым лошадиным ртом, улыбнулся скорее надменно. Это ведь мужское дело. Жена его исчезла, словно ее отправили прочь. Потом хозяин гостиницы позволил себе великодушный жест: «Давайте выпьем что-нибудь».

Он хочет показать мне свое поместье. Дом я уже видел. Мы вышли в левую застекленную дверь на задний двор.

Он был ниже, чем все соседние сады, солнечные лучи падали на плиты через решетчатые арки, в трещинах между ними росла буйная сочная трава; тут было пустынно, просторно, спокойно. На солнце в кадках росли один или два апельсиновых дерева.

Потом до меня донесся шум — в углу сада среди розовых гераней, залитая солнечным светом, сидела синьора Джемма с младенцем, она смеялась с ним. Прелестному, красивому малышу было года полтора. Синьора была целиком поглощена ребенком — тот сидел на скамейке, невозмутимый, обаятельный, в маленькой белой шапочке, и обрывал розовые лепестки герани.

Она засмеялась, быстро отодвинулась от тени и склонила смуглое лицо к залитому солнцем малышу, снова засмеялась взволнованно, заговорила с ним, как мать с собственным ребенком. Малыш не обращал на нее внимания. Она быстро спрятала его в тень, теперь они были в полумраке, прислонила свою темноволосую голову к его шерстяной кофточке, стала жадно целовать его в шейку, спрятавшись под вьющейся листвой. А розовая герань весело перебирала своими оборками на солнце.

Я забыл о хозяине гостиницы. Потом повернулся к нему с вопросительным выражением на лице.

— Это племянник синьоры, — пояснил он мне коротко, резко, приглушенным голосом. Такое впечатление, что ему было неловко или он весьма опечален происходящим.

Женщина увидела, что мы наблюдаем за ней, и пошла к нам с малышом, смеясь и болтая с ним, не покидая ради нас свой мирок, не впуская нас туда, лишь соблюдая приличия.

Синьор Пьетро, нелепый, старый конь, начал хрипло, громко смеяться при виде ребенка с какой-то странной, злобной завистью. Личико малыша скривила гримаса, и он расплакался. Синьора отошла с ним, остановившись в нескольких ярдах от своего старого супруга.

— Я незнакомец, — сказал я ей. — Он боится чужих людей.

— Нет, нет, — крикнула она в ответ, глаза ее вспыхнули. — Просто вы мужчина. Он всегда плачет при виде мужчин.

Она снова приблизилась к нам, взволнованно смеясь, с ребенком на руках. Муж ее стоял, словно был тут лишним, словно о нем забыли. Синьора, я, малыш, залитые солнцем, смеялись. Потом я различил хриплый, будто ржанье, вымученный смех старика. От него не так-то просто отделаться. Он напоминал о себе. Он, казалось, силой заставил себя войти в наш круг. Его переполняла горечь, злость страдания и забвения, он сражался за право на существование. Он был сведен к нулю.

Женщине тоже было не по себе. Я понял — она хочет уйти с малышом, наслаждаться им сама, испытывая трепещущее, исполненное боли наслаждение. Это был ребенок ее брата. А старик был словно уничтожен этим ее восторгом, который вызвал в ней мальчик. Он зажал рукой подбородок — мрачный, раздраженный, ничтожный.

Его не существовало. Меня озадачило это открытие. Словно его существование не признают, пока у него не будет ребенка. Словно *raison d'être* заключался в отцовстве, в том, чтобы он имел сына. А у него не было детей. Поэтому у него не было *raison d'être*. Он был ничтожеством, тенью, исчезающей и переходящей в ничто. И ему было стыдно, он был подавлен своей никчемностью.

Меня это озадачило. Вот, оказывается, в чем секрет для нас притягательной силы Италии — в фаллическом культе. Для итальянца фаллос — символ творческого бессмертия личности, для каждого мужчины — его Божественное бессмертие. Ребенок — знак Божественного бессмертия.

Именно поэтому итальянец привлекателен, красив и пластичен — потому что он боготворит свою плоть, символ Божественного бессмертия. Мы завидуем ему, рядом с ним мы ощущаем себя бледной немочью. И в то же самое время мы чувствуем свое превосходство, точно он дитя, а мы взрослые.

А в чем же наше превосходство? Только в том, что мы ищем Божественное бессмертие, творческое начало не в культе фаллоса. Мы открыли для себя силу и тайны науки.

Мы вознесли Человека высоко над человеком, который заключен в каждом из нас. Наша цель — совершенное человечество, совершенное и равновеликое сознание, безликость. И мы

добиваемся этой цели, подчиняя себе, умаляя, подвергая анализу и разрушению Человека, Личность. И мы продолжаем идти этим путем, реализуя себя в науке, механике и социальных реформах.

Но этот процесс истощает нас. Мы открыли великие сокровища, но не в силах воспользоваться ими. И мы говорим: «Что толку во всех этих сокровищах, они просто ничтожны». А еще мы говорим: «Давайте вернемся назад, забудем об этих открытиях, станем наслаждаться своей плотью, как итальянцы». Но наши привычки, наша природа не дают нам возможности стать похожими на итальянцев. Фаллос никогда не был для нас Божеством бессмертия, потому что мы не верили в этот культ — ни один северный народ не верил. Поэтому мы или живем ради наших детей, говоря, что они наше будущее, или предаемся разврату и разрушению, получая наслаждение от разрушения плоти.

Дети не наше будущее. Будущее — в животворящей истине. Время и люди не созидают будущего. Регресс не дорога будущего. Пятьдесят миллионов детей превращаются во взрослых, не стремящихся ни к какой цели, они живут только лишь для того, чтобы потакать собственным желаниям, это не есть дорога к будущему, эти люди лишь частица прошлого. Будущее — в животворящей, развивающейся истине, в великих свершениях.

Но и это не благо. Что бы мы ни делали, наши поступки подчинены более великой, чем наша, воле, направленной на усмирение нашего эгоизма, на создание совершенного общества, это с одной стороны — достигается с помощью анализа, с другой — с помощью механических построений. Такая модель, как нечто цельное, подавляет нас, и до тех пор, пока эта модель не рухнет, безликая воля будет господствовать над нами. А потому сейчас мы по-прежнему принадлежим прошлому, нами руководит стремление к совершенному, бескорыстному, неэгоистическому человечеству, и в результате мы стали бесчеловечны, мы не в силах помочь сами себе, мы превратились в придаток огромного механистического общества, которое мы сами построили на нашем пути к совершенству. И это огромное механистическое общество, будучи безликим, — безжалостно. Оно механически функционирует и разрушает нас, это наш повелитель и наш Бог.

Мы упустили время, когда можно было остановиться, перестать делать то, что мы делали на протяжении сотен лет. Мы упустили время, когда мы перестали стремиться к единой Бесконечности, не признавая иную, тщась избавиться от иной. Бесконечность двуедина, это Отец и Сын, Тьма и Свет, Чувства и Разум, Душа и Дух, «я» и «не-я», Ястреб и Голубица, Тигр и Агнец. Смысл существования человека двуедин — он заключен в Индивидууме и в Безликости. Совершив путь назад ко всему темному во мне, к своей индивидуальности с ее богатой палитрой чувств, я достигаю Высшей Бесконечности, Единения в Духе. Существует две Бесконечности, к Господу ведут два пути. И человеку следует познать оба пути.

Но ему никогда нельзя их путать. Они абсолютно разные. Лев никогда не ляжет рядом с ягненок. Лев непременно уничтожит ягненка, ягненка непременно сожрут. Человеку знаком апогей, высшая точка блаженства, которое испытывает его плоть, ему знаком чувственный экстаз, так было и будет всегда. Равно как извечен духовный восторг единения. Но это два разных ощущения, и их никогда не спутаешь. Невозможно нейтрализовать одно с помощью другого, это отвратительно. Путаница повергает в ужас, превращает в ничто.

Две Бесконечности — негативная и позитивная, соотносятся друг с другом, но они отнюдь не идентичны. Они всегда полярны, но между ними существует взаимосвязь. Это — Святой Дух Святой Троицы. И эту связь между двумя Бесконечностями, двумя ипостасями Господа мы нарушили, предали забвению, грешим против нее. Отец есмь Отец, Сын есмь Сын. Я могу признавать Отца и отрицать Сына или признавать Сына и отрицать Отца. Я не смею отрицать, но осмелился отрицать Дух Святой, а ведь Он связывает две Бесконечности в Единое Целое, он соотносит между собой, и с его помощью мы постигаем двойную ипостась Господа. Сказать, что

они двое — это одно целое — значит солгать. Они двое только с помощью Третьего соотносятся меж собой и сливаются в Единое.

Есть два пути, нет одного единственного пути. Есть два полярных пути к достижению цели. А соединяющее их, словно основание треугольника, — постоянно, Абсолютно, создающее Вечное Целое. В Святом Духе я познаю Два Пути, Две Бесконечности, Два Преосуществления. А познав Два Пути, я познаю Единое Целое. Исключая Один Путь, я исключаю Единое. А путая их, я превращаю все в пыль, в ничто.

— Mais, — спросил синьор, уходя со своего лобного места, где его жена играла с ребенком другого мужчины, — mais — voulez-vous promener dans mes petites terres?*

Его приглашение прозвучало весьма естественно, он был слишком взволнован, пытаюсь защититься и самоутвердиться.

Мы вошли в крытую аллею, увитую костлявыми виноградными лозами, прятавшуюся от солнца между стен, сюда заглядывала лишь длинная гора, что тянулась параллельно аллее.

Я сказал, что очень люблю большие виноградники, спросил, когда он кончится. В хозяине гостиницы вновь вспыхнула гордость. Он показал мне на террасу, на большие с закрытыми дверями оранжереи с лимонами. Это все принадлежало ему. Но — он пожал своими итальянскими плечами — все ерунда, небольшой садик, vous savez, monsieur**. Я начал возражать, говорить, что сад очень красивый и он мне очень нравится, он мне кажется очень большим. Сегодня, похоже, он красив, согласился он.

— Perche — parce que — il faut tempo — così — tres bell — tres beau, ecco!***

Он торопливо произнес слово «красиво», точно птичка в быстром прыжке отталкивалась от земли.

Террасы сада были повернуты к солнцу, лучи заливали его, а он, подобно сосуду, вбирал в себя великолепный, тяжелый свет. Мы были одни, под защитой стен, двигаясь в ослепительном весеннем солнце под сводами из костлявых виноградных лоз. Хозяин гостиницы произносил какие-то ничего не значащие восклицания, говорил мне названия овощей. Земля была жирной, черной.

А перед нами, охраняя нас, возвышалась ступенями заснеженная гора. Мы поднялись на одну арку, на противоположном берегу озера стояли маленькие деревушки. Мы поднялись еще выше и увидели покрытую рябью воду.

Мы подошли к большому каменному зданию, которое я принял за склад, за склад на открытом воздухе, потому что стены наполовину не доходили до крыши, так что видна была темная внутренность дома, а угловые квадратные колонны, выкрашенные в ярко-белый цвет, резко выделялись на его фоне.

Я, ничего не подозревая, шагнул в темноту и остановился — под ногами была вода, зеленая и чистая, она стекала в этом мраке вниз вдоль стен, то был резервуар, погруженный во тьму. Синьор засмеялся, заметив мое изумление. Здесь хранится ирригационная вода, пояснил он. Слегка пахнет сыростью, а во всем остальном, сказал я, прекрасное местечко для купания. Старый синьор в ответ засмеялся своим хриплым смешком.

Потом мы забрались на чердак, забитый до самой крыши рыжими листьями, от которых, казалось, шел красноватый жар и дивный запах холмов. Мы прошли мимо них и оказались на крыше оранжереи с лимонами. Огромное заколоченное здание, залитое солнцем, возвышалось перед нами.

Все лето на склонах гор, возвышающихся возле озера, стоят ряды колонн, утопая в зелени листьев, словно руины храмов — белые, квадратные каменные колонны одиноко стоят рядами

и квадратами вдоль склонов гор, кажется, что это развалины культовых сооружений, мест поклонения какого-то великого народа. И зимой некоторые из них видны — там, куда добирается солнце, колонны серыми рядами возвышаются над развалинами стены, ряд за рядом, они тянутся к небу, всеми забытые и покинутые.

Тут лимонные плантации, а колонны построены для того, чтобы поддерживать тяжелые ветви деревьев, но в конце концов они превратились в огромные деревянные убежища, уродливые, без окон, — они защищают деревья зимой от холодов.

В ноябре, когда начинает дуть холодный ветер и в горах выпадает снег, из складов мужчины выносят доски — мы слышали звуки отлетающих щепок. Потом, когда мы шли военной дорогой вдоль горного склона, мы посмотрели вниз, на лимонные сады, и увидели длинные тонкие жерди, протянутые от колонны к колонне, услышали, как переговариваются между собой двое мужчин и поют: они клали эти жерди между колонн. Они ловко перебирались по этому нескладному цоколю, хотя если бы сорвались с жерди, упали бы с высоты двадцати-тридцати футов. Но на фоне крутой горы, казавшейся совсем рядом, и сияющих высоко в небе вершин других гор они, должно быть, утратили страх высоты. Во всяком случае, они ловко перебирались от одной верхушки колонны на другую, не обращая внимания на зияющие между ними провалы.

Потом снова шум и скрежет эхом отдаются в горах, высящихся над синим озером, — прибывают новые доски, шум возвращается к старой темной деревянной платформе, которая тянется от края сада, что упирается в горы, сверху она кажется полом, снизу — нависающей над деревьями крышей. А мы, стоя наверху на дороге, видим сидящего на этой грубой платформе мужчину, который прибывает доски. И весь день напролет стук молотка эхом звенит в горах и в рощах олив, добирается слабым отголоском до рыбаков на лодках далеко на озере. Когда с навесами покончено, мужчины начинают забивать фронтоны, те, что между старыми колоннами, грубо выструганными досками из старого, темного дерева. Тут и там на разном расстоянии тянутся стеклянные панели, одна за другой, в длинном ряду узкого окна. И вот теперь эти огромные заколоченные строения, напирющие на горы, поднялись двумя-тремя рядами — заколоченные наглухо, темные, мрачные.

По утрам я часто лежу у себя в постели и встречаю рассвет. Озеро — в молочной дымке, позади него темно-синие горы, а над ними — всполохи зари высвечивают небо. Кое-где на склоне горы лучик света вспыхивает золотом, словно выжигает крошечную бороздку на склоне горы. Он вспыхивает и вспыхивает, пока внезапно не разливается ослепительный, жаркий, живой свет. Горы тотчас исчезают из виду, свет льется вниз, ослепительное сияние, блеск, поток блесток обрушивается на молочное озеро, и свет падает на мое лицо. Я гляжу в сторону, слышу слабый звук отдираемой доски и понимаю, что начинают открывать лимонные сады — тут и там убирают длинную панель, на разном расстоянии между темным деревом и стеклянными полосками откидывают длинную полосу тьмы.

— Voulez-vous, — синьор склонился ко мне, протянув руку, — voulez-vous entrer, monsieur?*

Я вошел в оранжерею, несчастные деревья совсем, казалось, сникли в этой тьме. Огромное, темное, холодное помещение. Высокие лимоны, отяжелевшие под грузом почти не различимых плодов, сгрудились во мраке. Они напоминали привидения во тьме преисподней, величавые, как и на самом деле, но не деревья, а тени их. Тут и там притаились колонны. Синьор тоже казался тенью, а не странным светлокожим господином, которого я знал. И в этом громадном ящике оказались замкнутыми деревья, люди, колонны, темная земля, печальные черные тропы. Да, здесь были длинные полосы окон, прорези в иное пространство, так что фасад словно был исполосован, и редкий луч света выхватывал листву на невидимом дереве и чахлые круглые лимоны. Но, тем не менее, здесь было очень темно и мрачно.

— Здесь гораздо холоднее, чем снаружи, — сказал я.

— Да, — ответил синьор, — сейчас. Но ночью, надеюсь...

Мне даже захотелось проверить, как тут ночью. Хотелось представить себе, что деревьям здесь уютно. Сейчас они словно в преисподней. Между лимоновыми деревьями чуть поодаль от тропинки росли карликовые апельсины, на них висели дюжинами плоды, словно горящие угли в полумраке. Я стал греть возле них руки, а синьор начал отламывать для меня ветку за веткой, пока у меня не образовалась охапка горящих апельсинов, окруженных темными листьями, — тяжеленный букет. Я смотрел на этот Аид лимоновой оранжереи, на оранжевые гроздья апельсинов, и они напоминали мне огни дереvушки возле озера, а бледные лимоны над ними — звезды. В воздухе — слабый, утонченный запах цветков лимона. Потом я увидел цитрон. Он, тяжелый, висел на таком маленьком деревце, что казался темно-зеленым чудовищем. Над головой — сонм притаившихся лимонов, вдоль тропинок — стайка оранжевых апельсинов, кое-где — мясистые цитроны. Казалось, что ты под водой моря.

В концах тропинки — маленькие пятна пепла и обуглившиеся бревна, там холодными ночами разводят костры прямо внутри помещения. Во вторую и третью недели января снег так низко ложится в горах, что после того, как я примерно час потратил, взбираясь вверх, я очутился на лугу, покрытом снегом, и увидел оливковые сады на снегу.

Синьор сказал мне, что все лимоны и сладкие апельсины привиты к горьким апельсинам. Они, лимоны и сладкие апельсины, вырастают из косточек, легко заболевают, поэтому безопаснее вырастить горькие апельсины, а потом привить к ним те.

Одна дама — она школьная учительница, на уроках итальянского языка не снимает черных перчаток — сказала мне, что лимон привез сюда Франциск Ассизский, он приехал в Гарда, основал здесь церковь и построил монастырь. Церковь Франциска Ассизского, конечно, очень старая и полуразрушенная. На колоннах возле келий вырезан красивый орнамент из листьев и фруктов, напоминающий нам о привязанности Франциска Ассизского к лимонам. Я представил себе, как он бродит здесь с лимоном в кармане. Может быть, в зной он готовил лимонад. Но Бахус опередил его в виноделии.

Взглянув на свои лимоны, синьор вздохнул. Он ненавидит их, подумал я. Они сделали его неудачником. Круглый год их продают в розницу за полпенни.

— Но это такая же цена, как в Англии, а может, даже выше, — сказал я.

— Да потому что их привозят к вам из Сицилии, — ответил маэстро. — Сорт Перо в два раза лучше любого другого.

Сушая правда — у этих лимонов изысканная нежность вкуса и тонкий запах, но сомнительно, что они в два раза полезнее, чем другие сорта. Апельсины продаются за четыре пенса полпенни за кило — на два пенса получается пять маленьких штук. Цитроны тоже продают в Сало на вес, из них делают ликер «Цедро». Один цитрон иногда тянет на шиллинг или больше, но тогда берут их немного. И судя по этой арифметике, у озера Гарда невыгодно теперь выращивать лимоны. Многие сады уже заброшены, а еще больше — объявлены «Da Vendere»*.

Мы вышли из мрака лимоновой оранжереи и очутились на навесе той секции, что была ниже нас. Когда подошли к краю, я присел. Хозяин гостиницы стоял возле меня. Жалкая, дрожащая фигурка на навесе под открытым небом, маленькая фигурка, воплощение упадка, как и сами лимоновые оранжереи, пришедшие в негодность.

Мы были на одном уровне со снежной горой, возвышающейся напротив. Пленка чистой синевы на склонах — справа и слева. Ветер, что дул раньше, утих. Вода вдыхает искрящийся песок на дальнем берегу, где мелкими точками пестрят дереvушки.

На нижнем уровне мира, на озере, лодка с оранжевым парусом устремлена к темно-синей воде, покрытой барашками пены. Со склона быстро спускается женщина с двумя козами и овцой. Под оливами посвистывает мужчина.

— *Voyez***, — сказал синьор со скрытой печалью. — Раньше и там был лимонный сад — видите низкие колонны, их подрубили, чтобы сделать крытую аллею для винограда. Раньше здесь было в два раза больше лимонных деревьев. А теперь разводят виноград. На той земле, на которой я зарабатывал лимонами двести лир в год, от винограда только восемьдесят удастся выручить.

— Но виноград очень выгодно выращивать, — сказал я.

— Да — *cosi-cosi!**** Для того, кто много выращивает. А для меня — *росо, росо***** — *реу******.

Неожиданно на его лице появилась бесконечно печальная улыбка, почти уродливая гримаса. Истинная итальянская печаль, очень сильная, непреходящая.

— *Vous voyez, monsieur******, — лимон плодоносит круглый год, круглый год. А виноград — дает один раз урожай...

Он приподнял плечи и развел руками в обреченном, фатальном жесте, на лице проступило отсутствующее выражение, как у обезьянки. Никакой надежды. Никакого настоящего. Или он смирился с тем, что у него есть сегодня, или же у него ничего нет.

Я смотрел на озеро. Оно было божественно прекрасно, как рай в дни сотворения мира. На берегу возвышались разрушенные колонны лимонных оранжерей, они тоже создавали печальную картину: неуклюжие, забытые наглухо лимонные оранжереи, полуразрушенные, торчали среди виноградных лоз и олив. Деревушки, сгрудившиеся возле церквей, казалось, принадлежали прошлому, словно заблудились в веках, канувших в Лету.

— Но они очень красивые, — начал я возражать, — в Англии...

— Ах, в Англии, — воскликнул хозяин гостиницы, и снова гримаса обреченности, как у старой обезьянки, появилась на его лице. — В Англии у вас богатства — *les richesses** — уголь, минералы, машины, *vous savez*. А у нас только солнце.

Он поднял свою морщинистую руку к небу, к дивному источнику этого ясного дня, улыбнулся с театральным торжеством. Но торжество это было всего лишь наигрышем. Машины были дороже его сердцу, чем солнце. Ему были неведомы эти механизмы, их коварство, их бесчеловечная мощь, но он хотел познать их. А что касается солнца, так оно же всеобщее достояние, оно никого не выделяет среди прочих. Он мечтал о машинах, о промышленных товарах, деньгах, власти. Он хотел ощутить радость человека, который владеет землей, держит ее в зажатой руке с помощью рельс, роет ее железными пальцами, подчиняет ее себе. Он стремился к этому крайнему триумфу «эго», к этому крайнему проявлению зависимости от него. Он мечтал отправиться туда, куда добрались англичане, за пределы собственного «Я», в лоно великого безликого «Не-Я», создать могучих неживых творцов, машины из плодотворных сил природы, существовавшей испокон века.

Но он был слишком стар. Это молодому итальянцу выпадет радость объятий с его возлюбленной — с машиной.

Я сидел на навесе оранжереи, внизу блестело озеро, напротив — снежные вершины гор, и смотрел на руины древних, покрытых оливковой дымкой берегов, на спокойный древний мир, ослепленный солнцем, и прошлое казалось мне столь прекрасным, что именно о нем надо мечтать, стремиться назад, только назад, туда, где покой, и красота, и гармония.

Я вспомнил об Англии, о толпах, заполонивших Лондон, о черных, дымных центральных графствах и северных краях. И все-таки Англия лучше этого старого, смахивающего на хитрую, обреченную обезьянку синьора. Лучше двигаться вперед, навстречу своим ошибкам, чем в ступоре глядеть в прошлое.

Но куда катится мир? Есть Лондон и промышленные графства, что расплзались по всему свету, как чернота, ужасающая и в конечном счете разрушительная. А есть Гарда — нестерпимо прекрасная в лучах солнца. Вдали, за Альпами, снежными Альпами, сверкающими под шапками вечного льда, лежала Англия, черная, грязная, иссушенная, с изболевшейся душой, которая вот-вот погибнет. Но Англия продолжала побеждать мир своими машинами, своими страшными разрушениями, которые она несла природе. Она покорила весь мир.

Не обречена ли она, упиваясь этими несправедливыми делами? Ведь у нее всего уже предостаточно. Она окончательно погубила естественную жизнь — она насытилась, уничтожая мир вокруг себя, удовлетворилась, разрушая Образ мира. Ей предстоит остановиться, повернуться вспять, или же она тоже погибнет.

Если бы Англия выжила, она начала бы строить из кирпичиков своего опыта величайшее здание истины. Вокруг — масса неосвоенных знаний, груды машин и инструментов, сонм идей и методов; но мы ничего не добились с их помощью — перед нами только рой кишачих в общей массе людей, гибнущих среди этих завалов; и в результате мир покроет кора человеческих останков, испещренная зарубками от непонятных орудий производства, все погибнут, исчезнут, захлебнувшись в никчемных потугах сделать общество прекрасным и справедливым.

3. Театр

Во время карнавала в театре дают представление. На Рождество *padrone* подошел ко мне с ключом от своей ложи и пригласил пойти посмотреть представление. Театр, на самом деле, маленький, никудышный; развлечение для крестьян, сами понимаете; синьор Ди Паоли распростер руки и наклонил вбок голову, как мудрый попугай; но надо немного развлечься, добавил он, — *un peu de divertiment*. С этими словами он протянул мне ключ.

Я поблагодарил его, меня все услышанное вдохновило. Вот так запросто, на Рождество, чрезвычайно мило мне вручили ключ от ложи в театре — я сидел в просторной гостиной, окна которой выходят на серое озеро, — мне это пришлось по душе. К ключу на цепочке была прикреплена маленькая бронзовая пластинка, на которой была выбита крупная цифра 8.

И вот на следующий день мы пошли смотреть «*I Spettri*»*, настроившись на добротную простенькую мелодраму. Театр находится в здании церкви. С тех пор как великий «немой», кинематограф, подарил нам нервическую радость движения, скорости — образ возбуждения и скорости, подобной летающему атому, хаосу, — многие старые храмы в Италии обрели второе дыхание.

Эта старая церковь — прекрасное пристанище для театра. Я понял, как продуманно строили ее, чтобы все было подчинено драматическим религиозным мистериям. Восточный угол — круглый, стены без окон, звук прекрасно слышен. Все соответствует театральным канонам, разве что кроме каменного пола, двух колонн сзади и скамей, построенных для прихожан церкви.

В театре два ряда маленьких лож, их около сорока, обитых алым бархатом с бахромой, а внутри — темно-красными обоями, как самые настоящие ложи в самом настоящем театре. Ложа моего синьора одна из лучших. В нее вмещалось три человека.

Мы заплатили за билет три пенса в каменном притворе и поднялись по ступеням. Я открыл дверь номер 8, и мы оказались в нашей маленькой ложе, из которой стали взирать на происходящее внизу. Я увидел брадобрея Луиджи, он кланялся нам усердно из ложи напротив. Непременный ритуал — поклоны во все стороны: ах, аптекарь на верхнем ряду, рядом с брадобреем; поклон хозяйке гостиницы, нашей доброй знакомой, она сидит чуть поодаль от нас в маленькой бобровой накидке; весьма прохладный кивок тучному деревенскому судье с длинной черной бородой, он наклонился вперед и устался на сцену, а из-за его спины выглядывают чьи-то лица; теплые улыбки сородичам синьоры Джеммы, они в ложе напротив, поближе к сцене. После всего этого мы усаживаемся удобнее.

Не могу объяснить, почему я не выношу деревенского судью. Он выглядит, как на семейном портрете фламандского художника, сам — по центру, тучный, с длинной черной бородой, а остальные члены семьи — двумя группками, фоном. Полагаю, он рассердился, что мы появились здесь. Он республиканец, с большим мнением о себе. Но мы без труда затмили его — большой черной бархатной шляпой, черными мехами и воскресным платьем.

Внизу толпились крестьяне, перетекали, как медленное течение воды. Слева, повинувшись по инерции церковному порядку, сидели женщины, среди них в последнем ряду подле своей жены пристроился ее чудаковатый муж. Справа на скамьях развалились берсальеры в своих серых военных формах и надетых набекрень шляпах с петушиными перьями; крестьяне, рыбаки; паратройка развязных девок тоже заняли места на мужской половине.

Сзади, мрачные и замкнутые, стояли деревенские хулиганы, кое-кто из них прислонился к колоннам. Черные фетровые шляпы надвинуты на глаза, плащи запахнуты наглухо, до самого рта; эти мрачные парни сбились в обособленную группку — молчаливые и спокойные, они начинали кричать и махать друг другу, когда что-нибудь задевало их внимание.

Все мужчины опрятны, в чистой одежде. Даже лохмотья нищего-носильщика по возможности приведены в порядок. Воскресенье — завтра, а местные мужчины бреются только по воскресеньям. Поэтому щеки и подбородок у них покрыты недельной черной щетиной. У них темные, ласковые глаза, беспечный и легкомысленный взгляд. Они легко, небрежно передвигаются на своих стучащих по полу zoccoli*, с удивительной беспечностью подпирают стены или две колонны, не думая о грязных пятнах на одежде или голых шеях, кое у кого обвязанных красными шарфами. Непринужденно, спокойно они бродят по храму, переговариваются между собой или с глубочайшим вниманием наблюдают за происходящим в спектакле.

Они существуют сами по себе, в своей собственной атмосфере, при этом их душа словно открыта окружающим. Словно их недалекая натура распахнута чужому взгляду, и у них не хватает смекалки спрятаться. В них торжествует пафос физической чувственности и умственной отсталости. Их ум не поспекает за быстрыми, горячими ощущениями.

Мужчины держатся вместе, будто поддерживают друг друга, женщины тоже вместе, и те и другие сбились в сильное, плотное стадо. Казалось, что сила, мощь, триумф даже в этой итальянской деревушке сосредоточены в руках женщин, в их непреклонном, мстительном единстве.

А то, что толкает мужчин к женщинам, — лишь необузданная потребность, бремя страстей человеческих. Они подчиняются этому импульсу словно под давлением, под принуждением. Они воссоединяются только в порыве гнева, в безумии разрушительной страсти. Между ними не бывает дружеских отношений или чего-то подобного, но лишь состояние борьбы, настороженности, враждебности.

Воскресным днем битый час стеснительный, взбудораженный парень нехотя прогуливается по людной дороге со своей возлюбленной недалеко от ее дома. Это необходимая прелюдия к замужеству. Никакого искреннего чувства, никакого ощущения счастья оттого, что они вместе,

только волнение, возникшее на почве постоянной враждебности. Они немного флиртуют, но как-то вяло, даже порой злобно, словно это дуэль представителей разных полов. А вообще-то мужчины и женщины избегают друг друга, даже боятся. Муж и жена воссоединяются в своем ребенке, которого оба обожают. В каждом из них может проснуться глубокое благоговение к младенцу, благоговение к их отцовству и материнству, но никакой духовной любви между ними нет.

В браке мужчина и женщина ведут друг против друга незаметную, доставляющую им удовлетворение войну полов. Она дает им ощущение глубокого удовлетворения, тесной интимной близости. Но убивает радость, единодушие в повседневной жизни.

По воскресным дням стеснительный юноша битый час прогуливается со своей невестой по людной проселочной дороге. Потом вырывается — возвращается в мужскую компанию, будто из плена бежал. Воскресным днем или вечером замужняя женщина в сопровождении подруги или своего ребенка — одна идти не решается, боится, что вспыхнет беспощадная война полов между ней и ее пьяным мужем — тащит загулявшего домой на глазах соседней. Случается, муж ее поколотит, когда они доберутся до дома. Это часть ритуала. Но между мужчиной и женщиной нет объединяющей любви, есть только страсть, а страсть зиждется на ненависти, любовный акт — схватка, поединок.

Дитя, результат этой войны, — божья благодать. Он — результат их единения, союза двоих. И хотя в смертельном поединке страстей одна душа сталкивается с другой, плоть воссоединяется с плотью в единое целое. Фаллос тоже божья благодать. Но душа, разум мужчины — ничто.

И победу одерживают женщины. Вот они сидят в партере, тщательно причесанные волосы блестят, спины прямые, головы гордо подняты. Они вроде бы и не бросаются в глаза. Словно сидят на заднем плане. Но они столь же собраны и энергичны, сколь мужчины — расхлябаны и одиноки. Какая-то неведомая сила заставляет женщин быть подтянутыми, настороженными. Они словно опасное оружие. В них нет очарования или торжества, в лучших из них — красота материнства, в худших — желтая, ядовитая горечь плоти, подобная наркотику. И мужчинам они не по зубам. Дух мужчины, привыкший подчинять свою плоть любой прагматической, конкретной или социальной цели, сломлен. Женщина, став матерью, диктует правила жизни, становится высшим авторитетом. Авторитет мужчины, который проявляется в труде, в общественных делах, по сравнению с ним примитивен. Жалкий позор крестьянина заканчивается воскресным днем, великим днем его освобождения, когда его, пьяного и злобного, тащит домой жена, твердая, негнибаемая, слегка робеющая. Его пьяное сопротивление вызывает в ней жалость, ведь в женщине торжествует негнибаемая, неиссякаемая мощь!

Поэтому мужчинам пришлось уехать в Америку. Не ради денег, не из-за тайного желания восстановить свое достоинство мужчины, производителя, труженика, творца духа, а не плоти. Его гонит глубокое, тайное желание совсем избавиться от женщины, от тяжелой зависимости от секса, от фаллического культа.

Труппа актеров в маленьком театре приехала из городка, что стоит в долине позади Брешии. Занавес поднялся, все смолкли, погружившись в глубочайшее, доверчивое, как у ребенка, внимание. И через несколько минут я понял, что «I Spettri» — это пьеса Ибсена «Привидения». Крестьяне и рыбаки озера Гарда, даже стайка неугомонных ребятишек неотрывно следили за сюжетом норвежской драмы.

Актеры — крестьяне, их руководитель — сын помещика. У него диплом фармацевта, но он нигде не работает, предпочитает бродяжничать, вот и выбрал ремесло актера. Синьор Пьетро ди Паоли, пожалывая плечами, стал извиняться за их простонародный говор. Но мне было безразлично. Я старался свыкнуться с манерой игры актеров, ведь незадолго до этого я видел спектакль в Мюнхене в прекрасной и при этом вызывающей отвращение постановке.

Происходящее на сцене разительно отличалось от тяжеловесной, благовоспитанной, немного механической игры немцев и безупречной режиссуры, лучше которой я, казалось, и представить себе не мог; и вот сейчас я наблюдал за игрой итальянских крестьян, и мне требовалось время, чтобы настроиться на происходящее.

Матушка — приятная, милая женщина, чем-то очень напуганная, она и сама не понимала, чем именно. Рыжеволосый пастор — карикатурное подобие того персонажа, что был создан на северной сцене, вполне мирское существо. Крестьяне ни разу не засмеялись, они заворожено, как дети, и торжественно наблюдали за происходящим. Служанка — дерзкая, нахальная потаскушка, очень крикливая. А сын — актер и руководитель труппы, смуглый, румяный, ширококостный и тучный, явно крестьянской породы, хотя и немного образованный: он был на сцене самой важной фигурой, спектакль был его детищем.

Он вызывал у меня недоумение. Смуглый, румяный, крепкий, он никак не мог быть немощным сыном в «Привидениях», чахоточным, безмолвным отпрыском больного отца, воплощением северного типа характера. Его плотская итальянская страсть к сводной сестре была настолько убедительна, что зрителю становилось не по себе — ему нужна была эта связь, и он добьется ее непременно, несмотря на то, что душа вопиет против этого, в глубине своего существа он противился этой страсти.

Именно противоречие, свойственное натуре этого человека, делало спектакль таким интересным. Пышущий здоровьем тридцативосьмилетний мужчина, напыщенный и самовлюбленный, каким может стать добившийся успеха в жизни итальянец, страдал неким тайным изъяном, подавлявшим его. Но то был не изъян его итальянской плоти, то была некая неразвитость, болезнь его души. Он жаждал плотского наслаждения, и он непременно добьется его, хотя в душе он не хотел этого, нет, вовсе не хотел. И, тем не менее, он должен поступать, сообразуясь со своими плотскими вожделениями, зовом плоти.

Его истинное существо, подлинное «я», было немощно. В душе он был слаб, зависим от других, несчастен. Он был инфантилен и зависел от своей матери. Его слова: «Gracia, mamma!»*, то, как он произносил их, разрывали душу любой матери. Он еще совсем ребенок и рыдает по ночам! Почему?

Потому что он был темпераментным, пышущим здоровьем, практически в расцвете сил, к тому же свободен, как только можно быть свободным в его положении. Он шел своим путем, не принимал никаких возражений. Он повелевал обстоятельствами — приехал в нашу деревушку со своей маленькой труппой, чтобы сыграть те спектакли, которые сам выбрал. И, тем не менее, то, чего он добился, не было для него жизненно важным, то было всего лишь непомерное упрямство, которое заставляет его быть столь по-мужски настойчивым. Им не станут повелевать женщины, ни одна из них не станет ему диктовать свои условия. А все потому, что его плоть поработила его.

Его подлинная душа мужчины, душа, что стремится вперед и строит из ничего новый мир, дремала. Она могла откликаться лишь на плотские ощущения. Его божья благодать была заключена в фаллосе. Другая божья благодать мужчины, та, что пресуществляется в духе и творит в мире новый зародыш идеи, погибла в нем, была отринута. И этот дух кричал в нем беспомощно — в его легко воспламеняющейся плоти. Даже игра в этом спектакле была источником плотского удовольствия для него, в ней не было ни подлинного ума, ни духовности.

Это было так далеко от Ибсена, но так трогало зрителя! Ибсен вызывает волнение, нервические реакции. А этот спектакль по-настоящему трогал вашу душу, то был подлинный плач в ночи. Человек любит итальянский народ, от всего сердца стремится помочь ему. А когда он видит прекрасного Ибсена, как он начинает ненавидеть норвежский и шведский народы! Они вызывают в нем отвращение.

Такое впечатление, что они расковыривают потаенные уголки плоти — наглость, непочтительность, мерзость. В настоящем Ибсене есть некая невыносимая гадость, то же самое — в Стриндберге и в большинстве норвежских и шведских писателей. Они тоже культивируют фаллический идол, но этот культ ментальный, головной, извращенный: фаллос становится фетишем, к тому же он у них источник нечистоты, коррупции и смерти, Молох, которому поклоняются в безумии непристойности и порока.

И это невыносимо. Фаллос — символ творческой, созидательной божественности. Но он воплощает лишь часть созидательной божественности. А итальянец сделал его единственным носителем божественного. И в этом — причина его страданий, ибо ему пришлось разрушить в самом себе символ, суть собственной личности.

Поэтому итальянцы любят войну и не стыдятся этого. Отчасти причиной тому культ фаллоса, поскольку его функция — поглощать и поработать саму жизнь. Но это объясняется также тем, что они торопятся взглянуть в лицо смерти, познать смерть, которая способна разрушить в них слишком сильную власть плоти, освободить дух созидания, дух единения, способность упорядочить хаос внешнего мира; так плоть творит новый порядок из хаоса, зачиная новую жизнь, даруя итальянцам путь к познанию и служению более высокой идее.

Крестьяне внизу сидели и внимательно слушали, словно дети, которые не понимают, что им говорят, но заморожены тем, что слышат. А дети тоже сидели на скамьях, поглощенные происходящим до конца спектакля. Они не суетились, их интерес не угасал. Они следили за мистерией, которая полностью захватила их, широко открытыми глазами, захваченные происходящим.

На самом деле Ибсен был безразличен крестьянам. Пусть себе играют его. На праздник Богоявления, в честь него, актеры ставили поэтическую пьесу Д'Аннунцио «La Fiaccola sotto il Moggio» — «Факел над мерой».

Глупая романтическая пьеска, весьма посредственная вещь. В ней происходят убийства и полные театрального ужаса события. Но при этом, она — милая романтическая сказка, шарада.

Поэтому зрители любят ее. После спектакля «Привидения» я встретил брэдобрю, у него был странный, понурый вид, лицо — землистого цвета, словно он продрог до костей и был чем-то подавлен. Стерильное, холодное равнодушие, которое тоже присуще так называемым нациям-пассионариям, овладело им, и он брел по улице, растворяясь вдали, словно застывшее, мертвое существо.

А после пьесы Д'Аннунцио он был похож на человека, опьяневшего и согревшегося от сладкого вина.

— Ах, bellissimo, bellissimo!* — сказал он голосом опьяневшего от восхищения человека, завидев меня.

— Лучше, чем «I Spettri»? — спросил я.

Он приподнял руки, словно хотел дать понять мне, сколь глуп мой вопрос.

— О, это же был Д'Аннунцио... А другой...

— Ибсен, великий норвежец, — подсказал я, — всемирно известный драматург.

— Но знаете, Д'Аннунцио поэт — ах, как он прекрасен, прекрасен!

Ничего, кроме этих «bello-bellissimo», он не мог сказать.

Все дело в языке, в словах. Итальянцы обожают риторику, речь, обращенную к вашим чувствам, но не дающую пищу уму. Когда англичанин слушает кого-нибудь, он хочет хотя бы считать, что он ясно, без примеси эмоций, понимает услышанное. А итальянца волнуют только

эмоции. Самое сильное для него впечатление, почти физическую радость ему доставляют сами слова. Разум почти не включен. Итальянец подобен ребенку, который слышит кого-то, реагирует, не понимая смысла. Ему достаточно чувственного ощущения. Поэтому Д'Аннунцио для итальянцев — божество. От его слов кровь ускоряет свой бег, и хотя многое из того, что он говорит, — чепуха, слушатель получает удовлетворение, он счастлив.

Карнавал длится до 5 февраля, поэтому каждый четверг проходит Serata d'Onore** одного из актеров. Ради одной из них, ведущей актрисы труппы, цену на билеты подняли, вместо трех пенсов он стоит четыре. Давали спектакль «Жена лекаря», современную пьесу, довольно любопытную, комедию, рассмешившую меня.

Героиней вечера была Аделаида, это был ее бенефис. Она была очень популярна, хотя уже и не молода. На самом деле, она мать того наглеца, персонажа из «Привидений».

Как бы то ни было, Аделаида, полная блондинка, мягкая и трогательная, — настоящая героиня театра, прима. Она так искренне плачет, что после этого мужчины, придя в неопишное волнение, начинают восклицать: «Bella, bella!». Женщины хранят молчание. Они застыли, как всегда, враждебные. Но, без сомнения, они тоже считают, что это подлинный образ несчастной, терзаемой рыданиями женщины, которой выпало столько страданий. Поэтому восклицания мужчин «bella, bella!» после того, как они услышали рыдания героини, они принимают и на свой счет: это справедливое признание и их страданий — «за все платит женщина». Тем не менее в глубине души они презирали пышнотелую, мягкую Аделаиду.

Дорогая Аделаида, ее не в чем упрекнуть. Во все времена, во всех уголках земли, она дорога сердцу, по крайней мере, мужскому сердцу, — эта заливающаяся слезами, мягкая, несчастная блондинка. Ей суждено быть несчастной, обездоленной. Дорогая Гретхен, дорогая Дездемона, дорогая Ифигения, дорогая Дама с камелиями, дорогая Лючия ди Ламмермур, дорогая Мария Магдалина, дорогая, возвышенная, несчастная душа всех времен и народов, как мы любим тебя! В театре она расцветает, она — лилия сцены. Когда я был молод и неопытен, мое сердце разбивалось при виде ее не один раз. Я мог бы посвятить ей сонет, да, этой бледной, обливающейся слезами красавице в белом одеянии с распущенными волосами; я мог бы называть ее сотнями разных имен на сотне разных языков: Мелисандой, Елизаветой, Баттерфляй, Федрой, Миннегагой и т.д. Всякий раз, когда я слышу ее голос, в котором звенят слезы, мое сердце становится большим, его переполняет жар, моя плоть начинает плавиться. Я ненавижу ее, но бесполезно. Сердце начинает набухать, словно бутон под проливным дождем.

Последний раз я видел ее здесь, на озере Гарда, в Сало. Она была бледной, с тонкими ручками дочерью Риголетто. Я ненавидел ее, в ее голосе звучал неприятный скрежет. И все же сердце мое набухало в груди, оно готово было разорваться от любви. Я был готов выскочить на сцену, отхлестать гнусного, подлого любовника, предложить ей себя со словами: «Я знаю, ты ищешь подлинную любовь, она будет у тебя — я дам тебе ее».

Конечно же я знаю секрет магии Гретхен, она заключена в словах: «Спаси меня, Господь! О Боже, я твоя!». Ее робость, нежность, доверчивость, слезы придавали мне храбрость и мощь. Ведь я — олицетворение доброй половины Вселенной. Но если бы произошло все это, я бы стал не более добрым, чем вторая половина Вселенной.

Аделаида — женщина в теле, а в голосе ее, влажном от слез, сокрушительная сила, от этого вас охватывает дрожь вождления. И в тот момент, когда она выходит на сцену и оглядывается — немного испуганная, — она — это Она, Электра, Изольда, Зиглинда, Маргарита. Она в черном платье, похожа на леди, рыдающую на судебном процессе. Она в современном платье. Античное одеяние — белое, со шлейфом, в светлых волосах, затянутых на затылке, — цветок. А в сегодняшнем дне она в черной вуали и с носовым платком.

У Аделаиды всегда в руках платок. И всякий раз я реагирую на него. «Да это всего лишь платок!» — убеждаю я себя. Но через две минуты он начинает действовать на меня. Она сжимает

его в своей пухлой руке, как только слезы подступают к глазам; Судьба, или мужчина, беспощадна, безжалостна. Вздых, плач; она подносит руку с платком к глазам — к одному, к другому. Она плачет по-настоящему, слезы льются из глубины ее мягкого, ранимого, истерзанного существа. Я не в состоянии это выдержать. Я сижу в маленькой красной ложе *radrone* и сдерживаю себя, повторяя: «Позор, парень, позор!» Она старше меня в два раза, но какое это имеет значение?! «Твой бедный платочек, он уже промок от слез. Да не плачь же ты! Все будет хорошо. Я позабочусь об этом. Не все мужчины скоты, поверь мне!» И вот я уже бережно обнимаю ее, чтобы защитить от обидчика, скоро я осыплю ее поцелуями, чтобы утешить в пылу сочувствия, охваченный отвагой, осыплю поцелуями ее мягкие, полные щеки и шею, поцелуи станут все жарче, а мое желание утешить ее — все настойчивее и настойчивее.

Мне отведена очень приятная и волнительная роль в пьесе. Роберт Бернс довел ее до совершенства в своих строках:

С тобой топтали мы вдвоем

Траву родных полей...*

Сколько раз уже говорили эти строки всем *офелиям* и *гретхен* мира:

Но не один крутой подъем

Мы взяли с юных дней.

Какой страстью пылает мужчина к женской груди! От одного взгляда на блузку его охватывает прилив силы и гордости.

Но почему в реальности женщины так бездарно играют эту роль *Офелии* и *Гретхен*? Почему они не готовы терять рассудок и погибать ради нас? На сцене они это совершают постоянно.

Но, быть может, это объясняется тем, что сочиняем эти пьесы мы? Какой же я негодяй, чернобровый, страстный, жестокий негодяй по отношению к этой героине на сцене, а с другой стороны, какой же я молодчага, герой, воплощение рыцарского великодушия и веры! Я — кто угодно, только не скучный, законопослушный гражданин. Я *Галахад*, воплощение чистоты и духовности, *Ланселот*, рыцарь мужества и страсти, я скрещиваю на груди руки или сдвигаю на бок шляпу — в зависимости от обстоятельств — но я становлюсь самим собой. Только не почтенным гражданином, только не им, — в это мгновение моей славы и моей свободы.

О Небеса, как рыдала *Аделаида*, ее голос звучал как скрипка, бился о мою безжалостную мужскую жестокость. Господи, как она рыдала, надеясь найти утешение на моей груди! И как я наслаждался моим двуличием! Как восхищался собой!

Аделаида выбрала «Загубленный талант» для своего бенефиса. Всю следующую неделю — шквал цветных афиш: «Грандиозный бенефис *Энрико Персевалли*».

Это — ведущий актер и руководитель труппы. Что же он выберет для такого выдающегося события, этот коренастый, плотный отпрыск зажиточных крестьян? Никто не знал. Название спектакля не обнародовали.

И мы остались дома — было холодно и сыро. Но в четверг вечером к нам ворвалась *maestro** — неужели мы не пойдем в театр на «*Amleto*»**?

Бедняжка, у нее ужасная желтая кожа, ей около пятидесяти, но темные глаза по-прежнему горят обжигающим пламенем. Когда ей исполнилось двадцать один, она была помолвлена с лейтенантом кавалерийских частей, но тот утонул. С тех пор она так и осталась незрелым плодом, который никто не сорвал с дерева, кожа ее становилась ужасной, покрывалась желтизной.

— «*Amleto*»! — говорю. — *Non lo conosco**.

В глазах у нее появился страх. Она же школьная учительница и больше всего на свете боится ошибиться.

— Si, — воскликнула она в замешательстве, с мольбой в голосе. — Una drama inglese**.

— Английская! — повторяю я.

— Да, английская пьеса.

— А как пишется?

Вне себя от волнения, она достает из сумки карандаш и с унылой тщательностью пишет слово «Amleto».

— Гамлет! — с изумлением восклицаю я.

— Ессо, Amleto! — восклицает учительница, во взгляде — благодарность и согласие.

Так я узнаю, что синьор Энрико Персевалли хочет видеть меня среди зрителей. Его бенефис будет испорчен, если на спектакль не придет англичанин.

Я быстро собрался и под дождем побежал в театр. Я понимал, что он с тяжелым сердцем отнесся к тому факту, что в день его бенефиса пошел дождь. Он считал себя человеком, которому не везет в жизни.

— Sono un disgraziato, io***.

Я опоздал. Первый акт близился к концу. Но спектакль пока что не воодушевил ни актеров, ни публику. Я тихо закрыл дверь ложи и подошел к краю. Беспокойный взгляд Гамлета-итальянца остановился на мне. И датский двор ожил от этого импульса.

Энрико смахивал на тупого болвана в своем траурном черном одеянии. Камзол был ему тесен, отчего он выглядел толстым и вульгарным, штаны до колен усугубляли простоватость его толстых, коротких ног-подпорок. Он таскал за собой длинную черную тряпку вместо плаща — для усиления эффекта. Лицо его застыло в напыщенной гримасе печали и философической глубокомысленности. Гримаса была карикатурой на всепоглощающую печаль Гамлета.

Я наклонился, чтобы пододвинуть скамейку для ног и справиться с собой. Я пытался не усмехаться. Прежде всего, Энрико, облаченный в черный шелк, символ философической печали, был похож на деревенского дурака. Его коротко подстриженная голова, напоминающая голову какого-то животного, была вульгарна, что особенно подчеркивал изящный камзол, а коренастая фигура простолюдина и попытки актера изображать меланхолию граничили с абсурдом.

Все актеры тоже совершенно не соответствовали своим образам. Король и королева Дании были весьма трогательными. Королева, толстая маленькая крестьянка, мучилась в своем розовом атласном платье. Энрико был беспощаден к ней. Он знал, что ей куда привычнее быть в роли сварливой бабы или домохозяйки с повязанным на голову платком, настырной и вульгарной. А в спектакле ее нарядили в роскошное атласное платье, la Regina*. В самом деле, Regina!

Она покорно старалась изо всех сил изображать величие. На самом деле она вошла в образ; она с достоинством поглядывала на зрителей, готовая к тому, чтобы ее воспринимали как важную благородную даму, если они проникнутся к ней должным почтением. Голос ее был хриплым, как у простолюдинки, но не знаю, отчего он звучал так хрипло — то ли от контраста с атласным платьем, то ли от холода.

Она, почти как ребенок, боялась двигаться. Прежде чем начать монолог, она глядела себе под ноги и резким движением поддевала юбку, словно хотела убедиться, что платье в порядке. Потом приступала. Она была толстой шестидесятилетней низенькой женщиной, казалось, что, того и гляди, она надает Гамлету пощечин.

Ей нравилось быть королевой, когда она восседала на троне. Она с величайшим удовольствием устраивалась на нем, шлейф роскошно ниспадал по ступеням. Ее, как ребенка, переполняла гордость, она была похожа на королеву Викторию в день королевских торжеств.

Королю, ее благородному консарту, тоже оказывали высокие почести, он был в подобающем его положению платье. Правда, оно абсолютно не подходило ему. Платье существовало как бы самостоятельно, отдельно от него. Но куда бы он ни шел, оно следовало за ним, что ставило в тупик окружающих.

Он был худощавый, болезненный крестьянин, жалостный и очень кроткий. В нем было что-то чистое и приятное, он был таким кротким и по натуре весьма обходительным. Только королевской особой он себя не ощущал, исполнял свою роль с впечатляющим, простым достоинством.

Энрико Персевалли ни разу не попал в цель с актерами, но в своем образе он промахнулся безнадежно. Его герой был неуклюжим парнем, слоняющимся по сцене, втянув голову в плечи, он цеплялся к другим, юлил между ними, следил за ними, ставил им ловушки, был полностью поглощен собственной важной персоной. Ноги в черных коротких штанах, казалось, способны передвигаться только очень-очень медленно; и из-за этой черной тряпки-плаща, которую он постоянно таскал за собой, он дергался в разные стороны, как дергалась его порочная, низменная душа.

Я всегда испытывал отвращение к Гамлету: крадущееся, нечистое существо, на мой взгляд, даже в исполнении Форбса Робертсона и любого другого. Его гадкая слезка за матерью, ловушки, которые он расставляет королю, самодовольство и какое-то извращенное чувство по отношению к Офелии делали его для меня всегда невыносимым. Образ, отталкивающий по своей сути, его раздирают вечное недовольство собой и разрушительная двойственность.

Полагаю, что это чувство вечного недовольства, недовольства собой, свойственно многим художникам Возрождения, в том числе позднему Шекспиру. У Шекспира это происходит от порочности плоти и осознанного бунта против нее. Ощущение порочности повергает Гамлета в ужас, ибо он ни за что не согласится, что это именно он порочен. То же самое произошло и с Леонардо да Винчи, но Леонардо упивался пороком. Микеланджело отвергал порок, он боготворил плоть, только плоть. Эта реакция того же происхождения, только направлена в обратную сторону. Но так было четыреста лет тому назад. Энрико Персевалли добился своей цели. Он на самом деле Гамлет, а потому испытывает величайшее удовольствие. Он современный итальянец, подозрительный, замкнутый, питающий к самому себе отвращение, раб своих пороков. Но он никогда не признает, что это он порочен. Он крадется среди людей — самодовольный, переносящий ненависть к самому себе на окружающих. С каким злорадством он обнаруживает пороки в своих ближних! Он сообщает матери, что знает о ее инцесте, ее порочности, злорадствует, издевается над королем-кровосмесителем. Среди всех этих низких персонажей Гамлет — самый низменный. Но он обвиняет только других.

«Знаменитые монологи» не получились у Энрико, во всем остальном Гамлет Энрико воплощает муки физической ненависти к самому себе, ненависти к собственной плоти. Эта пьеса — свидетельство самой важной философской доктрины Возрождения. Гамлет гораздо более уравновешенная натура, чем его прототип Орест, он разумная, отрицающая плоть и плотские чувства личность. Сама пьеса — это трагедия разума, причина страдания которого — плоть, трагедия духа, трагедия жертвы природы, реакция высокого аристократического взгляда на подлинно демократический взгляд на мир.

Простой смертный, повинувшись своим чувствам, оказавшись на месте Гамлета, решил бы убить своего дядю или уехал бы прочь. Гамлету не пришлось бы убивать свою мать. Если бы он убил дядю, это стало бы актом кровной мести. Но таков взгляд аристократа.

Орест оказался в аналогичной ситуации, но произошло это две тысячи лет тому назад, опыт, накопленный за прошедшие с тех пор две тысячи лет, был ему неведом. И поэтому смысл произошедшего не был для него так запутан, как для Гамлета, ибо Орест не был способен к бесконечным мучительным размышлениям. Вся жизнь греков строилась на идее верховенства личности, причем мужчины. Орест был сыном своего отца, и кто бы ни был его матерью, он оставался бы таким же. Мать была всего лишь средством, почвой, в которую упало отцовское семя. Когда Клитемнестра убила Агамемнона, для греков это было равносильно тому, что простой смертный убил Бога.

Но Агамемнон, Царь и Бог, не был безгрешен. Он был грешен. Он пожертвовал Ифигенией ради победы на войне, ради самоутверждения, а с другой стороны, он вступал в жестокие схватки, чтобы спасти своих наложниц, попавших в плен. Отцовская плоть — грешна, небожественна. Находясь в ее тисках, он стремится к более низким целям, чем слава, война, рабы, она заставляет его изменять собственной натуре. Орест сходит с ума от фурий своей матери, потому что они воплощают справедливый суд. Тем не менее, в конце концов он прощен. Третья часть трилогии почти глупа — таковой ее делают болтливые боги. Но смысл очевиден — согласно греческому миропониманию, Орест — прав, а Клитемнестра — совершенно не права. В конечном счете безгрешный Царь, безгрешный мужчина погиб в Оресте, его убили фурии Клитемнестры. Он успокаивается, в душе воцаряется мир после того, как он отказался от своей плотской греховности, но он никогда не станет идеальным Повелителем, каким был Агамемнон. Орест обретает покой, став простым смертным. С него начинается неаристократическое христианство.

Отец Гамлета, как и Агамемнон, — король-воин. Но, в отличие от Агамемнона, он безупречен по отношению к Гертруде. И, тем не менее, Гертруда, как Клитемнестра, — потенциальная убийца своего мужа, как убийцы леди Макбет и дочери Лира. Женщины убивают высшее существо, мужчину, идеальную Личность, Короля и Отца.

Над этой трагической ситуацией Шекспир, вероятно, долго размышлял. Женщина отказывается признать, отвергает идеальную Личность, которую олицетворяет для нее мужчина. Его высшее олицетворение, Король и Отец, убит Женой и Дочерями.

В чем причина? Гамлет лишается рассудка в приступе гнева и ненависти. А женщины-убийцы в его воображении олицетворяют высший суд. В глубине души Гамлет решает, что высшие ипостаси личности — Отец и Король — должны погибнуть. Это самоубийственное решение, к которому он приходит невольно. Но оно неизбежно. К такому решению привело его течение религиозной, философской мысли, столь укрепившееся в Средние века.

Вопрос «быть или не быть», который Гамлет задает сам себе, не означает «жить или не жить». И задает этот вопрос не простой смертный, а высшее «Я», Король и Отец. Быть или не быть Королем, Отцом, высшим проявлением Личности? И ответ — не быть.

Таков неизбежный философский вывод, к которому пришло Возрождение. Глубочайшее переживание человека — религиозное переживание — заключено в стремлении стать бессмертным, бесконечным, достичь высшей цели. И это переживание находит свое удовлетворение в реализации идеи, в неуклонном движении вперед. В движении вперед человек находит удовлетворение, кажется, он достигает своей цели, этой бесконечности, этого бессмертия, этого вечного существования, и с каждым шагом он становится ближе к заветному.

И вот, в соответствии со своей идеей высшего совершенства человек выстраивает весь порядок жизни. Если путь к высшему совершенству — это путь к созданию неведомой ранее божественной личности внутри меня, значит, я приступаю к реализации высшей идеи личности, высшей концепции моего «Я», а мой уклад жизни тогда станет королевским, имперским, аристократическим. И в политическом, общественном плане я достигну апогея, ибо мне будут сопутствовать слава, божественные сила и власть Короля, Императора. На своей политической, общественной стезе я буду стремиться стать королем, императором, тираном, прославленным, всесильным, и, став им, достигну полной самореализации и совершенства. Это неизбежно!

Но в Средние века борьба в пределах этого языческого, необычного преобразования, преобразования «эго», была сопряжена с недовольством, вызывала противоречивые чувства. Богоматерь с младенцем Иисусом оказалась в толпе пышных королей и святых отцов. Царь Иисус постепенно сдавал свои позиции. На его месте оказался беспомощный, зависящий от жестокого мира Младенец Иисус. Или распятый Христос.

Путь преобразования древних, путь к совершенству «эго» у древних, экстаз Давида, воплотившего в себе всю силу и славу мира, путь к бесконечности через способность «эго» впитать в себя все сущее постепенно стал казаться несовершенным. Такой путь не вел к бесконечности, к бессмертию. Он вел к вечной смерти, обрекал на вечные муки.

Идеалом стал монах, преисполненный экстаза совсем иной природы, христианского экстаза. Надо звать смерть, чтобы умереть, — плоть, человек, должна умереть, чтобы восстал его дух, бессмертный, вечный, беспредельный. Я, простой смертный, умру, но буду жить в Вечности. Больше нет моего конечного «Я», лишь Беспредельность, Вечность.

В эпоху Возрождения эта гигантская полуправда заменила собой другую гигантскую полуправду. Христианская Бесконечность, путь к которой лежал через великий отказ, через процесс исчезновения, растворения, распыления в великом «Не-Я», пришла на смену языческой Вечности, какой ее понимали древние, считая, что личность, как корень, от которого идут ветви и маленькие корни, заполняет собой всю Вселенную, становясь Единым целым.

Осталось лишь одно представление о Бесконечности, сокрушается мир, — великая Христианская бесконечность самоотречения и растворения в безличном. То, что проповедовали древние, было предано проклятию. Самый страшный грех — Гордыня, она ведет в ад. А ведь древние строили свое миропонимание на гордости.

И согласно этому новому представлению о Вечности, путь к которой — через отказ и растворение в Других, в Ближнем, человек обязан строить свой образ жизни. С помощью Савонаролы и Мартина Лютера действующая Церковь преобразовалась, потому что в Римской Церкви все еще было живо языческое начало. Генрих VIII просто говорил: «Церкви нет, есть только Государство». Но при Шекспире изменения коснулись и самого Государства. Король, Отец, предстоятель, Высшее начало, величайшее воплощение самой жизни, идеал совершенной личности, воплощение Высшего, Божественного, Вечного должен погибнуть, исчезнуть. Эта Вечность вовсе не вечность, это совершенство личности вовсе не совершенство, все грешно и фальшиво. Все прогнило, распалось. Должно погибнуть. Но Шекспир сам был частью того мира. Отсюда его ужас, безумие, ненависть к самому себе.

Король, Император убит в душе человека, старый мир рухнул, а старое древо прогнило до корня. Так говорил Шекспир. В конечном счете это привело на историческую сцену Кромвеля. Карл I считал себя правителем, получившим королевскую власть свыше. Как и отец Гамлета, он был во всем прав. Но он представитель старого мира, который нынче человечество ненавидит, за это его следовало казнить, сбросив с престола. Казнь короля стала символическим актом.

Мир, наш европейский мир, и в самом деле повернулся к новой цели, к новой идее — путь в Вечность лишь в самоотречении. Господь — это все то, что «Не-Я»: ближний, враг, великое Прочее. Только таким путем я достигну совершенства.

И, руководствуясь этой новой доктриной, мир постепенно начал выстраивать новое Государство, новую форму правления, в которой Личность должна отсутствовать. Долой королей, лордов, аристократов! После Французской революции, после Шелли и Годвина, мир продолжал развиваться согласно своей новой религиозной догме. Долой Личность! Высшим авторитетом объявлялось то, что «Не-Я», другой. Определяющим фактором государства была идея благополучия других, то есть Общего Благоденствия. И со времен Кромвеля это стало доминирующим, основополагающим принципом.

До Кромвеля главной идеей было «За Короля!», потому что каждый видел вершину своего совершенства в единении с Королем. После Кромвеля: «Во имя блага народа!» или «Во имя всеобщего блага!». Это стало нашим основным принципом, который определял в той или иной степени наше существование.

А теперь и это миропонимание рухнуло. Теперь мы утверждаем, что Христианское понимание Вечности несостоятельно. Подобно Ницше, мы готовы вернуться в прошлое, к языческому пониманию Вечности, утверждать, что древние были правы. Или же, как англичане и прагматики, утверждаем: «Вечности нет, Абсолюта нет. Единственный Абсолют — выгода, единственная реальность — твое сиюминутное ощущение». Но мы можем настаивать на этом, даже соответственно вести себя, *a la Sanine**. Мы никогда не поверим в это.

Что на самом деле является Абсолютом, так это мистический Разум, соединяющий обе Вечности, Святой Дух, присущий обоим ипостасям Господа. Если мы хотим построить жизнеспособное, реальное государство, мы должны следовать идее Духа Святого, высшего Связующего звена. Должны сказать, что языческая Вечность — вечна, Христианская Вечность — тоже: есть два пути к достижению высшей цели, любой из них приведет нас к совершенству. А то, что объединяет их, и есть Абсолют.

Этот Абсолют Духа Святого мы можем назвать Истиной, или Справедливостью, или Правом. Это не совсем точные названия, они недостаточны и неудовлетворительны, если не сохранить знание о двух Вечностях, языческой и христианской, которые они соединяют.

— *Essere, o non essere, e qui il punto***.

«Быть или не быть» — вопрос, который должен был решить Гамлет. Это не к нам вопрос, во всяком случае, для нас в нем заключен другой смысл. Когда встает вопрос о смерти, то юный щеголь-самоубийца заявляет, что факт его самоуничтожения — окончательное доказательство бесспорности его бытия. А что касается небытия в нашей общественной жизни, мы добиваемся этого в той степени, в какой сами хотим и в какой это представляется необходимым. В личной же жизни это становится результатом превращения мелкого эгоизма в мировоззрение. А на войне подобный поступок означает решение занять нейтральную позицию или превратиться в ничто. Это вопрос «*как быть*» и «*как не быть*», ибо мы должны пройти через то и через другое. Энрико отвратен в монологе «*Essere, o non essere*». Он шепчет эти слова хриплым голосом, словно собирается совершить убийство в мелодраме. На самом деле он отлично знает и всю жизнь знал, что языческая Бесконечность, преображение его существа и достижение высшего совершенства в отцовстве — ерунда. Всю жизнь он действительно преклонялся перед представлением северных народов о Вечности, к которой можно приобщиться лишь путем отрицания Личности, хотя продолжал оставаться итальянцем, для которого Личность — культ. Но то было всего лишь привычкой, притворством.

Откуда ему знать что-то о бытии и небытии, ведь он всего лишь грешник, проливающий слезы раскаяния, пример чего-то среднего между бытием и небытием, и ему ничего не нужно иного, лишь быть вот таким слезливым кающимся грешником. Он не то и не другое. Он, подобно монахам, — существо двуликое. Он вызывает отвращение, когда читает такой искренний монолог Гамлета. Ему еще предстоит узнать, что такое *не быть*, прежде ему надо познать, что такое *быть*. Пока он не прошел христианское самоотрицание и не познал христианское пресуществление, он просто бесформенное, аморфное нечто.

Ведь монологи Гамлета глубоки, добиваются до глубины души и искренни по своей сути, как Святой Дух. Но, слава богу, болото, которое готово затянуть Гамлета, почти позади.

Такое странное впечатление на вас производит человек, если он говорит, закрыв лицо руками, как значителен и пронзителен он, если он незряч! Дух, приходящий к этому Гамлету, очень прост. Он до колен завернут в большую белую накидку, а на лицо наброшена шерстяная шаль. Но наивная, слепая беспомощность и правдивость его голоса чрезвычайно убедительны. Он

кажется самым правдоподобным персонажем в спектакле. От колен до полу — он Лаэрт, потому что он в белых штанах Лаэрта и в открытых кожаных шлепанцах. И, тем не менее, он очень правдоподобен, этот голос из тьмы.

Дух, на самом деле, одна из неудач спектакля, он тривиален, бездушен и вульгарен. Мне это стало ясно с первого взгляда. Когда я был еще ребенком, я пошел на спектакль бродячих актеров — посмотреть за два пенни «Гамлета». Дух был в шлеме и кольчуге. Я сидел, охваченный ужасом.

— Амлет, Амлет, я дух твоего отца!

И тут раздается голос из темных, молчаливых рядов, словно безжалостный клинок пронзает мою чуткую душу:

— Чего врешь! Я узнал твой голос.

Крестьяне полюбили Офелию — она в белом, волосы ниспадают с плеч. Бедняжка, она такая жалкая, безумная. И не удивительно, что они особенно прониклись к ней после слов Гамлета:

О, если б этот плотный сгусток мяса

Растаял, сгинул, изошел росой!

Гамлет с ней ужасен. Крестьяне всей душой жалели ее. В конце этой сцены послышался хриплый крик — полный возмущения, гнева и страсти.

Сцена с могильщиками тоже имела у зрителя большой успех, но мне был по-прежнему отвратителен Гамлет. А могильщик, читавший на итальянском свой монолог, выглядел просто клоуном. Из-за итальянского языка мне вся сцена показалась фарсом.

— Questo cranio, Signore...*

И Энрико, этот болван, взял его и спрятал под свой черный плащ. Ведь он итальянец, будь его воля, он не притронулся бы к нему. Череп грязный. Энрико, толстый болван, пытался изобразить тоску. И при этом был напыщен и значителен, как персонаж Д'Аннунцио.

Занавес закрыли. Крестьяне устроили бурные овации после сцены с могильщиками. А когда спектакль закончился, они встали и двинулись к выходу, словно торопились поскорее уйти, не обращая внимания на последний подвиг Энрико: он упал на спину, провалился сквозь три ступени трона на пол. Но доски и тугие мышцы спружинили, и синьор Амлето высоко подпрыгнул.

«Амлето» закончился, к моей радости. Но мне понравился театр, понравилось смотреть вниз на крестьян, полностью захваченных спектаклем. В конце сцен мужчины снимали с себя свои черные шляпы и с волнением разглаживали брови. А женщины начинали ерзать.

Только один мужчина был с женой и ребенком, он был той же народности, что и повстречавшаяся мне старуха в Сан-Томазо. Красивый, худощавый, светлый — словом, житель гор, словом, не от мира сего. Казалось, он привел жену и ребенка туда, где воздух чище, как в горах. Настоящий Иосиф, отец младенца. У него был свирепый, отсутствующий взгляд, дикий и непокорный, как у орла, который стережет свое гнездо, взгляд свирепый и полный любви. Он вышел, чтобы купить маленькую бутылку лимонада за пенни, мать с ребенком стали пить из нее крошечными глотками, а он наклонился над ними, словно орел, который распростер над своим гнездом крылья.

Яростный дух «эго», истоки которого — в Вечности древних, но независимый, отчужденный; аристократ. Нет, он не смуглый итальяшка. Красивый, твердый, как сталь, в жилах его течет кровь горца. Он такой же, как моя старая пряжа. Удивительно, как ему удалось создать в этом театре отдельный маленький мир для себя, жены и ребенка, так орел вьет гнездо высоко в сияющем небе.

Берсальеры сидят тесными группками, между ними тоже какое-то странное единение. Они коротко стрижены, смуглы, головы напоминают немного головы животных, мощные плечи, на каждом лежит мощная, смуглая рука соседа. Когда спектакль закончился, они надели шляпы, предмет их гордости, накинули плащи и вышли из зала. Они состоятельные люди, эти берсальеры.

Они напоминают молодых полудиких бычков, эти сильные, крепкие, смуглые парни, коренастые, с тяжелыми головами, словно молодые мужчины-атланты. Они держатся друг друга, повинувшись какому-то инстинкту. Они совершенно не женственны. Их связывает некая сосредоточенность, погруженность в себя, состояние наподобие транса, отчего их разум дремлет. В том, как они надели свои шляпы с перьями и вышли одновременно из зала, ни на шаг не отступая друг от друга, словно их тела непременно должны соприкоснуться, было какое-то странное, гипнотическое единодушие. И в этом глубоком, физическом трансе они ощущали себя в безопасности, испытывали радость. Они любили друг друга, юноши любили юношей. Они чурались тех, кто сидел в партере, чужаков, всех тех, кто не был берсальером из их казарм.

Один из них был вожаком. Стройный и крепкий, крепкий, как стена, в нем угадывалась негибкая воля. Петушиные перья свисали почти до плеч мощной, тяжелой волной с его шляпы цвета черной маслины. Он повернулся. Перья заплясали. Потом он пошел в притвор, перья безудержно прыгали и метались. Наверно, он богатый. Берсальеры сами покупают себе перья черных петухов, бывает, платят по двадцать-тридцать франков за такое украшение, сказала мне учительница. А у бедных на шляпе лишь жидкие, тонкие перья.

В этих мужчинах было что-то весьма примитивное. Они напомнили мне солдат Агамемнона, высадившихся на берег, — толпа мужественных, энергичных, жизнерадостных мужчин. Но эти итальянцы-солдаты словно находились под тяжким бременем, словно они кариатиды, — такой груз им приходилось держать на голове, отчего разум их был придавлен, оглушен, он спал. У них были такие лица, словно их разум и в самом деле оглушен, словно они существовали в другом мире.

Отдельно ото всех — Пьетро, парень, который постоянно торчит на пристани, — он разгружает пароходы. Он вострепнулся ото сна, словно дикий кот, когда его кто-то хлопнул по плечу. Человек, у которого кругом враги. Он в любую минуту может стать преступником. Может, и в тюрьму угодит? Он деревенский *gamin**, его все ненавидят.

Ему двадцать четыре года, он тощий, темный, смазливый, по-кошачьи легок и грациозен, но на лице — отталкивающее, злое выражение *gamin*. Все такие чистые и аккуратные, а он — в грязных лохмотьях. Недельная черная щетина покрыла впалые щеки. Он теперь ненавидит того, кто разбудил его, хлопнув по плечу.

Пьетро уже женат, а ведет себя так, будто холостой. Он явился сюда с развязной бабенкой, женой брадобрея с Сицилии, у которого кожа цвета лимона. Уселся на той стороне рядов, где располагались женщины, позади девушки из Больяко, тоже с дурной репутацией, и начал с ней болтать. Наклонился вперед, положив руки на переднее сиденье, по-кошачьи извиваясь. «Моя *padrona* не выносит его — “*ein frecher Kerl*”*, — говорит с презрением и отворачивается. Ей противно смотреть на него».

В деревне есть клерикальная партия, в нее входит большинство жителей, а есть антиклерикальная, остальные нигде не состоят. Члены клерикальной партии — люди мрачные, набожные и хладнокровные; в них какое-то необычное хладнокровие, безысходное уныние — они такие нравственные и печальные! А антиклерикальная партия под руководством Синдако —

буржуазная, уважаемая (это касается ее членов, мужчин среднего возраста, весьма банальных, почтенных господ, будто стеной отгородившихся от клерикалов). Молодые антиклерикалы, горячие головы, собираются каждый вечер в более дорогом и менее уважаемом кафе. Молодые люди все как один — вольнодумцы, танцоры, певцы, гитаристы. Они безнравственны и даже циничны. Их вожак — молодой хозяин магазина, развязный мальчик, он жил в Вене, но за показушной иронией таится добрая душа. Он состоятелен и устраивает балы, на которые ходят лишь девушки легкого поведения и веселятся там с этими беспечными молодыми людьми. Еще он устраивает приемы и вечеринки, это он пригласил труппу бродячих актеров на карнавал. Молодых людей недолюбливают, но они принадлежат к числу влиятельных лиц деревни, они состоятельны, и потому управляют местной жизнью по своему усмотрению. Крестьяне-клерикалы сообразуют свои поступки и помыслы со священником, они добронравны, потому что бедны, пугливы и суеверны. И наконец, в деревне живет женщина легкого поведения, у нее таверна, куда заходят солдаты пропустить рюмку-другую. Вообще-то такие женщины держатся особняком. Они знают, кто они такие, и не притворяются добропорядочными. Обходят всех стороной, стараются никому не подпортить его честное имя.

И совсем отдельно держатся монахи-францисканцы в своих коричневых рясах, они такие робкие, такие молчаливые, такие неприметные, когда стоят у задней стены в магазине и ждут, пока подойдет их черед купить хлеб для монастыря, ждут тихо, стараясь быть незаметными, пока ни единой души не останется в магазине. Местные женщины говорят с ними ровным, официальным, немного презрительным тоном. Они отвечали тихими, униженными голосами, но вполне внятно.

В театре спектакль закончился, крестьяне в черных шляпах и плащах столпились в притворе. Один лишь Пьетро, грузчик с пристани, без плаща, на голову нахлобучил вместо черной фетровой шляпы какую-то кепку. Одежда на нем холодная, болтается на тощем, сильном, кошачьем теле, он продрог, но даже не замечает этого. Руки вечно в карманах, плечи немного приподняты.

Несколько женщин уже ускользнули домой. В баре маленького театра богатые молодые атеисты заказали еще выпивку. Правда, особенно не разорились. Бокал вина или стакан вермута стоит пенни. Вино молодое, но чудовищное на вкус. Молодой пекарь Агустино сидит на скамейке, на коленях — бледный младенец, он поит его. А малыш пьет, прикрыв глаза, словно только что оперившийся птенец.

Наверху сливки общества обмениваются приветствиями: чета Синдако, преуспевающие австрийцы-полукровка, владельцы деревянных складов, чета Бертолини демонстрируют свои дружеские чувства друг к другу; наш синьор Пьетро Ди Паоли нанес визит своим родственникам Грациани, сидевшим в ложе рядом со сценой, а два перерыва был с нами; тем временем его два крестьянина смотрели снизу на нас — жалкие *contadini**, будто из седой старины, напоминавшие старые, побитые ветром камни, — смотрели, точно мы ангелы на небесах, благоговейно, преданно, они были где-то очень далеко внизу, у проема задней стены.

Аптекарь, бакалейщик и школьная учительница тоже обменивались приветствиями. Они сидели с важным видом у барьера своих лож, напоминая фотографии в рамке. Второй бакалейщик и пекарь нанесли друг другу визит. Бладобрей кинул взгляд сначала на плотника, потом вниз на толпу. Классовые границы тут очень четкие. Мы пошли к выходу с хозяином отеля, баварцем, по пути остановились переговорить с нашими хозяевами Ди Паоли. Они обменялись дружескими рукопожатиями, потом побеседовали о чем-то вежливо, правда, сути разговора мы не уловили; издали поклонились Марии Самуэлли. Мы поняли нашу ошибку.

Бладобрей, не тот, что с Сицилии, а толстенький, маленький, кудрявый Луиджи, с массивным кольцом, был в курсе всех сплетен об этом театре. Он сказал, что у Энрико Персевалли есть любовница Карина, она играет служанку в «Привидениях», худой, благородной внешности старый король в «Гамлете» — муж Адelaide, а Карина их дочь, старая, костлявая,

маленькая королева — мать Аделаиды, они все очень любят Энрико Персевалли, потому что он очень умный, а Комик, Иль Бриллианте, Франческо — бездарь.

За три представления во время Богоявления труппа заработала двести шестьдесят пять франков, это очень много. Руководитель труппы, Энрико Персевалли, и Аделаида заплатили по двадцать четыре франка за каждый спектакль, то есть за вечер, когда шел спектакль, — это плата за аренду помещения и свет. Труппа очень довольна тем, как ее принимали в Лаго ди Гарда.

Вот и все. Берсальеры помчались домой, потому что было уже пол-одиннадцатого. Ночь была очень темной. Около четырех миль вверх по озеру прожекторы с австрийской границы бороздили воду, выискивая контрабандистов. А так темень кромешная.

4. Сан-Гауденцио

Осенью маленькие розовые цикламены цветут в тени на западном берегу озера. Они очень надменные и источают тонкий запах, напоминающий вам о Греции, о вакханках. Они и в самом деле цветы прошлых времен. Кажется, что они украшали пейзаж при Федре и Елене. Они склоняются, свисают вниз, напоминая маленьких холодных светлячков. Мне не постичь тайны этих крошечных живых мифов.

После цикламенов набухают бутоны у рождественских роз. В это время года на деревьях в садах появляются *sacchi**, деревья с облетевшей листвой обсыпают светящиеся, оранжевые райские плоды, сияющие на зимнем синем небе. Нежные розовые розы не отцвели, алые и желтые — тоже. Но виноградные лозы уже голые, оранжереи с лимонами — заколочены. А потом, в разгар зимы, подле заборов, под горой, возле ручьев появляются бутоны на низких кустах рождественских роз. Они очень милые, эти первые большие, равнодушные, чистые бутоны, как у фиалок и магнолий, только равнодушные, освещенные лучами, которые отражает снег.

Дни тянутся своей чередой в кратком молчании зимы, солнечный свет тих и чист, словно вино со льдом, опавшие листья отливают бурым, а вода сипло шумит в оврагах. Вокруг тихо и прозрачно, кипарисы языками темного пламени вздымаются вверх, словно их забыли погасить в конце лета. Ведь у нас — свечи, которыми мы освещаем темноту ночи, а кипарисы — свечи тьмы в ярком солнечном свете лета.

Постепенно рождественские розы начинают цвести повсюду. Они поднимаются с земли, выбираются из своего скромного укрытия, распускают прозрачные, точно кристалл, лепестки, хорошеют, превращаются в пену таинственной белизны в тени горного ручья. Даже немного боязно видеть их. Они ведь цветы тьмы, невысказанно белые и прекрасные.

Потом от них начинает исходить грязное, бурое сияние, они обмякают, ломаются, цветы разносит вокруг по земле, и вот они вовсе исчезают. Но тут уже появляются примулы, на миндале — бутоны. Зима отступает. С приближением вечера снега в горах сияют золотом абрикоса — золотистые, абрикосовые, пугающе яркие. Что может так ослепительно сверкать, ведь все вокруг в полумраке? Что-то нечеловеческое, абсолютное, обитающее между небом и землей.

Небеса всю зиму — отстраненные и гордые, они сами по себе, в отрыве от сумеречной земли. Восходы — белые и полупрозрачные, озеро лежит лунным камнем меж темных холмов, потом по поверхности озера пролегает огненная вена, и вот уже белизну заливают оранжевое пламя. Наступает самая тихая часть дня, а вечером вспыхивает вечерняя заря, нестерпимое розовое сияние, разливающееся над землей и сверкающее, словно в небо вознесся сонм ангелов. Заря сияет, будто восхищенный хор, потом она иссякает, появляются звезды — большие и блестящие.

А тем временем примулы расцветают на земле, их свет становится все сильнее, растекаясь по берегам и забираясь под кусты. В корнях олив расцвели фиалки, крупные, белые, торжественные, и менее суровые — синие. А снизу, от подножия холма, меж серой дымки листвы олив, плывут вверх розовые облачка дыма. Это — миндаль и абрикос, это — Весна.

Скоро примулы на земле входят в свои права. А вот стайка маленьких, нежных крокусов, добавляющих бледно-лиловый оттенок этой весне. Тут и там полянки примул, повсюду — свет утра: на берегах, вдоль дорог, вдоль ручьев, вокруг корней олив, это утро примул, растущих на земле, фиалок, нанизанных на невидимую нитку, а вот прелестные синие кисти печеночницы, словно пятна синего неба, проступающие сквозь белизну примул. Несколько птичек тонко и робко выводят трели, снова запели ручьи, странный, осыпанный опрокинутыми вниз алыми и золотыми цветами, напоминающими богемское стекло, куст. Меж корней олив пробивается молодая травка, день, чистый и разноцветный, оттолкнувшись от земли, разливается вокруг, какая дружная Весна, какой восторг!

Неужели это чувство пройдет или же просто утратит свою чистоту и девственность? Нет, оно становится все острее и глубже, как всякий опыт. Дни кажутся темнее и богаче, в воздухе разлита энергия, мощь. На берегу озера растут орхидеи, много-много бледных любимиц пчел — орхидей, они хорошо видны, возвышаясь над низкой травой на фоне озера. А в низинах — кисти гиацинтов, алых, как полдень, источающих тяжелый, чувственный аромат полдня. Эти кисти — как множество грудей, наполненных молоком, зрелых, потемневших от солнца, точно Диана со множеством грудей.

Мы больше не можем жить внизу, в деревне, дни стали такими длинными, необъятными, вечерние часы тоже утопают в солнечных лучах. Мы больше не можем сидеть взаперти, ведь над нами сверкают горы, залитые чистым воздухом. Настало время подняться с рассветом и перебраться в горы.

Так что после Пасхи мы отправились в Сан-Гауденцио. Это местечко находится в трех милях над озером, надо идти по петляющей тропе, протоптанной ослиами, все выше и выше. После крайнего домика деревни тропа пролегла по крутому, почти как утес, берегу, врезалась в низину, заваленную камнями от оползня, потом снова вынырнула и запетляла по обрывистому берегу.

Мы дошли до высоких решетчатых ворот Сан-Гауденцио, на которых висела обычная маленькая табличка пожарной охраны и рекламные листки пива «Vigga, Verona»*, оно становилось все более популярным.

За воротами, огороженный высокой стеной, — небольшой, размером в три-четыре акра, Райский Сад — он разбит на ровной площадке на утесе, нависающем над озером. Высокая стена огораживала его с трех сторон, отчего он казался совершенно изолированным. А со стороны озера возле него громоздились насыпи с острыми краями, террасами спускавшиеся до самого подножия утеса; они заросли падубом и кустами лавра, так что служили надежной охраной на первом же спуске.

Почти в центре этой маленькой площадки среди олив стоял розовый фермерский домик. Он был массивным, состоял из шести комнат, ему было почти полвека, дядя Паоло его отремонтировал. Здесь мы и станем жить с Марией и Паоло Фиори и их тремя детьми — Джованни, Марко и Феличиной.

Паоло получил в наследство — целиком или частично — ферму Сан-Гауденцио, принадлежавшую их семье на протяжении многих поколений. Паоло — пятидесятитрехлетний крестьянин, седой, морщинистый, измученный, но при этом — сильный, с крепкими ногами и руками и мощной грудью. Лицо у него старое, а тело — крепкое и сильное. Глаза синие, как льдинки, и очень красивые. Когда-то он был светловолосым, а теперь почти седой.

Он очень напоминал крестьянина на портретах художников северных провинций Италии, в нем такое же удивительное благородство, такой же аристократизм, непреходящее спокойствие,

делавшее его похожим на изваяние. Голова — тяжелая, красивой формы, отличное телосложение, хотя кожа на лице — дряблая, изборожденная от изнурительной работы морщинами. Виски, безупречной чистоты, как у Мантенья, сверкали, словно драгоценный камень.

Мы все любили Паоло, он был безупречным человеком, немного отстраненным, с почти классическими простотой и добросердечием, идеал надежности. В нем были основательность, постоянство, замкнутость.

Мария Фиори была другой. Она была родом с равнин, как Энрико Персевалли и берсальеры из Венецианского края. Она напоминала мне вола — ширококостная, массивная, смуглая, медлительная. Но, подобно волам с равнин, она была вынослива в работе и признавала только таких, как она. Она была внимательной и целеустремленной. До замужества работала экономкой и служанкой в Венеции и Вероне. В ней была смекалка, которую она приобрела в этом мире коммерции и предпринимательства, она старалась преуспеть в нем. Но медлительный, почти животный темперамент мешал ей.

Паоло и Мария были полюсами Вселенной — как свет и тьма. Однако они жили миролюбиво друг с другом, каждый — особняком, каждый знал свое место в этом союзе. Паоло не участвовал в жизни Марии; Мария — не участвовала в жизни Паоло. Их души безмолвствовали, держались особняком, совсем отдельно друг от друга, безмолвствовали, хранили абсолютное молчание. Их объединяла лишь физиологическая сторона брака, словно это было нечто вне их, некая третья субстанция.

Им многое пришлось пережить в начале своей семейной жизни. Теперь бури миновали, оставив их опустошенными. По натуре они были страстными, неистовыми. Но страсть каждого была направлена в противоположную сторону. Она была существом примитивным, грубым, диким, эмоциональным и общительным. Он был суровым, ясным, неуязвимым, уравновешенным и постоянным. Она была кремнем, он — клинком. Но в вечных схватках они лишь разрушали друг друга. Они не высекали огня в этих столкновениях, он не загорался ни в одном из них.

Она была все такой же медлительной, но в ней по-прежнему кипели желания. Она была намного моложе его.

— Вы сколько времени были знакомы с синьорой до вашей свадьбы? — спросила она меня.

— Шесть недель, — ответил я.

— *Il Paolo e me, venti giorni, tre settimane**, — закричала она.

Они были знакомы три недели до замужества. Она испытывала торжество по этому поводу и сейчас. И Паоло тоже. Но то было в прошлом, в странном, очень тяжелом прошлом.

К чему они стремились, когда они сошлись, Паоло и Мария? Ему было за тридцать, ей — двадцать три. Оба — страстные и волевые. Они сошлись мгновенно, как два борца, чтобы померяться силой. Свидания у них наверняка были прекрасными. Джованни, старший ребенок, — высокий шестнадцатилетний парень, с мягкими каштановыми волосами и серыми глазами, со светлым лбом и с той же спокойной простотой поведения, которая была главным достоинством его отца; но сын к тому же был смуглым и медлительным, как мать. А Паоло был ясным и прозрачным, как день.

В Джованни слияние родительских качеств дало прекрасный результат — он получился яркой искрой, которую высек клинок о кремень. В Паоло были тонкость чувств, деликатность, умение оценить другого. Но ум его дремал, он не мог ухватить новый порядок вещей. Мария была гораздо умнее и более приспособлена к переменам. Паоло был кристально-чистым, с ясным, уравновешенным, прекрасным характером, но он уже был окончательно сложившимся человеком, причем с весьма хрупкой душой. Мария была гораздо грубее, вульгарнее, но при этом — более

человечная, у нее был гораздо больший запас сил, хотя силы эти были грубой природы. Он слишком контролировал себя, она была без всяких ограничителей, ее захлестывали желания.

А Джованни был красивый, благородный, обходительный, копия Паоло, но, как Мария, — горячий, вспыхивал, словно девочка, от гнева или смущения. Высокий и стройный, он стоял перед нами и, казалось, смотрел куда-то вдаль своими серыми глазами. Но когда он устремлял свой взгляд на нас, он не боялся встретиться с нашим взглядом. Голубые глаза Паоло напоминали мне глаза старой пряжи, взгляд ясных и голубых глаз был направлен к далеким горам, он, верно, видел далеко, прозревал космос, абстракцию. Они напоминали мне глаза орла, глядящего на солнце и приучающего своих птенцов к тому же, но те подражали ему с явной неохотой.

Марко, второму сыну, было тринадцать лет. Он был маменькиным сыночком, а Джованни больше всех любил отца. Марко был весь в мать — тот же золотисто-смуглый и румяный цвет лица, как у граната, жесткие черные волосы, темные глаза, точно камешки, точно агат, как у животного. Такая же, как у матери, крупная, бычья фигура, хотя он был еще мальчишкой. Но кое-что отличало его от нее. Он еще не сложился — в нем не было пока что характера.

Он был сильным, его переполняла животная энергия, которую он не знал к чему применить, будто не научился контролировать себя. Он любил мать, чувство это было глубоким, благородным, слепым. Правда, вечно забывал, что он собирался сделать. Он был гораздо эмоциональней Марии, более робким и упрямым. Но эта робость, эта эмоциональность делали его еще более бестолковым, неумелым, скучным клоуном, распущенным, вертлявым, глупым. Весь день напролет его мать кричала и бранилась на него, а то еще и тумаками награждала. Он не обижался, бежал к ней, такой глупый, отзывчивый, проказливый и удивительно трогательный. Она любила его страстно, готовая в любую минуту защитить его, чувство это было пропитано болью. В душе его было какое-то раздвоение, противоречие, отчего он вечно попадал в переplet.

Когда Марко был маленьким, Паоло уехал в Америку. В Сан-Гауденцио им было совсем трудно. Несколько олив, виноградник, фруктовые деревья, еще одна корова. На это не проживешь. Да и Мария не хотела перебиваться, как крестьяне — днем полента, вечером овощной суп, и никакого просвета, не на что надеяться, никакого будущего — все дни, как сегодняшний. Когда она служила у господ, она ела хлеб и пила кофе, узнала вкус к широкому течению жизни, к ее разнообразным возможностям. Она не смотрела больше на мир по старинке. Она поняла, что если человеку представится шанс, он многого может добиться. И она решила бороться с безысходностью. Вот Паоло и отправился в Америку, в Калифорнию, на золотые прииски.

Мария жаждала иного будущего, бесчисленных подарков судьбы. Хотела, чтобы сыновья жили свободнее, достигли иного уровня. Жизнь крестьянина — рабская доля, приговаривала она, вечно сражаешься с нищетой и монотонным трудом. Она была права: Паоло и Джованни вкалывали по двенадцать-четырнадцать часов в день, такой адский труд не выдержал бы ни один англичанин. И никакого толку, никакого просвета. А Паоло был счастлив. Таким уж он был.

Это их мать стремилась перебороть судьбу. Она ненавидела крестьянскую нищую долю. Однажды мы хотели выбросить высохшую булку дешевого белого хлеба домашней птице, Мария сказала с гневом, стыдом и возмущением: «Отдайте Марко, пусть съест. Она не слишком черствая для него».

Белый хлеб был для них роскошью даже и теперь, хотя он у всех на столе. И Мария Фиори пылала ненавистью к той жизни, при которой кусок хлеба — лакомство для ее детей, тогда как он самая обычная, самая скромная еда для всех людей на земле. Она восставала против такого порядка вещей. Не хотела, чтобы ее сыновья оставались крестьянами, пригвожденными к своей доле, как почтовый столб — к земле. Хотела, чтобы они попали в широкое течение жизни, оказались в круговерти самых разнообразных возможностей. Вот она и отправила Паоло в Америку на золотые прииски. А сама развешивала на стене гостиной открытки с картинками, чтобы в ее дом вошел мир больших городов и заводов.

Паоло был бесконечно далек от мира Марии. Он даже не постиг смысла денег, во всяком случае, не до конца постиг. Его подспорьем была земля и оливы. А потому у него было стародавнее фаталистическое отношение к обстоятельствам, даже к пище. Земля была от Господа, значит, достаток и нищета от него же. Паоло мог делать только то, что было в его силах, а об остальном и не думал. Если на столе было много всего: масло, вино, колбаса, похлебка из маиса, он был благодарен Господу. Если недоедал, перебивался жидкой маисовой похлебкой, значит, такая его доля, ибо все решается на небесах, а простой смертный не вправе диктовать небесам. Он мирился со своей долей, начертанной ему на небесах.

У Марии деньги были главным мерилем. Она взяла бы с нас все, что могла, за наше пребывание у них.

Но в глубине души она не была скаредной. В глубине души она злилась на себя, что ей приходится быть скупой. Это ведь было насилием над ее сильной, звериной натурой. Но она никогда не забывала о силе денег. Она знала, что могла бы изменить свое положение, положение своих детей благодаря деньгам. Понимала, что именно деньги отличают хозяина от слуги. А эту разницу она принимала в расчет. Вот она и выстраивала свою жизнь, сообразуясь лишь с деньгами. Ее самым большим желанием было стать хозяйкой, а не служанкой, ее самая заветная мечта была, чтобы ее дети в конце концов стали хозяевами, а не слугами.

Паоло был ко всем этим материям равнодушен. Для него в понятии хозяина была заключена некая божественная сила, даже в Америке это его убеждение не пошатнулось. Если мы выходили к ужину, а члены его семьи еще сидели за столом, он тотчас приказывал детям отставлять свои тарелки к стене, а Марии без промедления накрывать нам, несмотря на то, что они не закончили свой ужин. В этом было не раболепство, не услужливость, а достоинство религиозного осознания происходящего. Паоло относился к нам как к людям *Signoria*, как к избранныкам Господа. Это было частью его религиозного ритуала. Его жизнь была ритуалом. Это было прекрасно, но я чувствовал себя неловко — настолько Паоло был чист духом, просто святой, и потому будничные вещи казались кошунственными в его присутствии. Мария была ближе к сермяжной правде, говоря, что все определяется деньгами. Паоло проникся вечной истиной, тогда как правда Марии была преходящей. Просто Паоло неверно применял свое знание. Не должен был он унижать Джованни, подчиняя его жирному, низкому торгашу-итальянцу. Это было фальшиво, по-настоящему лживо. Мария понимала это и ненавидела. А Паоло не отличал случайность богатства от аристократизма духа. Поэтому Мария полностью отвергла мужа, ударившись в другую крайность. Мы все были простыми смертными, как она; нагие — мы все одинаковые, нет более высоких и более низких по положению. Но у нас было больше денег, чем у нее. И ей приходилось придерживаться своего взгляда на мир, сообразуясь с этими двумя принципами. Только деньги дают реальное отличие, только они способны разделить людей; бытие, жизнь всех уравнивают.

У Паоло была забавная крестьянская алчность, но не скупость. Нечто сродни религиозному стремлению сохранить свою энергию, самого себя. К счастью, он перепоручил все финансовые расчеты с нами Марии, поэтому отношения с нами были исключительно ритуальными. Он готов был отдать мне что угодно, слепо веря, что я не изменю своей натуре Синьора, одного из богоподобных существ, которые ближе к свету совершенства, чем он, простой крестьянин. Для него было чистейшим блаженством принести нам первые плоды из сада, словно он клал их на алтарь.

А его совершенство заключалось в умении налаживать красивые, тонкие, изящные отношения с окружающими — дело не в манерах, а во взаимопонимании. Он боготворил чуткое понимание и тонкое, тактичное отношение людей. Красота, достоинство и свобода поведения были для него приближением к божественному, а потому больше всего он любил людей, они наполняли радостью его душу. Женщина всегда оставалась женщиной, а секс был чем-то низким, он не уважал себя, когда опускался до него. Но человек, творец, инструмент Господа, был для него истинно божественным.

Паоло был консерватором. Для него мир был прочным и божественным в своей прочности. Он мало что замечал вокруг себя. Более богатая натура, более глубокое понимание сущего, более широкий кругозор позволили бы ему объять мир целиком. Так что когда Паоло общался с человеком дальноржим, он и сам начинал видеть все целиком. Он был всем доволен. И абсолютно убежден, что каждый синьор, каждый джентльмен обладает куда более четким и сильным зрением, чем он. Это ложное убеждение. А Мария считала, что никто не способен видеть дальше, чем она, никто не может быть ближе к Богу, чем она, считала, что мы все одной плоти и крови, но это было еще большей ошибкой. Паоло заблуждался относительно повседневной жизни, Мария — во всем.

Паоло, будучи консерватором, верил, что священник — божий помазанник, но при этом он редко ходил в церковь. И он часто божился, помяная святых, Мария ненавидела его за это, даже за *Rogsa-Maria**. Он любил клясться Бахусом, или Господом, или девой Марией, или Святым Писанием. Мария всякий раз возмущалась. А при этом как раз она в глубине души насмеялась над Церковью и религией. Ей нужно было общество людей как конкретная данность, без всяких религиозных абстракций. Поэтому клятвы Паоло приводили ее в бешенство, она говорила, что он богохульничает. А на самом деле она бесилась из-за того, что они имели отношение к другим, сверхчеловеческим понятиям. Она насмеялась над служителями церкви. Однажды при виде приходского священника из соседней церкви, который спустился к озеру, пересек площадь и пошел по набережной с двумя поросятами в мешке за плечами, она принялась издеваться над ним. Для нее это было откровением — святой отец со свиньями!

Как-то раз, когда буря сломала оливу, росшую перед домом, и Паоло с Джованни начали распиливать ее, тот же самый священник из Муджиано пришел в Сан-Гауденцио. У него были волосы серо-стального цвета, худой, не вызывавший почтения, болтливый, шумный, чудаковатый батюшка. Бездельник, обрядившийся в рясу, говорил громко, в основном сам с собой, как пьяницы обычно ведут себя. Заявил, что он собственноручно покажет Фиори, как рубить дерево, стал требовать у Паоло топор. Марии крикнул, чтобы та принесла ему стакан вина. Она принесла с почтительным высокомерием — с высокомерным презрением к нему и подобающим почтением к его рясе. Батюшка выпил залпом полный стакан вина, адамово яблоко на худой шее ходило ходуном. И не заплатил ни пенни.

Потом снял рясу и шляпу, остался в коротких, до колена, не его размера штанах, несвежей рубашке, на шее был повязан красный платок — нелепый вид! — и несколько раз ударил топором по дереву. Вид у него был просто карикатурный. Стоявшая на пороге Мария подбадривала его с явной насмешкой, при этом подмигивая мне. Марко уткнулся матери в фартук, чтобы спрятать свою ухмылку, и начал подпрыгивать, так его это забавляло. Паоло и Джованни стояли как вкопанные возле упавшего дерева, очень мрачные, с непроницаемыми, отсутствующими лицами. Потом юноша пошел к дверям, румянец заливал его лицо, а гримаса искажила его. Только Паоло, неподвижный и отсутствующий, остался возле дерева с невозмутимым, непривычным видом, глаза, так смотря только старики, устали в одну точку.

А священник тем временем нетвердой рукой пьяницы наносил удары по дереву, его тощая задница над тощими ногами напряглась в болтавшихся на нем черно-зеленых штанах, худая шея побагровела под красным платком. Но он упорно продолжал трудиться. Лицо покрылось потом. Ему нужен был еще стакан вина.

Он не обращал внимания на нас. Он был частью местного колорита, даже, скорее, деревенским дурачком, но именно этих мест, достопримечательностью этого края.

Мария с насмешками поведала нам историю священника, она пожимала плечами, пока рассказывала, убеждая нас, что человек он никчемный. Паоло сидел с отсутствующим видом, слушая вполуха, его все это не волновало. Он ни разу не вмешался, не возражал ей, оставался в стороне. А уж она разошлась. Но иногда Паоло приходил в бешенство, и тогда Мария, да и мы все, пугались. Гнев его был сокрушительным, он доходил до белого каления, голубые глаза

начинали пламенеть нездешним огнем, а рот искажала дикая гримаса безумства старых фурий. В его лице было что-то сродни беспощадности мощной, чудовищной снежной лавины. Мария ретировалась в такие мгновения, наступала тишина. Потом лавина останавливалась.

У них, верно, были жестокие схватки, пока они не научились отстраняться друг от друга. Они, верно, зачинали Марко в ненависти, в чудовищном противостоянии и враждебности. А после этого, после того, как появился ребенок, плод их противостояния, Паоло уехал в Калифорнию, покинул свой Сан-Гауденцио вместе с несколькими попутчиками, бежал, как ослепший зверь, — в Гавр, потом в Нью-Йорк, потом в Калифорнию. Он провел пять лет на золотых приисках, в дикой долине, жил с кучкой итальянцев в городке под крышами из гофрированного железа.

Все то время он никогда и не забывал Сан-Гауденцио. Я спросил его:

— Вы думали о ферме, об озере, о Монте Бальдо, о лавровых деревьях, что растут на косе?

Он попытался понять, что я хочу узнать.

— Да, — ответил он как-то неуверенно.

Я понял, что он не скучал по дому. Путешествие на корабле из Гавра в Нью-Йорк было тяжелейшим. Он мне сказал об этом. Потом рассказал о золотых приисках, долине, хижинах в долине. Но он никогда не тосковал по Сан-Гауденцио, пока жил в Калифорнии.

На самом деле он оставался в Сан-Гауденцио всегда, его судьба была намертво прикована к родным местам. Его отъезд был поездкой из реальности, чем-то вроде путешествия во сне. Он покинул свою реальную жизнь на земле подле озера Гарда. А то, что его тело было в Калифорнии, разве это имело значение? Уехал на время, ради своей земли, своих мест. Он выкупит закладную. Но ворота дома всегда оставались его воротами, он всегда держал руку на щеколде.

А что до Марии, так он выполнил свой долг по отношению к ней. Она была частицей его маленькой территории, прочным центром мира. Он посылал ей домой деньги. Но ему и в голову не приходило, что можно скучать по ней. Ему надо было только, чтобы у нее и у детей все было в порядке. Может, плоть его и тосковала по женщине. Но дух его с момента женитьбы существовал сам по себе. Вместо того чтобы стать единым целым, дух и тело все дальше и неотвратимее отдалялись друг от друга. Он мог бы жить один всегда. Такой уж он был. А секс — он был функциональной потребностью организма, как еда и питье. Взять женщину, проститутку в лагере или не взять было не более жизненно важным для него, чем напиток или нет в воскресенье. И по воскресеньям очень часто Паоло был пьян. Но мир его оставался незыблемым.

Мария страдала сильно. Она была молоденькой, здоровой, страстной женщиной, душа и тело ее горели огнем желаний. Душевная радость стала следствием томления плоти. Темперамент ее, мрачный, неукротимый, бунтующий, требующий равенства во всем, требовал равной со всеми радости и для нее, она была убеждена в этом ее праве.

Она получила лицензию на производство вина в Сан-Гауденцио и стала торговать им. Вокруг нее частенько вспыхивали скандалы. Но она не подавала виду, что они задевают ее. Люди влиятельные были меж собой в вечном противостоянии, так что влиять на общественное мнение никак не могли. Да и какие правила или законы остались незыблемыми для клерикалов, радикалов и социалистов? К тому же заброшенные деревеньки вообще оставались без присмотра.

И все-таки Мария страдала. Даже она, потому что была убеждена, что должна хранить верность Паоло. Чувствовала себя преданной, преданной и покинутой. Душа ее окаменела. Паоло бросил ее, на целых пять лет бросил на других мужчин. Да, жизнь штука жестокая и безжалостная. Она стала замкнутой и мрачной, хотя по-прежнему была энергичной. Душа ее стала мрачной и замкнутой.

Я не верил, что Феличина — ребенок Паоло. Она была непривлекательной девочкой, равнодушной, лживой, эгоистичной, глупой. Мария и Паоло, с подлинно итальянским

великолепием, были ласковыми и внимательными с этим ребенком. Но в глубине души они не любили ее, она была для них абюзой. Наверно, поэтому она стала такой эгоистичной, глупой и лживой, хотя и была совсем маленькой.

Паоло вернулся за год до ее рождения из Америки — за год до ее рождения, твердила Мария. Муж с женой жили так, будто другого вообще не существовало. В глубине души он печалился за нее, а она оставалась каменной. Он, бывало, садился по вечерам у печи покурить, приветливый и веселый, но ни на минуту не забывал, что он несчастный. Эта мысль не оставляла его в покое. А брови и веки приподнимались, придавая лицу безучастное выражение, голубые глаза потухли, а ведь он еще был полон сил! Но в нем убили искру. Он бродил, словно привидение, по дому — расстегнутый ворот, мощные руки и ноги, голубые потухшие глаза, мелодичный, чуть охрипший голос, звучащий словно из прошлого.

А Мария, ладная, сильная, красивая деревенская женщина, двигалась, будто ее придавили тяжким бременем, голос ее звучал громко и резко. Она тоже погасла. Но она оставалась не сломленной, ее воля была, как молоток, разрушающий старую оболочку.

Джованни усердно учил английский. Паоло знал четыре-пять слов, главными для него были — «право», «хозяин», «хлеб», «день». Юноша знал их наизусть и учил помаленьку другие. Он был очень вежливым и обходительным, но занятия ему давались с большим трудом. Глаза вспыхивали от смущения, точно их заволакивали слезы, когда он забывал какую-нибудь фразу. Но он не расставался с тетрадкой и делал явные успехи.

Он поедет в Америку, он тоже. Ни за что на свете не останется в Сан-Гауденцио. Его мечтой было уехать отсюда. Он вернется. Мир не был для него сосредоточен в Сан-Гауденцио.

Старый уклад, уклад Паоло и Пьетро ди Паоло, аристократический уклад Всевышнего, Бога-Отца, Господа, исчез из этого красивого маленького местечка. Здесь больше земля не давала пропитание: масло, вино и маис, и судьба людей изменилась. Земля потеряла какой бы то ни было смысл, ее место заняли деньги. Фермер, помощник Бога и Судьбы, как Авраам, он тоже утратил свое значение. Наступила власть богатства, оно стало диктовать уклад *Signoria*.

Прошлые правила уходили из Италии, как они ушли из Англии. Исчезал крестьянин, на его месте появлялся рабочий. Кончилась стабильность. Паоло превратился в привидение, а Мария осталась живой и энергичной. И новый уклад причинил итальянцу гораздо больше горя, чем нам. Но он смиритсся с ним.

Сан-Гауденцио отходил в прошлое. Под домом, где земля крутыми спусками доходит до края высокого утеса, — Мария вечно боялась, как бы там не споткнулась Феличина, — на маленькой площадке, пристроившейся уютно внизу, были заброшенные лимонные сады. Они не видны, пока не спустишься узкой тропкой прямо к ним. И вот они — колонны и стены теплицы, а внутри почти всюду мертвая пустота, лимонные деревья вымерли, их срубили, на их месте — виноградник. Прошло всего двадцать лет с тех пор, как погибли от какой-то болезни лимоны, но новые не посадили. Пустая терраса, расположенная к югу, зажата меж высоких стен, спускается к озеру и горе, что через озеро, внушает больше ужаса, чем Помпеи, своей мертвой тишиной и полным отчуждением от мира вокруг. В трещинах растут гиацинты, снуют ящерицы, это странное место простирается перед вами, брошенное и забытое, забытое навеки, его прямые колонны теперь совершенно не нужны здесь.

Я, бывало, сидел и писал на просторном чердаке теплицы, высоко над землей, передо мной раскинулось озеро, на другой стороне от него возвышалась гора со снежной вершиной, сияющей в полумраке. От старых циновок и досок, старых, брошенных инструментов падали тени в этом опустевшем месте. Потом меня звали — зов доносился сверху: «Venga, venga, mangiare!»*.

Мы ели на кухне, в открытом очаге горели поленья олив и лавра. По вечерам всегда давали суп. Потом играли в разные игры, в том числе и в карты, все играли; или пели под аккордеон, иногда какой-нибудь крестьянин-простолоудин с гор играл на гитаре.

Но все это уходит в прошлое. Джованни теперь в Америке, хотя во время войны он вернулся. Говорит, что не хочет жить в Сан-Гауденцио, когда станет взрослым. Если они с Марко выживут — на дальнем берегу озера уже бои, — они не станут гнуть спину, чтобы добыть немного масла и вина, ведь земля здесь каменистая. С моего чердака возле лимонных теплиц я слышу стрельбу. И Джованни поцеловал меня с молчаливой мольбой, когда я садился на пароход, словно молил о духовном возрождении. В глазах его, ясных и чистых, горел огонь мужества. Он будет сражаться за свое духовное обновление, если его не убьют на войне.

5. Танец

У Марии не было никаких юридических документов на Сан-Гауденцио, однако крестьяне продолжали заглядывать к ней за вином. В Италии это легко. С деньгами легко расстаются.

Заброшенная старая дорога, петляющая вдоль берега озера, ползет упорно вверх — берег становится все круче, добирается до деревушек, приютившихся наверху, вьется под высокими стенами Сан-Гауденцио, между ними и разрушенной церковью. Она тянется через виноградники, мимо нашего дома, под высокой оградой; высокие ворота всегда распахнуты, мужчины, женщины и волы спокойно заходят на территорию, подходят к дверям дома. Громко кричат: «Э-э-эй, Мария! Э-э-эй, Пао!». Кто издалека, кто у крыльца, они вопят во все горло, неразборчиво, пока кто-нибудь из Фиори не появится на пороге, чтобы поприветствовать пришельца.

Чаще всего это мужчина, иногда — крестьянин из Муджиано, деревни высоко в горах, иногда крестьянин из горной чащи — лесоруб или угольщик. Он заходил в дом, садился, ставил стакан с вином между коленей или на пол между ступеней и начинал беседу, говорил неразборчиво, очень робко, смахивал на орла, залетевшего в дом, речь его неправильная, неграмотная.

Иногда мы танцевали. Приходили трое мужчин с мандолинами и гитарами попить вина, садились в уголке и играли что-нибудь в быстром темпе, а остальные танцевали на пыльном кирпичном полу маленькой гостиной. Незнакомым женщинам не предлагали зайти, только мужчинам; приходили парни из большой деревни возле озера, угрюмые мужчины с гор. Они цепочкой танцевали медленную, ритмичную польку-вальс, кружили по маленькой комнате, гитары и мандолины выводили задорную мелодию, пыль поднималась от кирпичного пола. Среди нас были только две женщины-англичанки, поэтому мужчины танцевали друг с другом, итальянцы любят это, предпочитают танцевать с загадочным другом, чем с женщиной.

— Так ведь лучше, когда двое мужчин? — спросил меня Джованни, голубые глаза его горели, лицо было удивительно нежным.

Лесорубы и крестьяне скинули плащи, шеи у них голые. Они танцевали со странной сосредоточенностью, особенно в паре с английской синьорой. Ноги в грубых башмаках двигались быстро и выразительно. Так странно наблюдать за женщинами-англичанками, когда они танцуют с крестьянами, они буквально преображаются, сияя от восторга. Как бы то ни было, крестьяне весьма обходительны, но ведут себя тихо. Они следят, как женщины расходятся в круг, потом быстро проносятся мимо них, не сомневаются, что танцуют с ними в такт, они уверены в себе. Так что мужчины танцуют спокойно, даже высокомерно, зато ловко двигают ногами, а сами — не стеснены в движениях, уверены в себе.

— Здорово, правда?

— Здорово! Руки у них точно железные обручи, когда обнимают тебя.

— Да! Да! А мышцы на плечах! Я даже немного испугалась.

— Но ведь здорово! Я тоже сейчас пойду танцевать

— Да-да — просто подожди, когда тебя пригласят.

Стаканы снова ставят, гитары издают странный, вибрирующий, почти стонущий звук первых аккордов, и танец снова начинается.

Это странный танец, странный и ритмичный, он меняется вместе с музыкой. Но в нем постоянно присутствует ленивое достоинство, мелодия польки-вальса, очень интимной, страстной, неспешной, все убыстряющей темп. Лица женщин меняются, на них появляется выражение изумления, они испытывают восторг. От кирпичного пола поднимается тонкое облачко красной охры, в котором плохо различимы темноватые фигуры танцоров; три музыканта в черных шляпах и плащах сидят незаметно в углу, играя все быстрее и быстрее, заставляя танцоров двигаться все проворнее, все более энергично и ловко; кажется, мужчины летают, вплетая некий свой ритмический рисунок в танец с женщинами, а женщин словно сносит течением, они трепещут, а их души откликаются на ветерок, который нежно обвевает их, пронизывает их; мужчины еще быстрее, еще оживленнее работают ногами и бедрами, музыка достигает почти невыносимого апогея, наступает момент, когда это уже не танец, а обладание партнершей, мужчины подхватывают женщин и раскачивают их, оторвав от пола, подпрыгивают с ними, а потом наступает другая фаза, снова медленная, пары сплетаются и расплетаются, получая истинный, изысканный восторг от каждого прикосновения, это ритм внутри ритма, нежное приближение к апогею; пары все ближе друг к другу, и вот — снова женщин поднимают и раскачивают в воздухе, тело женщины, словно лодка, плывет над мощной, восхитительной волной мужского тела, это мгновение высшего блаженства, а потом снова — медленный, энергичный танец, и снова пары сближаются, все теснее и теснее, чтобы вновь пережить этот восхитительный апогей.

Женщины ждут в восторге этого апогея, когда их подхватят в стремительном вихре. Их подбросят, оторвут от земли, они поплывут, как лодка, на высоченной волне, поплывут к зениту и своду небес, они достигнут высшего совершенства.

Внезапно танец кончился, танцоры остановились, они стояли как потерянные, в недоумении, словно корабль, выброшенный на мель. В воздухе носилась красная пыль, чуть подсвеченная лампой, висевшей на стене; музыканты, сидевшие в углу, положили инструменты и потянулись за стаканами.

Танцоры, обессилевшие от восторга, который периодически накатывал на них, сели вдоль стены, в маленькой комнатке было тесно. На лицах мужчин мелькала слабая улыбка, слабая, но со значением, такая скрытно чувственная, что понимавшему ее смысл было трудно смотреть на мужчин. А женщины были ошеломлены, будто их ослепили ярким светом. Лица их по-прежнему светились, преобразились, словно они ослепли, закружились в вихре. Мужчины принесли, гордо переступая своими крепкими ногами, вино на маленьком жестяном подносе, на лицах блуждала все та же легкая улыбка. А Мария Фиори выплеснула на красный пол воду, много воды. Ее запах окутал оживленных, преобразившихся мужчин и женщин, пребывавших в ином мире.

Теперь крестьяне стали выбирать себе женщин. К смуглой, красивой англичанке, похожей на немного сердитую Мадонну, подошел Грубиян, к «bella bionda»* — дровосек. Но крестьяне всегда выходили в круг, чтобы выбрать себе пару, только после состоятельных молодых людей из деревни у озера.

Но, тем не менее, они были уверены в себе. Они не понимали, почему так робко держатся эти богатые молодые люди в воротничках, галстуках и с кольцами.

Дровосек с горы — среднего роста, смуглый, худой и крепкий, как топор, с черными, как непроглядная темень ночи, глазами. Он совсем дикий. В его манере танцевать что-то непривычное, особенно в том, как он дергает одним плечом. У него деревянный протез от колена. Но, несмотря на это, танцует он отменно, чем чрезвычайно гордится. В нем кипит ярость птицы

и энергия молнии. Он будет танцевать с белокурой синьорой. Но он не произносит ни слова. Он скорее некий дикий феномен природы, чем человек. Женщина начинает гаснуть в его объятиях.

— E bello — il ballo? — задает он на одном дыхании, скороговоркой вопрос.

— Si — molto bello — восклицает женщина, обрадовавшись, что с ней заговорили.

Глаза дровосека вспыхивают, словно в страстном объятии. Он, похоже, чувствует себя абсолютно уверенно. Он, безусловно, лидер в этой паре.

Он немыслимо сильный, танцует просто великолепно, чуть-чуть ему мешает хромота, но от этого танец дарит ему упоение. Мускулы у него гибкие, как сталь, гибкие, сильные, как гром, а при этом он так быстро двигается, так ловко и быстро, просто невыносимо. Когда он приближается к свингу, к апогею, к экстазу, кажется, он замирает в ожидании, а его мощь готова прорваться. Потом она вырывается — обрушивается водопадом, прекрасным, прозрачным, а женщина замирает в танце, и танец продолжается, вызывая восторг, бесконечный, безмерный восторг. Крестьянин — словно бог, странный феномен природы, такой сексуальный, покоряющий, прекрасный.

Нет, он не человек. Женщина, потрясенная до глубины души, оберегая свою независимость, начинает отдаляться от него. Она на самом деле другая, он не сумел добраться до ее души, и она спешит вернуться к своему обычному состоянию. Танец закончился, а она вернулась к своему обычному состоянию. Прекрасно, слишком прекрасно.

Во время следующего танца она в объятиях образованного Этторе, отменного, расчетливого сластолюбца, который знает темперамент северной женщины и знает, как далеко он может с ней зайти, именно как далеко, а дровосек стоит на краю ночи, на пороге открытой двери и наблюдает. Он поглощен англичанкой, такой уверенный и прекрасный. А она постоянно думает о дровосеке, его упрямом, как у ястреба, повороте головы, о том, как он стоит на краю тьмы, в дверном проеме, уверенный в себе, не сдающийся.

И она сердится. Есть что-то глупое, абсурдное в его тяжелом взгляде напоминающих когти глаз, так зорко и уверенно смотрящих с порога дома, так смело и неукротимо. Может, он вообще ничего не соображает?

Женщина старается не обращать на него внимания. Какое-то время ей это удастся. Но он напряженно ждет. Потом она приближается в танце к нему ближе, и кажется, что это он притянул ее к себе силой своей воли. Он смотрит на нее с дикой, гордой, нечеловеческой уверенностью, словно он уже полностью поработил ее.

— Venga — venga un po* — говорит он, диковато дергая головой в сторону тьмы.

— Что? — переспрашивает она и проплывает мимо, покачиваясь, сияя своей красотой, намеренно не замечая его, уплывает туда, где танцуют другие, те, с кем безопасно.

На кухне еда: огромные ломти хлеба, порезанная на куски колбаса, которую сделала Мария, вино, немного кофе. Но только местная знать сюда может заходить. Крестьянам путь заказан. В маленьком домике едят и пьют, гитары затихли. Одиннадцать часов вечера.

А потом они начинают петь; странно, дико поют в здешних местах. Иногда гитара аккомпанирует певцам, обычно — нет. Потом мужчины поднимают головы и выкрикивают высоким, почти лающим голосом куплет. На местном диалекте. Сначала спорят между собой: поймет ли их Синьора? Потом поют. Синьора ничего не понимает. Но мужчины, сидящие вдоль стен маленькой гостиной, исполняют все куплеты с диким, почти зловецким торжеством. Их глотки вибрируют, на лицах — слегка насмешливая улыбка. На пороге задорно, напоминая фавна, пританцовывает мальчишка, его черные прямые волосы упали на лоб. Старший брат сидит прямо, румяный, с горящими веселым желтым огоньком глазами. Паоло сидит спокойно, с легкой улыбкой на лице. Одна лишь Мария, большая и энергичная, в отличном расположении духа, вся

настороже, готовая в любую минуту приказать певцам заткнуться таким же манером, каким она приказывает крестьянам сидеть там, куда она их посадила.

Мальчик подходит ко мне и спрашивает:

— Вы понимаете, Синьор, о чем они поют?

— Нет, — отвечаю я.

И он еще азартней начинает пританцовывать. Мужчины под стенкой, зорко поглядывая вокруг, поют более разборчиво:

Si verra la primavera

Fioranni' le mandoline,

Vienn' di basco le Trentine

Coi 'taliani far' l'amor*.

Но следующий куплет такой неприличный, что я делаю вид, что не понял его. Женщины, с воодушевленными, разгоряченными лицами, слушают певцов, внимательно слушают, их лица прекрасны в эти минуты, словно они внимают какому-то магическому, потустороннему пению. А мужчины под стеной поют все понятнее, все на более правильном итальянском языке. Песня звучит все громче, звенит, наполненная злобой, вырываясь из их грубых глоток, она захватила всех присутствующих. Женщины-иностранки понимают лишь мелодию, чувствуют, что песня злая, насмешливая. Но слов не понимают. Улыбки на лицах мужчин становятся все более зловещими.

Мария Фиори увидела, что я понимаю смысл, и закричала громким, заглушающим певцов голосом:

— Basta — basta*!

Мужчины поднялись, выпрямились, странно, как бы призывно потянувшись. Гитары и мандолины забренчали. Но англичанки замкнулись, отгородившись от внешнего мира, типичная манера северян. Они стали снова танцевать, но больше не отдавались танцу. Они и так насладились им всласть.

Музыкантов поблагодарили, и они растворились в ночи. Мужчины расходились по двое. Но дровосек — я так и не узнал ни его имени, ни фамилии — застыл на краю тьмы.

Мария и его отправила домой, бурча, что он такой дикий, proprio selvatico**, только молодежь из нижней деревни — «приличная». Потом немного попили кофе, побеседовали, обсудили историю о мужчине, который свалился в ущелье на безлюдной дороге — возвращался домой пьяный — и провалялся там восемнадцать часов. Потом вспомнили об осле, который пнул парня в грудь, и тот умер.

Женщины устали, захотели спать. А двое парней все не уходили. Мы всей компанией вышли полюбоваться ночным небом.

Над головой ярко сияли звезды, гора, что высилась перед нами, и горы позади нас проступали нечетким контуром на фоне неба. Внизу огромной воронкой чернело озеро. Со стороны Адидже дул легкий прохладный ветерок.

Утром приехали какие-то путешественники. Очень просили, чтобы их пустили переночевать. Съели каждый по восемь яиц и много хлеба на завтрак. Потом отправились спать, устроившись прямо на полу в гостиной.

С первыми лучами солнца они выпили кофе и отправились в деревню, что была внизу у озера. Мария была очень довольна. Заработала кучу денег. Парни оказались богатенькими. Алчность, ее главное достоинство, цвела полным цветом.

6. Грубиян

В первый раз я увидел Грубияна солнечным днем, когда в Сан-Гауденцио заявила компания гуляк. Три женщины и трое мужчин. Женщины были в платьях из хлопка, одна, крупная, смуглая, цветущая, была в розовом платье, две другие — в чем-то невзрачном. Мужчин я поначалу и не разглядел, заметил только, что двое были молодыми, а третий — постарше.

Хотя эта компания и заявила в воскресный день, как-то было чудно — завалились рано утром исключительно чтобы повеселиться; странные какие-то; правда, они маленько робели, пробирались к нам меж виноградных лоз. Поздоровались с Марией и Паоло громкими, сильными голосами. В женщинах особенно чувствовались нерешительность, неуверенность и смятение, отчего сразу любой обращал на них внимание.

Хозяева устроили для них пикник на открытом воздухе. Они сели прямо перед домом, под оливой, за колодцем. По логике им должно было бы быть весело и приятно — этим женщинам в платьях из хлопка и их спутникам, устроившимся на солнышке с вином и закуской. Но почему-то получилось по-другому: все это было как-то нарочито, даже уродливо.

Но раз уж они расположились на дворе, нам следовало поступить так же. Мы даже стали им завидовать. Поначалу Мария сопротивлялась, но потом накрыла на стол и нам.

Чудная компания не удостаивала нас беседой, их стесняло и сердило наше присутствие. Я поинтересовался у Марии, кто эти люди. Она пожала плечами, мрачно помолчав минутку, сказала, что они снизу, и добавила проницательным, сильным, немного обиженным, немного презрительным тоном:

— Это вам не компания, синьор. Вы их не знаете.

Она говорила сердито и пренебрежительно по отношению к ним и отечески — ко мне. Тогда до меня дошло, что это не совсем «почтенные» господа.

Только один мужчина зашел в дом. Он был очень привлекателен, даже красив, ему было года тридцать два — тридцать три, у него была золотистая кожа, безупречные черты лица, нечто божественное. Но выражение лица настораживало. Роскошная копна волос была черной, как гагат, и блестящей, как крыло птицы, брови безупречного рисунка, безмятежно покоившиеся над глазами с длинными темными ресницами.

Глаза, однако, излучали зловещий свет, бледный, слегка отталкивающий, были очень похожи на сияющие бледным пламенем зеницы бога, с таким же живым и бледным пламенем. И лицо его излучало злость, на нем была запечатлена маска страдающего сатира. И тем не менее он был красив.

Он шел быстро и уверенно, склонив голову вперед, путь его пролегал от его намерения достичь самой цели; он был сосредоточен, при этом на удивление равнодушен, словно он передвигался в каком-то неведомом мире, словно ничего из того, что он делал, не стоит его

усилий. И тем не менее он делал это ради собственного удовольствия, и свет, освещающий его лицо, бледное, странное сияние, проступающее сквозь светлую кожу, его полупрозрачная улыбка были постоянны, как вечность.

Он, похоже, бывал в этом доме, потому что зашел и взял вино сам. Мария рассердилась на него. Она принялась неистово орать. Он не реагировал. Вышел с вином к честной компании, устроившейся на траве. Мария кипела от злости.

Они много выпили, греясь на солнышке. Женщины и мужчина постарше болтали без умолку. Грубиян сидел в какой-то забавной позе — ноги у него были невероятно гибкими, он на них и устроился, нагнувшись вперед к своим собутыльникам. Но все равно он хранил дистанцию, подобно животному, оберегающему свою территорию, независимо от того, где он.

Компания просидела у нас до двух часов. Потом, разгоряченные, они двинулись нестройными рядами к деревне позади нас. Не знаю — пошли они к одному из постоянных дворов в той деревне из каменных домов или к большому странному дому, принадлежащему молодому бакалейщику в нижней деревне; в том доме почти никогда никто не жил, в нем только пирушки и дебоши устраивались. Мария так ничего и не сказала мне об этом. Правда, богатенький бакалейщик, он раньше жил в Вене, Бертолотти, зашел к нам днем и стал расспрашивать об этих людях.

А перед заходом солнца я увидел того мужчину постарше: порядком пьяный, он брел, спотыкаясь, по тропинке вниз следом за двумя женщинами. Паоло послал Джованни проследить, чтобы пьянчужка добрался до дома, ведь спуск был довольно опасным. Всё вместе произвело на меня удручающее впечатление, впрочем, любое застолье в любой стране одинаково.

Вечером завалился Грубиян. Звали его на самом деле Фаустино. Но у всех в деревне есть кличка, которая приклеивается к человеку накрепко. Он зашел в дом и попросил накормить его ужином. Мы все уже поели. Так что он перекусил один, пока мы сидели у очага.

Потом стали играть в «Руки на стол!». Это была единственная игра, в которую мы обычно играли с крестьянами, не считая той, которую они сами придумали; надо быстро по очереди выкрикивать число пальцев, и тут же выкладывать на стол руки, а потом так же быстро прятать их.

Грубиян присоединился к нам. Потому что ездил в Америку и там разбогател. Он надеялся, что подсядет к необычной синьоре. Но никогда нельзя было понять, что у него на уме.

Забавно было смотреть на руки, лежащие на столе: руки англичанки в кольцах на нежных пальцах, большие крепкие руки старшего мальчика, смуглые лапки младшего, искореженные тяжким крестьянским трудом большие руки Паоло, большие, смуглые, звериные, мясистые руки Фаустино.

Первый раз он прожил в Америке два года, во второй — пять лет, но говорил по-английски очень плохо. Он всегда жил среди итальянцев. Работал на фабрике по пошиву знамен, и вся его задача заключалась в том, чтобы тащить тележку со знаменами из красильни в сушилку — полагаю, я не ошибаюсь.

Потом вернулся из Америки с деньгами, получил в наследство дом своего дяди вместе с садом и жил один-одинешенек.

Он богатый, сообщила Мария своим резким голосом. Он тут же поспешил всех разуверить в этом, мудрая крестьянская душа! Но перед синьорой ему хотелось покрасоваться. Да он ничтожный человек, выкрикивала Мария полушутя-полусерьезно.

Он вкалывал в своем саду, выращивал овощи круглый год, жил в маленьком домике при саде, а весной неплохо зарабатывал на прививке винограда, он знал толк в этом деле.

Когда мальчики пошли спать, мы завели с ним разговор. Он был удивительно привлекателен и удивительно красив, но его ровный цвет лица и правильные черты делали его похожим на каменное изваяние. Виски с темными волосами были четкой, красивой формы, просто произведение искусства.

Но в глазах светился этот непонятный, немного дьявольский, немного страдальческий свет, как у козла; губы сжаты в почти уродливую кривую, щеки — жесткие. Усы у него были каштановые, зубы — сильные и редкие. Женщины посмеивались: жаль, что у него каштановые усы.

— *Peccato! Sa, per bellezza, i baffi neri — ab-b!**

Потом — сладострастный вздох.

— Ты один живешь? — спросил я.

Да, один. Даже когда болеет, один лежит. Два года тому назад болел. Щеки у него стали твердыми, будто мраморными, и побелели, когда он вспомнил об этом. Он был испуган, окаменел от страха.

— Но почему ты живешь один? — спросил я. — Ты грустный — *e triste*.

Он взглянул на меня своими необычными, бесцветными глазами. Я угадал в нем вечное, неизбывное страдание, что-то очень странное.

— *Triste!* — повторил он неприветливо, снова окаменев. Я не понимал, что с ним происходит.

— *Vuol' dire che hai l'aria dolorosa!** — закричала Мария, как хор, поясняющий смысл всего. И при этом в голосе у нее звенел вызов.

— Грустный, — повторил я по-английски.

— Грустный, — сказал он следом тоже по-английски. Он не улыбнулся, не изменился в лице, только еще больше окаменел. Он смотрел на меня, прямо мне в глаза, долгим, пристальным, непроницаемым взглядом своих бесцветных глаз, повторяю, тяжелым взглядом, напоминающим козлиный.

— Почему ты не женишься? — продолжал я. — Мужчине не пристало жить одному.

— Не женюсь, — ответил он в своей особой выразительной, неторопливой, бесстрастной манере, — потому что я повидал много на своем веку. Но *visto troppo*.

— Не понимаю, — сказал я.

Но я чувствовал, что Паоло, сидевший возле очага, тоже окаменев, как истукан, понимает его, и Мария понимает.

Грубиян снова смотрел тяжелым взглядом прямо мне в глаза.

— Но *visto troppo*, — повторил он, словно высек эти слова на камне. — Я слишком много повидал на своем веку.

Он не сводил с меня своего тяжелого взгляда, словно за мной наблюдало какое-то неведомое существо.

— Но ведь ты можешь жениться, — настаивал я, — сколько бы ты ни повидал, небось, по всему миру ездил.

— На ком? — спросил он.

— Можешь себе найти пару, женщин много вокруг.

— Нет мне пары. Я слишком много повидал на своем веку. Слишком многих познал, не могу ни на ком жениться.

— Ты что, ненавидишь женщин?

— Нет, напротив. Я не думаю о них плохо.

— Так почему не можешь жениться? Почему живешь один?

— А зачем жить с женщиной? — спросил он и глянул насмешливо. — С какой такой женщиной жить?

— Сам можешь найти. Их ведь много.

Снова он закачал головой, как каменное изваяние.

— Они не для меня. Слишком много я их повидал.

— И это мешает тебе жениться?

Он смотрел на меня, не отрываясь. И я понял, что мы не понимаем друг друга, а может, я не понимаю его. Не понимаю странного белого блеска его глаз.

А я знал, что я ему нравлюсь, он даже любил меня, что тоже казалось странным и непонятным. Словно он был эльфом, призраком фавном, и у него не было души. Но от него шла волна печали, сверкающей печали. Сам-то он не был печален. В нем была некая цельность, в том бледном ином мире, в котором он обитал и который исключал печаль. Мир этот был слишком безупречным, законченным, совершенным. В нем не было места горькой тоске, не было путаницы, тумана... Он был ясен и красив, будто полупрозрачный утес, будто предмет, залитый лунным светом. Он был похож на кристалл, обретший свою окончательную, безупречную форму, которую уже не надо оттачивать.

В ту ночь он спал на полу гостиной. Утром он ушел. А через неделю пришел, принес привой.

Все утра и дни он проводил в винограднике, согнувшись над ними, подрезая их своим острым, блестящим ножом, на удивление быстро и уверенно, словно он бог. Мною овладевал ужас, когда я смотрел на него, согнувшегося в три погибели, подобно богу в обличье зверя, сидевшего на корточках подле молодой лозы, он быстро, не задумываясь, отрезал, отрезал, отрезал побеги, а те, никому теперь уже не нужные, падали на землю. Потом он своей странной, напоминающей козлиную походкой пересекал сад и шел приготовить раствор.

Он разводил коровий навоз, известь, воду и землю, тщательно размешивал все руками, в этом он тоже знал толк. Он не был рабочим. Он был существом, которое находилось в самых тесных отношениях с чувственным миром, ему достаточно было дотронуться до известковой жижи, которую он размешивал, чтобы понять, правильно ли он делает, словно между ним и раствором была особая связь.

Потом он возвращался к земле, сам — сверкающий пласт земли, возвращался к побегам. Быстро, несколькими четкими движениями ножа, он обрабатывал новый черенок, который выдергивал из охапки, лежавшей подле него на земле, нагибался к лозе, прикладывал его к стеблю, быстро и туго привязывал его.

Он был подобен Богу, который прививал человека к телу земли, колдуя с собственной плотью.

Все это время Паоло стоял рядом, он был исключен из этого таинства, он просто беседовал со мной, с Фаустино. Грубиян с готовностью отвечал, словно голова его ничем сейчас не была занята. Лишь его чувства были полностью поглощены жизнью растения, известью и коровьим навозом, которыми он занимался.

Наблюдая за ним, за тем, как он, подобно зверю и при этом подобно божеству, упоенно склонился над растением, словно он был богом дольного царства, я понял секрет его одиночества, понял, почему он не женится. Пан и помощники Пана не женятся, они — лесные боги. Они обречены на одиночество и изоляцию.

Супружество — это единение в духе. Во плоти — лишь связь, но лишь в духе рождается нечто новое из союза двух антагонистов. Я вступаю в связь с женщиной плотью. А в духовном союзе должно рождаться третье, совершенно новое, Слово, которое не я и не она, которое не мое и не ее, оно — абсолютное.

У Фаустино нет подобного духовного начала. В нем само чувственное начало — абсолютное, это не духовное совершенство, а физическое. Поэтому он не может жениться. Это не для него. Он принадлежит Пану, абсолюту чувства.

И тем не менее его красота, столь совершенная и законченная, пленила меня, как и удивительное, постоянное совершенство. Но его движения, хотя они и очаровывали меня, были отталкивающими. Я видел, как он сидит, согнувшись в три погибели над лозой, сидит на корточках, согнувшись, подобно животному, даже не осознавая своей позы, лицо его золотисто-бледное, с суровыми, резкими чертами, темные брови и волосы на висках блестят на солнце, будто они отражают его свет, как поверхность камня, светящегося в глубине ночи. Их отблеск напоминал мне темноту, простирающуюся из неизменяющейся, постоянной бесцветности.

Он снова остался на вечер, поссорившись снова с Марией из-за денег. Ссорился он непримиримо, жестоко, хотя и сохранял равнодушие. В этом было нечто пугающее. Но как только он договаривался, в нем не оставалось и следа эмоций или интереса.

Правда, ему нравилось сидеть поближе к синьорам англичанкам. Они притягивали его как магнитом. Такое наблюдается в чисто физической природе вещей — намагниченная игла неотвратно тянется к железу. И он ничего не мог с собой поделать. Он способен был лишь на механическое воздействие по отношению к нам.

И между нами ничего не было, мы были безнадежно разные. Как ночь и день, встретившиеся на своем пути.

7. Джон

Кроме Грубияна, мы познакомились с другим итальянцем, изъяснявшимся по-английски, причем весьма прилично. Мы поднялись над озером на четыре-пять миль, продолжая забираться все выше и выше. И неожиданно на выступе одной почти отвесной скалы обнаружили заледеневшую, богом забытую деревеньку.

Мы зашли в таверну выпить чего-нибудь горячего. В открытом очаге горели поленья из олив, за столом беседовали двое мужчин, женщина с ребенком стояла у огня и следила, как в большой кастрюле что-то варится. В другой комнате была еще одна женщина.

На табурете возле очага сидел молодой погонщик мулов, он привязал своих двух мулов у входа в таверну, а напротив него сидел плотный мужчина постарше.

Они встали и уступили нам почетные места, на что мы согласились с благодарностью.

Очаги здесь напоминают широкие, открытые очаги в домиках старой Англии, но их ставят на плиту, которая возвышается над полом на полтора-два фута, поэтому огонь горит почти на уровне ваших рук, а те, кто сидит на табуретах возле них, — выше всех остальных в комнате,

напоминая двух божеств, окруженных пламенем и взирающих из пещеры алой темноты в открытый дольний мир.

Мы заказали кофе с молоком и ром. Тучный хозяин таверны сел около нас на табурет, что стоял пониже наших. Миловидная молодая женщина с младенцем на руках взяла жестяной кофейник с серой золы очага, насыпала кофе, залила водой, потом снова поставила на огонь.

Хозяин повернулся к нам с обычным для подобающего случая наивным любопытством и задал обычный вопрос:

— Вы немцы?

— Англичане.

— Ах, Inglesi.

Новое проявление добросердечности — я так всякий раз считаю — простые, смахивающие на животных мужчины, сидящие у стола, взглянули на нас теперь уже приветливее. Ведь они не любят, когда к ним являются чужаки. Только хозяин всегда вежлив с посетителями.

— Мой сын говорит по-английски, — замечает он; он приятный, обходительный пожилой мужчина, похожий на Фальстафа.

— Да?

— Он был в Америке.

— А где он сейчас?

— Дома. Эй, Николетта, где Джованни?

Миловидная молодая женщина с младенцем подошла к ним.

— Он с музыкантами, — ответила она.

Старый хозяин взглянул на нее с гордостью.

— Это моя невестка, — пояснил он.

Она приветливо улыбнулась синьору.

— А ребенок? — спросили мы.

— Mio figlio*, — воскликнула молодая женщина сильным, пронзительным голосом, каким говорят здесь все женщины. И подошла поближе, чтобы показать младенца синьоре.

Малыш был прелестный, вся честная компания дружно стала любоваться bambino. Наступила пауза — религиозный восторг, казалось, воцарился в таверне.

— Как его зовут?

— Оскар, — зазвенел переполненный гордостью голос. И мать заговорила с мальчиком на местном наречии. Все, мужчины и женщины, испытывали экстаз: присутствие ребенка было для них благословением свыше.

Наконец кофе в жестяном кофейнике закипел и стал выкипать, выливаясь из носика и из-под крышки. Молоко в маленькой чугунной кастрюльке, стоявшей в золе, тоже закипело. Нам наконец-то принесли питье.

Хозяин очень хотел, чтобы мы познакомились с его сыном Джованни. В деревне был маленький оркестр уличных музыкантов, сейчас они играли перед домом полковника — он

вернулся из Триполи, его ранило на войне. Все деревенские жители очень гордились полковником и оркестром духовых инструментов, хотя играли ребята отвратительно.

Мы выглянули на улицу. Группка неотесанных парней выводила один и тот же мотив, стоя перед угрюмым, недавно построенным домом. Кучка несчастных деревенских жителей толпилась рядом, ежась от холода. Казалось, все они — богом и людьми забытые горемыки.

Но хозяин таверны, тучный, приветливый, симпатичный мужчина, кивнул нам с гордостью на Джованни, который стоял среди музыкантов и играл на корнете. Оркестрик состоял из пяти человек, очень напоминая уличных попрошаек. А Джованни выглядел совсем дико! Он был долговязым, тощим, смахивал на немца, на нем была потрепанная американская одежда, очень высокий воротничок и маленький американский складной цилиндр. Он был похож на нищего, пиликающего на скрипке, в своем грязном, поношенном, утратившем всякий приличный вид костюме.

— Вон он — видите — парень под балконом.

Отец говорил с любовью и гордостью, а ведь отец был джентльменом, Фальстафом, форменным джентльменом. Невестка тоже выглянула, чтобы полюбоваться на Джованни, который явно был здесь важной фигурой в своей грязной, поношенной, некогда приличной американской одежде. А тем временем эта важная персона дула в корнет, покраснев от усилий, извлекая из своего инструмента звуки стаккато. А толпа несчастных, богом забытых людей стояла на холодном ветру, какой бывает днем высоко в горах.

Внезапно раздалось нестройное: «Evviva, Evviva!»*, музыканты перестали играть, кто-то храбро прервал песню:

Tripoli, sara italiana,

Sara italiana al rombo del cannon**.

На балконе появился полковник, маленький человечек на тонких ножках с очень желтым лицом, темными с сединой волосами. Все тут были грязными и в безнадежно истрепанной одежде.

Он неожиданно заговорил, наклонясь вперед над металлическим поручнем балкона, — разгоряченный, возбужденный и желтый. Он был какой-то возбужденный, вязкий, нездоровый, скорее мерзкий, отталкивающий от себя, чем вызывающий симпатию. Он принялся убеждать своих односельчан, что он очень сильно любит их, рассказал, как, лежа долгими неделями в песках Триполи, он знал, что они в своей деревне высоко в Альпах следят за ним, он просто чувствовал их заботу. Когда арабы, как безумные, пошли в атаку и он был ранен, он знал, что залечит свои раны в родной деревне, среди близких друзей. Любовь залечит раны, родные края любовью лечат раны своих сынов.

В серой, унылой толпе послышалось чье-то «Браво!», люди утирали слезы, а хозяин таверны, стоя рядом со мной, тихо и отвлеченно повторял: «Caro — caro — Ettore, caro colonello»*, — а когда все закончилось и маленький полковник на тонких ножках исчез, он повернулся ко мне и сказал с вызовом, который даже напугал меня:

— Un brav'uomo.

— Bravissimo**, — сказал я.

Потом и мы отошли от окна.

Все было какое-то унылое, безнадежное, раздражающее, невыносимое.

Полковник, бедняга, — позднее мы познакомились с ним — теперь мертв. Странно, что он мертв. Мысль, что он покойник, невыносима мне: такой жалкий, ничтожный труп. В Италии у смерти нет ореола красоты, если только это не насильственная смерть. Когда мужчина или женщина умирает от болезни, это вызывает ужас, отвращение. Итальянцы принадлежат жизни, эти люди существуют только в границах жизни, сущего.

Скоро пришел Джованни и отнес свой корнет наверх. Потом спустился познакомиться с нами. Он был простодушным малым, чудовищно грязным и оборванным. Волосы свисали длинными неровными патлами, высокий воротничок однозначно свидетельствовал, что шея и уши у парня грязные, американский алый галстук был ужасен, а у одежды был такой вид, словно по ней ходили целый год.

Но при этом голубые глаза смотрели на вас дружелюбно, а манеры и речь были хорошими.

— Поговорите с нами по-английски, — предложил я.

— О, — протянул он, улыбаясь и покачивая головой, — я свободно говорил по-английски. Но уже два года, как у меня нет практики, даже больше двух лет, как не говорил.

— Но у вас отлично получается.

— Нет. Уже два года, как не говорил, ни слова — так что сами понимаете. Я...

— Забыли? Вовсе не забыли. Очень скоро все вспомните.

— Когда я слышу английскую речь — как в Америке — тогда я...

— Очень скоро вспомните.

— Да, вспомню.

Хозяин, с гордостью наблюдавший за нами, отошел. Жена тоже отошла, так что мы остались наедине с робким, воспитанным, грязным, одетым в лохмотья Джованни.

Он засмеялся — искренне, живо.

— Когда в Америке женщины заходили к нам в магазин, они непременно спрашивали: «А где Джон? А где Джон?» Да, я им нравился.

И он снова засмеялся, робко подняв на нас взгляд своих добрых голубых глаз, зажавшись от смущения.

У него в Америке, в маленьком городке, была лавка. Я посмотрел на его красноватые, гладкие, с выступающими косточками руки, на тонкие запястья, выглядывавшие из-под поношенных рукавов. Да, это были руки хозяина магазина.

Хозяин принес праздничный пирог, его переполняла радость, что он подарил своему Джованни возможность поговорить по-английски с синьорами.

Когда мы уходили, мы пригласили «Джона» прийти к нам вниз на виллу. Хотя мы не думали, что он появится.

Однако как-то утром он пришел, где-то около половины десятого, мы как раз заканчивали завтрак. Было солнечно, тепло и красиво, поэтому мы предложили ему пойти с нами на пикник.

Он был очень странным типом; все такой же неопрятный, с отросшими, непричесанными волосами, в неряшливой одежде, самый что ни на есть опустившийся американец. И он был буквально пропитан робостью. Но он выбрал наш мир, он был ему родным, поэтому он легко и просто занял свое место среди нас, незванный гость.

Мы поднялись вверх по склону горы, дошли до ручья, туда, где была шелковистая маленькая лужайка под оливами, на ней цвели ромашки и у гладиолусов набухли бутоны. Маленькая, поросшая травой лужайка пристроилась в расщелине горы, мы расположились на ней, а под нами раскинулся мир — озеро, дальний остров, вдали — берег Вероны.

И «Джон» заговорил, он говорил без умолку, как иностранец, не зная точно, как выразить то, что он с легкостью бы сказал на итальянском, а пытаясь объяснить, что он имеет в виду на своем небогатом английском языке.

Прежде всего, как мы поняли, он любит своего отца — это «мой отец, мой отец», твердил он. У отца был маленький магазинчик и таверна в деревне в горах. Так что Джон получил кое-какое образование — ходил в школу сначала в Брешиа, а потом в Вероне, там поступил на курсы, чтобы стать инженером гражданской промышленности. Он был умным и мог бы сдать все экзамены. Но не закончил их. Умерла матушка, безутешный отец хотел, чтобы он вернулся домой. Он вернулся, ему тогда было лет шестнадцать-семнадцать, вернулся к деревне у озера, чтобы быть подле отца и присматривать за магазинчиком.

— А ты с легким сердцем бросил свои занятия? — спросил я.

Он не совсем понял меня.

— Отец хотел, чтобы я вернулся.

Джованни явно не знал толком, что он собирался делать и что он хочет делать. Отец мечтал вырастить сына истинным джентльменом и отправил его в школу в Вероне. По стечению обстоятельств попал на инженерные курсы. А когда все рухнуло, его, недоучившегося парня, вернули в заброшенную деревню в горах, он не разочаровался и не опечалился. Он и не подозревал, что существует осмысленная, целеустремленная жизнь. Кто-то живет в деревне, как камень в кладке, кто-то совершает набеги в мир, по миру. Все происходит бесцельно и неосознанно.

Какое-то время жил с отцом, а потом уехал, так же не задумываясь над тем, что делает, с группой мужчин, эмигрировавших в Америку. Взял с собой немного денег, поскитался, жил в чудовищных условиях, потом где-то в Пенсильвании устроился работать в галантерейный магазин. Тогда ему было лет семнадцать-восемнадцать.

Казалось, все происходящее не задевало его, по крайней мере он не осознавал этого. Он был человеком простодушным и самодостаточным. Не таким самодостаточным, конечно, как Грубиян или Паоло. Чужой мир, в котором они побывали, совсем не изменил их. Души их были статичными, это мир вокруг постоянно менялся.

Но Джон был более чувствителен, находился в более тесном контакте с окружающей реальностью. Почти каждый вечер он посещал занятия, учил, как ребенок, английский язык. Он любил американскую школу, ее вольный дух, учителей, свою работу.

Он настрадался в этой Америке. Рассказал нам, посмеиваясь своим забавным, эмоциональным, дрожащим смехом, как мальчишки дразнили его: «Мерзкий Dago, мерзкий Dago!». Останавливали его с другом на улице, отбирали шапку и плевали в нее. В конце концов у него поехала крыша. Молодые парни и взрослые мужики постоянно издевались над ним, обзывали непристойными словами — он, к нашему ужасу, стал произносить их; они повергли нас в шок: на маленькой лужайке, под оливами, над дивным озером, эти английские ругательства и непристойности звучали так мерзко, что мы кусали губы, были готовы даже дико смеяться, а Джон, простая, невинная душа, несмотря на длинные патлы и неряшливую одежду, был чист, как цветок, и он продолжал повторять нам фразы, которые никто никогда не произносит в приличном обществе.

— Да, — сказал он, — в конце концов у меня поехала крыша. Когда однажды они подошли ко мне с воплями: «Мерзкий Dago, грязная собака!» и отобрали у меня шапку, ох, я просто обезумел, я был готов убить их, я убил бы их, так у меня крышу снесло. Я подбежал к ним, швырнул одного на пол, стал топтать его, потом рванул к другому, самому сильному. Они набросились на меня, начали бить ногами, но я ничего не чувствовал, я обезумел. Кинул самого сильного на пол, он старше меня, бил его смертельно, чуть не прикончил. Другие, увидев все это, испугались, стали швырять в меня камнями, один попал мне в лицо. Но я ничего не чувствовал — ничего не осознавал. Бросил кого-то на пол, чуть не убил его. Забыл обо всем, думал только о том, что прикончу его, непременно прикончу...

— Но не убил?

— Нет, не знаю, — и он засмеялся своим чудным, дрожащим смехом. — Другой парень, что был со мной, мой приятель, подбежал ко мне, и мы ушли. Господи, я обезумел. Совсем ума лишился. Я бы убил их всех.

Он слегка дрожал, в глазах полыхал странный, стихийный, полный страдания серовато-голубой огонь. Он был вне себя. Но вовсе не безумный.

Нас потрясло его сильное, полыхающее смятение юности, мы хотели, чтобы он забыл свое прошлое. И еще в нас вызывало ужас это чистейшее, стихийное пламя, вырывающееся из его благородной, чувствительной души. Слыша его тихий, дрожащий смех, мы понимали, как сильны его страдания. Он покинул родные края, взглянул в лицо миру, но он остался верен себе, каким бы странным Dago он ни был.

— Больше они никогда за мной не гонялись, пока я там жил.

Потом рассказал нам, что работал заведующим в крупном магазине, но сначала был ассистентом. То был самый хороший магазин в городе, туда приходило много англичанок, иногда приходили немки. Ему очень нравились англичанки: они требовали, чтобы непременно он их обслуживал. Он ходил в белом костюме, а они, бывало, говорили: «Тебе очень идет белый костюм, Джон», или: «Пусть Джон придет, он найдет, что мне нужно». А случалось, хвалили: «Джон говорит, как настоящий американец».

Ему это очень льстило.

В результате он начал зарабатывать сто долларов в месяц. Он жил очень бережливо, как все итальянцы, и накопил много денег.

Он не был похож на Грубияна. Фаустино жил в Америке в нищете, временами устраивал попойки и скандалы. Джон ходил в школу, в одной ему даже предложили преподавать итальянский. Он очень хорошо знал родной язык, такое редко встречается.

— Но почему же ты вернулся? — спросил я.

— Из-за отца. Видите ли, если бы я не вернулся, чтобы отслужить в армии, мне надо было бы оставаться там до сорока лет. Я боялся, что отец не дождет меня, умрет. Вот и вернулся.

Он приехал домой, когда ему исполнилось двадцать лет, и пошел служить в армию. Потом женился. Он очень любил свою жену, но он не понимал, что такое любовь в старом, традиционном понимании этого слова. А жена для него олицетворяла прошлое, с которым он и обручился. Она подарила ему ребенка, это его прошлое подарило ему сына. Но будущее несколько не было с ней связано, в нем не было для нее места. Он снова собирался в Америку. Он провел уже почти девять месяцев дома, отслужив в армии. Больше здесь делать нечего. Теперь собирается распрощаться с женой, сыном и отцом и уехать в Америку.

— Но почему? — удивился я. — Почему? Ты же не бедный, можешь открыть магазин в деревне.

— Могу, — ответил он. — Но я поеду в Америку. Может, устроюсь в тот же самый универмаг.

— А там все будет по-другому, не так, как если бы ты дома открыл магазин?

— По-другому, совсем по-другому.

Потом рассказал нам, как он закупает товары в Брешии и Сало для своего деревенского магазина, как он смастерил с помощником фуникулер, просто протянул проволоку до горы, что в миле от его деревни. Он с гордостью говорил об этом. А иногда и сам спускался на фуникулере вниз к озеру, к лодке, если времени было в обрез. Ему это доставляло удовольствие.

Сегодня он собирается в Брешиа — хочет разузнать все насчет Америки. Может, в следующем месяце уедет.

Для меня так и осталось загадкой, почему он решил уезжать. Да он и сам не знал. Собирается прожить там четыре-пять лет, потом вернется повидать отца и жену с ребенком.

Странная, даже пугающая была у него судьба, которая выталкивала его из дома, из прошлого, гнала в дорогу, в великую, молодую Америку. У него не было, казалось, права выбора, он был целиком во власти судьбы, которая отрывала его от привычного уклада жизни и гнала его, как щепку, в новый хаос.

Он подчинялся ей абсолютно просто, не раздумывая, даже не подозревая, что он страдает, что страдания эти ему приносят разрыв со старым укладом. Его вырывают из этого уклада, а он никогда не задумывается над этим неизбежным, импульсивным шагом.

— Мне все говорят: «Не уезжай, не уезжай», — он покачал головой, — а я им в ответ: все равно уеду.

На этом наш разговор закончился.

Потом мы увидели его на причале, он собирался плыть куда-то. Вечером он вернется, на фуникулере заберется наверх. А через месяц он будет стоять на том же пароходике, который увезет его в Америку.

До чего же больно было смотреть на него, на то, как он стоит в своей поношенной американской одежде на палубе парохода и машет нам рукой, решившись все-таки перебраться в наш мир, мир сознательного и расчетливого поступка. Простодушный, открытый, не сомневающийся, он был похож на заключенного, которого перевозили под конвоем из одного уклада жизни в другой, похож на неприкаянную душу, ищущую себе пристанища.

Что для него жена и сын? Лишь последние звенья прошлого. Отец — континент, оставшийся позади, жена и сын — берег прошлого, но он смотрел вперед, отворотясь ото всего этого, — куда смотрел, ни он, никто другой не знал, но он называл это Америкой.

8. Итальянцы в изгнании

Когда я оказался в Констанце, стоял туман, было мрачно и уныло, так что плавать по большому плоскому пустынному озеру не было никакого желания.

Из Констанца я плыл на маленьком пароходике по Рейну до Шафхаузена. Как красиво! Правда, туман висел над водой, над широкими отмелями реки, и солнце, вставшее утром на небе, заливало дивным желтым светом все округ, прорываясь сквозь голубоватый туман, казалось, что

наступил час сотворения света. Ястреб сражался в вышине с двумя воронами, а может, грачами. Немцы с интересом наблюдали, стоя на палубе, как ястреб взмывал все выше и выше, а ворон увертывался от него, этот поединок казался странным символом в небе.

Потом мы поплыли дальше, меж поросших лесами берегов, под мостами, возле которых сгрудились деревеньки, будто сохранившиеся со времен рыцарских романов, под красными черепичными крышами с разноцветными гребешками, такие тихие, далекие, заблудившиеся в прошлом. Невозможно было верить, что они реальные. Даже когда пароход причалил к берегу и береговая охрана пришла проверить нас, деревня так и осталась в романтическом прошлом Верхней Германии, Германии сказок, менестрелей и ремесленников. Ощущения прошлого было невыносимо острым, оно разлилось всеми цветами радуги над затуманенной рекой.

За нами плыло несколько пловцов, их тела колыхались под водой возле нашего парохода. Один мужчина с круглой светловолосой головой поднял из воды лицо и руку и стал приветствовать нас, казалось, он нибелунг, который машет нам белокожей рукой, он смеялся, светлые усы нависли над смеющимся ртом. Потом он нырнул глубже и пропал из виду.

Шафхаузен — городок наполовину старинный, наполовину современный, с пивоварнями и фабриками, он тоже не очень реальный. Водопады Шафхаузена — просто уродливые, в центре разместились фабрика, а внизу — отель, они производят какое-то кинематографическое впечатление.

Днем я отправился на прогулку от водопадов в сторону Италии, через всю Швейцарию. Помню большие, тучные, довольно мрачные поля этой части Бадена, они болотистые, здесь никто не живет. Помню, нашел несколько яблок под деревом в поле, что было возле железнодорожной насыпи, потом несколько грибов, я съел их. Потом вышел на длинную, пустынную дорогу, вдоль которой росли хилые деревца и тянулись огромные поля, а на них тут и там трудились группки мужчин и женщин. Они стали разглядывать меня, пока я шел по длинной дороге, один, у всех на виду, шел прочь от их мира.

Помню, в приграничной деревне меня никто не вышел проверить, я прошел беспрепятственно дальше. Вокруг — тишина, никаких признаков жизни, уныло, огромные полосы чернозема.

До заката, ярко-красного, пурпурного, я шел, не останавливаясь, и вдруг из мрачных полей я попал снова в Рейнскую долину, неожиданно для себя словно попал в другой сияющий мир.

Вдоль высоких, загадочных, романтических берегов текла река, на высоких, холмистых берегах были виноградники. И деревня с высокими, старинными домами, поблескивающая огоньками над глубокой рекой, объята тишиной, которую нарушал лишь бег воды.

Через реку был переброшен очень темный, под красивым навесом мост. Я дошел до его середины и посмотрел в проем вниз на темную воду, на панораму квадратных огоньков, на передние домики одинокой деревни, молча высящиеся над рекой. По обе стороны реки тянулись холмы, а внизу раскинулся маленький, забытый, прекрасный мир, принадлежащий жителям этой одинокой деревеньки и бродячим менестрелям.

Я вернулся в постоялый двор «Золотой олень», поднявшись по лестнице, громко постучал. Ко мне вышла женщина, я попросил накормить меня. Она провела меня через помещение, заставленное огромными бочками диаметром в десять футов, лежавшими прямо на полу, потом через большую, чистую, выложенную из камня кухню, с сияющими кастрюлями, старыми, со времен мейстерзингеров, потом мы поднялись на несколько ступенек и оказались в большой гостевой зале, там было уже накрыто к ужину.

Несколько посетителей ужинали. Я попросил пива «Абендессен» и, сев у окна, стал смотреть на темную реку, на мост под навесом, на темный холм, возвышающийся по ту сторону реки, украшенный редкими огоньками.

Потом съел суп с огромным количеством тефтелей, много хлеба, выпил пива и страшно захотел спать. Зашла пара деревенских мужчин, но скоро ушли; все здесь будто вымерло. Только подле длинного стола на противоположной стороне комнаты сидели человек семь или восемь, оборванные, наглые отбросы общества, — еще один пришел позднее; хозяйка принесла им густой суп с клецками, хлеба и мяса, обслуживала она их торопливо, с пренебрежением. Эти восемь или девять бродяг, нищих, бездомных, безработных, ели весело и неаккуратно, жадно, оглядываясь по сторонам и усмехаясь, испуганные, подавленные, но при этом наглые. В конце трапезы один громко спросил, где ему ложиться спать. Хозяйка позвала молоденькую служанку, и та с классическим немецким выражением неодобрения и суровости повела их по каменным ступеням в отведенную для них комнату. Они шли по трое и по двое, униженные и несчастные. Еще не было и восьми часов вечера. Хозяйка беседовала с бородатым, степенным и строгим мужчиной, при этом безостановочно что-то вязала.

Выходя из комнаты, кто-то из этих нищих крикнул весело и нагло:

— Nacht, Frau Wirtin — G'Nacht, Wirtin — 'te Nacht, Frau!*

Хозяйка всем отвечала «Gute Nacht», не поворачивая головы от вязания, ни единым жестом не давая понять, что она обращается к мужчинам, толпившимся на пороге.

Комната опустела, остались только хозяйка с вязанием да степенный, пожилой мужчина, с которым она говорила на неприятном диалекте, да молоденькая служанка, которая унесла тарелки и чашки со стола бродяг и нищих.

Потом и мужчина ушел.

— Gute Nacht, Frau Seidl, — сказал он хозяйке. — Gute Nacht**, — бросил небрежно мне.

Я стал читать газету. Попросил хозяйку принести мне сигареты, не зная, как завести с ней разговор. Она подошла к моему столу, и мы заговорили.

Мне нравился мой образ романтического скитальца, она сказала, что у меня «schon»*** немецкий, только немного медленное произношение.

Я поинтересовался у нее, кто те люди, что сидели за длинным столом. Она сразу стала сдержанной и немногословной.

— Они ищут работу, — ответила она так, словно ей неприятно было говорить об этом.

— А почему они сюда пришли, да еще так много их? — спросил я.

Она ответила, что они уезжают из страны, а ее деревня — приграничная; в каждой деревне социальный работник дает им талон на бесплатные ужин, постой, хлеб утром, они могут прийти с ним в указанный постоялый двор. Ее постоялый двор предназначен для таких бродяг. Хозяйке платят четыре пенса за человека, думаю, за каждого из этих бродяг.

— Не густо, — заметил я.

— Копейки, — ответила она.

Ей совсем не хотелось говорить на эту тему. Отвечала она исключительно из уважения к моей персоне.

— Bettler, Lumpen, und Taugenichts!* — сказал я весело.

— И люди, оставшиеся без работы и возвращающиеся домой, — сказала она мрачно.

Мы поговорили недолго, и я пошел спать.

— Gute Nacht, Frau Wirtin.

— Gute nacht, mein Herr**.

Я поднялся по лестнице, потом еще по одной в сопровождении молоденькой служанки. Дом был большой, очень высокий, старый, запущенный, с бесконечными, однообразными дверями.

Потом где-то на самой верхотуре я оказался в отведенной мне спальне с двумя кроватями, голым полом и жалкой мебелью. Я посмотрел вниз на реку, на мост под навесом, на дальние огоньки на холме напротив. Как странно мне было здесь, в этом богом забытом месте, спать под одной крышей с бродягами и нищими. Не исключено, что они украдут мои ботинки, если я поставлю их за дверь. Но я рискнул. Щеколда громко звякнула, шум разнесся по пустому дому, заброшенному, всеми забытому. Интересно, где устроились восемь бродяг и нищих. Дверь в случае чего даже нечем было заставить. Но я почувствовал, что если мне и суждено быть ограбленным и убитым, то не этими бродягами и нищими. И я задул свечу и лег под огромное первое одеяло, прислушиваясь к бегу и шепоту средневекового Рейна.

Когда я проснулся, было солнечно, утренний свет залил холм напротив, а река внизу была пока в полумраке.

Бродяги и нищие ушли: они должны были освободить помещение до семи утра. Так что постоянный двор был в полном моем распоряжении — тут оставались со мной только хозяйка и служанка. Было очень чисто, все пропитано немецкой утренней энергией и жизнерадостностью, у латинян утро начинается совсем по-другому. Итальянцы по утрам вялые и апатичные, немцы — энергичные и веселые.

На душе стало радостно, когда я любовался быстрой рекой внизу, красивым, под навесом мостом, берегом и холмом напротив. Потом с холма по петляющей дороге стал спускаться кавалерийский отряд, всадники в голубых мундирах. Я вышел посмотреть на них. Они нырнули в темный, скрытый под навесом тоннель моста, копыта романтично застучали по брусчатке, и всадники выскочили к деревне. Все было пропитано утренней веселой свежестью — и появление отряда кавалеристов, и бегущие навстречу радостные селяне.

Швейцарцы не военная нация — ни в одежде, ни в поведении. Маленький отряд кавалеристов больше смахивал на мужскую компанию всадников, отправившихся по какому-то общему делу, чем на армейское подразделение. Они держались очень свободно и похожи были на республиканцев. Офицер-командир, похоже, был одним из них, его власть была получена им по общему согласию его товарищей.

Все было очень мило и естественно, легко и мирно, совсем не так, как в механических, немного мрачных военных маневрах немцев.

Деревенский бакалейщик и его помощник, распаренные, обсыпанные мукой, шествовали от пекарни с огромной корзиной свежеспеченного хлеба. Кавалерия спешила у моста, сели закусывать и выпивать, как обыкновенные гражданские люди. Селяне подходили поздороваться с друзьями: один солдат поцеловался со своим отцом, тот подошел к сыну в кожаном фартуке. В школе зазвенел звонок, ребята робко пробирались меж лошадей, пасшихся табуном, с неохотой брели с учебниками в школу. Река неслась, солдаты, чувствовавшие себя очень неловко в мешковатых мундирах, откусывали хлеб большими кусками и жевали, набив полный рот; молодой лейтенант, который, похоже, был выбран командиром своими товарищами, мрачно стоял у моста. Солдатики были очень серьезными и довольными собой, в них не было и тени торжества. Все было как во время деловой поездки штатских людей, безопасно и скучно. Мундиры на них выглядели нелепо, как будто с чужого плеча, не к месту.

Я закинул на плечо рюкзак и тронулся в путь, по мосту через Рейн и вверх по холму напротив.

В этой стране какая-то мертвечина во всем. Помню, подобрал яблоки с травы у дороги, некоторые были очень сладкими. А так на мили тянулась мертвая, бездушная страна — бездушная, такая безлика и обыкновенная, что несла в себе разрушительную силу.

Когда попадаешь в Швейцарию, тобой непременно овладевает это чувство, исключение составляют горы, — чувство абсолютной, мрачной ординарности, что-то невыносимое. Миля за милей, до самого Цюриха, — одно и то же. И в трамвае, и в городе, в магазинах, ресторане. Все — воплощение ординарности и благополучия, ординарности, равносильной деградации. Город красивый, но это не имеет никакого значения, он воспринимается как самый что ни на есть обыкновенный, без изюминки, человек в старом костюме. Место просто убийственное.

Часа два я бездельничал — перекусил в ресторане, побродил по набережной и рынку, посидел возле озера, потом выяснил, каким пароходом можно уплыть. Я всегда впадаю в такое состояние в Швейцарии — единственное мое чувство тут — чувство облегчения, что я скоро покину ее, для меня главное — покинуть ее. Чудовищная безлика вокруг, ни цветка, ни намека на душевное тепло, на высшие силы, чудовищная, воинственная обыкновенность, — все это мне невыносимо.

Я поплыл на пароход по озеру, окруженному низкими серыми холмами. Был субботний день. Шел сильный дождь. Мне казалось, что лучше бы я очутился в огненном аду, чем оставаться в этой мертвой обыденности.

Я вышел где-то на правом берегу, проплыв три четверти пути. Почти стемнело. Но мне надо было еще идти вперед. Я поднялся на холм, добрался до вершины, посмотрел вниз, в темную долину, и спустился в полной тьме в безлюдную деревню.

Было уже восемь часов, дальше идти я не мог. Надо же и поспать, наконец. Я нашел Gasthaus zur Post*.

Гостиница была маленькая, совсем примитивная, без удобств, с одной лишь общей комнатой, в которой стояли не покрытые скатертью столы; хозяйка гостиницы — низенькая, плотная, мрачная, весьма грубая женщина, хозяина — с взъерошенными волосами — бил алкогольный озноб.

Они могли предложить мне лишь отварную свинину, я съел ее, выпил пива, пытаюсь переварить холодный, расчетливый материализм Швейцарии.

Я сидел спиной к стене, бездумно поглядывая на дрожащего хозяина, который в любую минуту мог впасть в бешенство, и на суровую хозяйку, которая способна была тут же призвать его к порядку; в зал вошла смуглая эффектная итальянка с мужчиной. На ней были блузка с юбкой, а шляпы не было. Волосы уложены в прекрасную прическу. Да, это истинная Италия! Мужчина был спокойным, смуглым, с годами он располнеет, станет *trappi***, будет чем-то напоминать Карузо. А пока что он был спокойным, эмоциональным, красивым юношей.

Они сели с пивом за длинный стол, что стоял в стороне, и тотчас же в комнате возникла еще одна страна. Пришел другой итальянец, светловолосый, полный, медлительный, житель Венецианской провинции, потом третий — маленький тощий паренек, смахивающий на швейцарца, если не обращать внимания на его подвижность.

Пришедший последним паренек первым заговорил с немцами. Другие только произнесли лаконично: «Пива!». А маленький посетитель тут же заговорил с хозяйкой.

В конце концов за столом собралось шесть итальянцев, они о чем-то шумно и дружелюбно беседовали. Медлительные, спокойные немцы-швейцарцы за другими столиками время от времени поглядывали на них. Хозяин с глазами, переполненными ненавистью, бросал на них злобные взгляды. А они легко и весело взяли свое пиво в баре, сели за столик, и в этой примитивной, безликой гостинице возник очаг жизни.

И вот они покончили со своим пивом и пошли по коридору. Комната стала пустой и мрачной. Я не знал, куда себя деть.

Потом я услышал вопли и проклятия хозяина, доносившиеся с кухни, он орал, как бешеная собака. А швейцарцы, завсегдатаи этого заведения в субботние вечера, продолжали невозмутимо курить за столиками и беседовать на своем чудовищном диалекте, не обращая никакого внимания на скандал. Потом вошла хозяйка, за ней — хозяин: рубаха без воротничка, сюртук расстегнут, горло голое, толстый живот свисает над ремнем. Ноги у него худые, он с трудом удерживается на них, кожа на лице обвисла, глаза полыхают безумием, руки дрожат. Он подсел к приятелю поговорить. Вид у него был отталкивающий, никто не обращал на него внимания, только хозяйка с мрачным видом следила за ним.

Из глубины дома послышались громкие крики радости и волнения, хлопанье и стуки. Когда дверь нашей комнаты открылась, я увидел в конце темного коридора на противоположной стороне другую освещенную дверь. Потом вошла полная, светловолосая итальянка и попросила пива.

— Что там за шум? — спросил я наконец у хозяйки.

— Там итальянцы, — ответила она.

— А что они делают?

— Играют.

— Где?

— В дальней комнате, — ответила она и кивнула головой.

— Можно мне пойти посмотреть?

— Думаю, можно.

Хозяйка внимательно следила, как я выхожу из комнаты. Я прошел по каменному полу коридора и обнаружил большую полуосвещенную комнату, которую можно было бы использовать для проведения встреч и митингов, мебель была свалена в кучу у одной стены. У другой было возвышение или сцена. На ней стоял стол с лампой, вокруг которой сгрудились итальянцы, они оживленно размахивали руками и смеялись. Кувшины с пивом стояли на столе и на полу, маленький шустрый паренек внимательно изучал какие-то бумаги, остальные наклонились над столом и следили за ним.

Они подняли головы, когда я вошел в комнату, взглянули на меня, застывшего в полумраке, я был для них чужаком, они, видно, ждали, чтобы я убирался. А я спросил по-немецки:

— Можно посмотреть?

Они не откликались, не желая видеть и слышать меня.

— Что? — спросил малыш.

Остальные выжидали, немного растерянные, насторожившись, словно звери.

— Может, вы позволите мне посмотреть? — спросил я по-немецки, потом с трудом по-итальянски: — Хозяйка сказала мне, что вы репетируете пьесу.

Позади меня была большая темная комната, маленькая группа итальянцев столпилась на сцене в свете лампы, которая стояла на столе. Они следили за мной невидящим, недружелюбным взглядом — я был чужаком, вторгшимся к ним.

— Мы еще только разучиваем текст, — сказал малыш.

Они хотели, чтобы я ушел. А я хотел остаться.

— Можно мне послушать? — спросил я. — Мне не хочется там оставаться. — И я кивнул в сторону залы.

— Можно, — сказал молодой, интеллигентного вида человек. — Но мы только читаем наши роли.

Они стали чуть дружелюбнее относиться ко мне, значит, приняли меня в свой круг.

— Вы немец? — спросил юноша.

— Нет — англичанин.

— Англичанин? А живете в Швейцарии?

— Нет, просто иду пешком в Италию.

— Пешком?

Они посмотрели на меня с интересом.

— Да.

Я рассказал им о своем путешествии. Они были озадачены. Не понимали, почему это я решил идти пешком. Но сама идея дойти до Лугано, Комо и Милана пешком привела их в восторг.

— А вы откуда? — спросил я.

Они все были жителями деревень, находившихся между Вероной и Венецией. Бывали на озере Гарда. Я рассказал им о своей жизни там.

— Эти горные крестьяне, — тут же заметили они, — необразованные люди. Совсем дикие.

Они говорили о них с пренебрежением и юмором.

Я подумал о Паоло, Грубияне, синьоре Пьетро, о нашем *padrone*, и слова этих ребят возмутили меня.

Я пристроился на краю сцены, пока они репетировали. Маленький, худой интеллигентный паренек, Джузеппино, был их руководителем. Они читали свои роли с крестьянским усердием, несвязно, словно могли осмыслить лишь одно слово, а только потом, со следующей попытки собрать слова вместе, чтобы в них прозвучал какой-то смысл. Пьеса была мелодрамой, написанной любителем, напечатана в грошовом буклете, предназначалась для постановки во время карнавалов. Сейчас происходило второе чтение; смазливый, смуглый, неотесанный паренек, стоявший перед девушкой как вкопанный, смеялся, краснел, спотыкался, не понимая, что происходит, так что Джузеппино приходилось ему все втолковывать. Толстый, светловолосый, медлительный человек был более сообразителен. Он потрудился над своей ролью. Двое других исполняли второстепенные роли.

Убедительнее всех играл толстый, светловолосый, медлительный человек по имени Альберто. Роль была у него не самая главная, так что он мог присесть около меня и перекинуться парой словечек.

Он рассказал мне, что они все работают на фабрике — кажется, шелковой, — в деревне. Итальянцев здесь целая колония — тридцать, а то и больше семей. Все они приехали сюда в разное время.

Джузеппино дольше всех здесь живет. Приехал сюда, когда ему было одиннадцать лет, с родителями, учился в швейцарской школе. Поэтому говорил на немецком прекрасно. Он был неглупым, был женат, имел двух детей.

Он-то сам, Альберто, прожил семь лет в долине, девушка Маддалена — десять, смуглый парень, Альфредо, постоянно пылавший румянцем из-за нее, прожил здесь около девяти лет — он один из всех остальных — холост.

Все женаты на итальянках, живут в большом доме с освещенными окнами возле грохочущей фабрики. Они держатся замкнуто — никто не говорит по-немецки, разве что знает несколько слов, кроме Джузеппино, тот как местный житель здесь.

Странно было оказаться среди итальянцев, живущих в изгнании в Швейцарии. Альфредо, смуглый холостяк, — парень, воспитанный в старых традициях. Но даже он — объект, достойный внимания для новых целей, такое впечатление, что всем руководит некая сильная, новая воля, поработившая и его, впечатлительного и бездумного. Словно он согласился на какие-то условия, поставленные перед ним. В этом он отличался от Грубияна, в этом он находился в подчинении неких инородных понятий.

Странно было следить за ними, за тем, как эти итальянцы, в постоянном движении, податливые, горячие, впечатлительные, двигались по сцене, будучи инструментом в руках Джузеппино, сохранявшего спокойствие, собранного, отстраненного. На его лице было выражение целеустремленности, почти самозабвения, что выделяло его из всех прочих, делало его среди прочих символом стабильности и постоянства. Они ссорились между собой, он выжидал до определенного момента, потом осаживал. Он разрешал им играть по собственному усмотрению, пока они хоть как-то оставались верны его замыслу, пока придерживались общего рисунка пьесы.

Они беспрерывно пили пиво и курили. Альберто был у них барменом: то и дело выходил с пустыми стаканами. У Маддалены был маленький стакан. Вот так в свете лампы, падавшем на сцену, эта маленькая труппа читала, курила и репетировала перед пустой темнотой большой комнаты. Крошечная, трогательная волшебная земля была такой необычной и изолированной от безликой, пустой Швейцарии. Я даже поверил в старые сказки, в которых, когда открывается вход в пещеру, оттуда появляется волшебное подземное царство.

Альфредо, пылающий румянцем, возбужденный, красивый, очень мягкий, объятый жаром, смеялся и принимал разнообразные позы, смех его был глупым, но в конце концов он целиком отдался игре. Альберто, медлительный и тяжеловесный, не без искры живости и естественного напряжения, отвечал ему и жестикулировал; Маддалена опустила голову на грудь Альфредо, другие участники вступили в игру, и пьеса почти полчаса жила своей жизнью на сцене.

Быстрый, живой и сообразительный, маленький Джузеппино был постоянно в центре. Но казался почти невидимым. Вспоминая этот эпизод, я почти не представляю его, только других, свет лампы на их лицах и полных руках, которыми они оживленно жестикулировали. Представляю Маддалену, довольно грубую, отталкивающую, суровую, произносящую свои слова громким, почти бесстыдным голосом, припавшую к груди Альфредо, такому мягкому и впечатлительному, женственному, горящему румянцем, с влажными губами и глазами, находящемуся в сильнейшем волнении. Я представляю Альберто, медлительного, тяжеловесного, с естественной, изначальной простотой всех движений, что придавало его полноватой, обычной внешности красоту. Потом передо мной возникали двое других — робкие, вспыльчивые, неинтеллигентные, с неожиданными чисто итальянскими вспышками страсти. Их лица отчетливо видны в свете лампы, а их тела — осязаемые и впечатляющие.

Но лицо Джузеппино напоминает бледное пламя, проблеск среди красного света, а его фигура незаметна, будто тень. И все его существо довлеет над остальными, исключение составляет женщина, она жесткая, не поддающаяся чужой воле. Мужчины кажутся уменьшенными в размерах под напором воли их маленького руководителя. Но они очень мягкие, податливые, хоть и вспыльчивые.

Девушка, племянница хозяйки, спустилась в комнату и что-то крикнула.

— Мы сейчас уходим, — сказал мне Джузеппино. — Они в одиннадцать часов закрываются. По соседству есть другая гостиница, она открыта всю ночь. Пойдемте с нами, выпьем вина.

— Но вы предпочитаете остаться без посторонних, — ответил я.

Напротив, они стали уговаривать меня пойти с ними, сказали, что настаивают, чтобы я пошел, они жаждали развлечь меня. Альфредо, румяный, с влажными губами, разгоряченный, требовал, чтобы я выпил вина, настоящего красного итальянского вина из их родной деревни. Они и слышать не хотели мои отказы.

Я сказал об этом хозяйке. Она предупредила меня, что я должен вернуться не позднее двенадцати часов.

Ночь была очень темной. Под дорогой бежал ручей, на его другой стороне стояла большая фабрика, от которой падали рябые отблески света, а сквозь освещенные окна можно было увидеть неясные контуры работающих станков. Рядом стояло высокое здание, в котором жили итальянцы.

Мы прошли мимо беспорядочно разбросанных убогих домиков деревни, тянувшейся вдоль ручья, перешли небольшой мостик, поднялись наверх холма, с которого я спустился раньше.

И добрались до кафе. Внутри все было совсем не так, как в немецкой гостинице, но и не так, как в итальянском кафе. Зал был ярко освещен, чистый, новый, на столиках — красно-белые скатерти. Нас встретили хозяин и его дочь, рыжеволосая девица.

Они поздоровались живо, открыто, в итальянской манере. Но в этой открытости присутствовала и другая нота — легкий отголосок сдержанности, ведь они оберегали себя от внешнего мира, создавая свою особую общность людей, свое землячество.

Альфредо стало жарко, он снял плащ. Мы сели за длинный стол, а рыжеволосая девушка принесла кварту красного вина. За другими столиками мужчины играли в карты, в забавные неаполитанские карты. Они тоже говорили по-итальянски. Здесь был островок теплой, пышущей здоровьем Италии посреди холодной тьмы Швейцарии.

— Когда вы окажетесь в Италии, — говорили они мне, — поприветствуйте ее от нас, поклонитесь солнцу и земле, поклонитесь l'Italia*.

Мы выпили за здоровье Италии. Они посылали со мной свои приветствия своей стране.

— Знаете, в Италии всегда солнце, солнце, — сказал мне Альфредо взволнованно, губы его были влажными, он немного опьянел.

Я вспомнил Энрико Персевалли и его преисполненный ужаса крик: «Il sole, il sole!»**

Мы поговорили немного об Италии. Они испытывали к ней нежность, в которой проскальзывали боль и грусть, но говорили они о ней сдержанно, будто таясь от кого-то.

— А вы не собираетесь вернуться? — спросил я, надеясь услышать от них определенный ответ. — Не хотите когда-нибудь вернуться?

— Да, — ответили они. — Обязательно вернемся.

Но отвечали они сдержанно, неохотно. Мы говорили об Италии, о песнях, карнавале, об итальянской кухне, о поленте, о соли. Они смеялись, когда слушали, как я пытался однажды разрезать поленту бечевкой, это их очень развеселило, они мысленно перенеслись в *mezzogiorno****; когда на часовне звонят колокола, а они после тяжелой работы в поле обедают.

В их смехе звучали легкая боль, и насмешка, и любовь — каждый из нас испытывает подобные чувства к своему прошлому после того, как он распрощался с ним, с обстоятельствами, определявшими его жизнь раньше.

Они страстно любили Италию, но туда они ни за что не вернутся. Душой и телом они оставались итальянцами, они тосковали по итальянскому небу, по родной речи, по эмоциональной, чувственной жизни. Ведь они были способны жить только чувствами. Их ум дремал, в умственном развитии они оставались детьми, любящими, наивными, хрупкими детьми. Но чувствами они были мужчинами — чувства их были зрелыми.

И, тем не менее, в них прорастал новый крошечный цветок — цветок нового духа. Суть Италии всегда была языческой, чувственной, а самый мощный символ ее — сексуальный. И младенец на самом деле не был для них христианским символом, а знаком торжества вечной жизни, которую обретают люди, продолжая свой род. Поклонение Кресту никогда не был святыней в Италии. Христианство Северной Италии там не прижилось.

И теперь, когда Северная Европа отворачивалась от своего христианства, отрицая его, итальянцы восстали со всей мощью и энергией против чувственного духа, довлеющего над ними. Когда Северная Европа, независимо от того, ненавидела она Ницше или нет, начала взывать к дионисийскому экстазу, обучаясь ему на практике, Южная Европа стала освобождаться от культа Диониса, от идеи победы жизни над смертью, обретения бессмертия в продолжении рода.

И я понял, что эти сыны Италии никогда не вернутся на родину. Паоло, Грубиян и подобные им парни уехали для того, чтобы непременно вернуться домой, пусть и не в старую Италию. Власть привычного уклада была слишком сильной для них. Назовите это любовью к стране или к деревне, *campanilismo**, или к чему-то еще, это была власть старой языческой формы, старая идея бессмертия в продолжении рода — в противовес христианской доктрине бессмертия в умерщвлении собственного «я» и в любви к ближнему.

«Джон» и итальянцы, жившие в Швейцарии, были поколением более молодых людей, и они ни за что не вернутся, по крайней мере не вернутся в старую Италию. Может, им и приходилось страдать, они действительно страдали, дрожа всеми фибрами души от холодной, материалистической бесчувственности северных стран и Америки, но они будут и впредь претерпевать эти страдания во имя других желаний. Они готовы даже принять на себя физические муки, как «Джон», когда он дрался с уличными хулиганами; мои собеседники годами испытывали мучения, загнанные в черную, мрачную, холодную швейцарскую долину, работая на фабрике. Но в результате в горниле страданий рождался новый дух.

Даже Альфред поддался новым веяниям, хотя по характеру он был точно такой, как Грубиян, — воплощение эмоций и глупости. Но под влиянием Джузеппино он, как непаханая целина, попал под плуг новых вежий.

А потом, когда все захмелели, Джузеппино заговорил со мной. В нем горело негасимое пламя, негасимое, негасимое пламя рассудка, духа, чего-то нового и чистого, чего-то, что покоряло даже пустоголового, эмоционального Альфредо, не говоря уж об остальных, а ведь Альфредо был совсем пустоголовым парнем.

— *Sa signore*, — сказал мне Джузеппино тихо, почти незаметно, неслышно, словно ко мне обращался дух, — *l'uomo non ha patria*, у человека нет родины. Что итальянское правительство сделало для нас? Что вообще такое — правительство? Оно заставляет нас работать, отбирает у нас часть заработанного нами, отправляет нас в армию — зачем? Для чего нужно такое правительство?

— Вы служили в армии? — перебил я его.

Нет, и никто из приятелей не служил, поэтому им дорога в Италию заказана. Теперь мне стало все ясно, этот факт отчасти объяснял их странную сдержанность, когда они говорили о своей любимой стране. Они потеряли родителей и родину.

— Что делает правительство? Собирает налоги, у него армия и полиция, строит дороги. Но нам не нужна армия, мы сами себе полиция и сами можем строить дороги. Что это за

правительство такое? Кому оно нужно? Только негодяям, которые норовят нагреть руки на других. Правительство — инструмент несправедливости и зла.

— Зачем нам правительство? Здесь в деревне около тридцати итальянских семей. У них нет никакого правительства, и итальянского тоже нет. И нам в нашем землячестве живется лучше, чем в Италии. Мы стали богаче и свободнее, у нас нет полиции, нет глупых законов. Мы помогаем друг другу, и среди нас нет бедняков.

— Почему правительства вечно делают то, чего нам и не нужно? Мы бы не стали сражаться в Киренаике, если бы мы были все итальянцами. Это козни правительства. Они мелют языком и крутят нами, но нам они не нужны.

Его приятели, захмелев, сидели вокруг стола с невыразимой серьезностью детей, которых в чем-то обвиняют, а они даже не понимают, о чем идет речь. Они ерзали на стульях, отворачивались, вид у них был, как у узников тюрьмы. Только Альфредо, положив свою руку на мою, легко и радостно смеялся, а лицо его пылало. Вот такой Альфредо может испугать любое правительство, стоит ему только повести своими могучими плечами. Он смеялся до слез.

Джузеппино терпеливо выслушивал пьяную исповедь своих друзей, его бледный, чистый цвет красивого лица не менялся, напоминая свет звезды, а его миловидный, глуповатый приятель Альфредо пылал ярким румянцем. Джузеппино терпеливо ждал, поглядывая на меня.

Но я не хотел больше его слушать: не хотел отвечать. Я чувствовал в нем иной, новый дух, нечто непривычно чистое и немного пугающее. То, к чему он призывал, мне было неподвластно. Душа моя обливалась слезами, беспомощно рыдая, как младенец в ночи. Я не мог отвечать, потому что у меня не было для него ответа. Он смотрел на меня, англичанина, человека образованного, ища поддержки и одобрения. Мне был понятен пафос новой справедливой борьбы за рождение истинного, подобного звезде, духа. Но я не мог поддержать его монолог, в моей душе не было отклика. Я не верил в совершенство человека. Не верил в идеальную гармонию людей. Эта вера была его путеводной звездой.

Скоро полночь. В кафе зашел швейцарец, заказал пива. Итальянцы, сидевшие в зале, замкнулись в себе, примолкли, превратившись в странное темное пятно. Мне пора уходить.

Они дружелюбно, сердечно распрощались со мной, испытывая ко мне, носителю каких-то новых знаний, полное доверие. Но на лице Джузеппино появилось выражение стойкой, спокойной решимости, несгибаемой веры, которую не сломить разочарованием. Он протянул мне маленькую газету анархистов, выходящую в Женеве. «L'Anarchista»* — так, кажется, она называлась. Я полистал ее. Она была на итальянском языке, наивная, простая, но в ней было много риторики. Значит, эти итальянцы все анархисты.

Я сбежал с холма в кромешной швейцарской тьме — пересек мост, потом пошел по кривым, выложенным булыжником улицам. Не хотелось ни о чем думать, ничего знать. Хотелось умерить свою активность, попридержать ее до нужного момента, до следующего приключения.

Я подошел к каменным ступенькам, ведущим в мою гостиницу, и заметил в темноте две фигуры. Они тихо попрощались и расстались, девушка принялась стучать в дверь, а юноша удалился. Это племянница хозяйки рассталась со своим возлюбленным.

Мы стали ждать подле запертой двери на крыльце, во тьме ночи. Внизу журчал ручей. Изнутри слышались крики и неразборчивая брань, но щеколду так и не отодвинули.

— Это господин, тот самый странный господин! — крикнула девушка.

Снова загремели дикие вопли хозяина.

— Вон отсюда, вон отсюда! Я не открою вам дверь!

— Это тот самый странный господин! — повторила девушка.

Послышался шум, внезапно дверь распахнулась, хозяин бросился на нас, размахивая метлой. Необычная возникла картинка на фоне полуосвещенного проема. Я, ничего не понимая, смотрел на него с крыльца. Хозяин опустил метлу и, глядя на меня, сник, словно по волшебству, правда, продолжал бормотать что-то невнятное. Девушка проскользнула мимо меня, хозяин снова завопил. Потом поднял метлу, не переставая кричать:

— Вы опоздали, дверь заперта, мы ее не откроем. Мы вызовем полицию. Сказано — двенадцать часов, в двенадцать часов дверь закрывается, и ее вам не откроют. Раз опоздали, оставайтесь на улице...

Он отправился к себе на кухню, продолжая кричать все громче и громче.

— Вы сразу к себе в комнату подниметесь? — спросила спокойно хозяйка. И повела меня наверх.

Окна моей комнаты выходили на улицу, в ней было чисто, но страшно неуютно; там стояла огромная жестяная банка то ли из-под свинины, то ли из-под швейцарского молока — она служила умывальником. Но постель оказалась вполне сносной, а это самое главное.

Я слышал вопли хозяина, с глухим стуком что-то где-то падало: бух, бух, бух — раздавались удары. Интересно, что это может быть? Непонятно, откуда именно доносится этот грохот, — моя комната находилась за другой большой комнатой, мне пришлось пройти через нее, обогнув две кровати, чтобы попасть в свою; я совсем не ориентировался, где что в доме находится.

Я уснул, тщетно пытаюсь понять это.

Проснулся утром, умылся в жестянке. По улице напротив неторопливо прогуливались редкие прохожие — наступило праздное воскресное утро. В Англии по воскресеньям так же; я вовсе не горел желанием делить с ними эти часы безделья. Не хотел видиться с итальянцами. Фабрика, большая и мрачная, стояла неподалеку, возле ручья, рядом с ней здания из серого камня. Вся остальная деревня умещалась на одной кривой улице, годы не изменили ее.

Хозяин был тихим, рассудительным, даже дружелюбным. Норовил побеседовать со мной; первым его вопросом было — где я купил ботинки. В Мюнхене, сказал я. А сколько они стоят? Двадцать восемь марок. Они поразили его воображение: какие отличные ботинки, мягкие, кожа крепкая, красивая, давненько он таких не видел.

Потом я узнал, что он мне их почистил. Я представил себе, как он щупает их, любуется ими. Он мне даже стал нравиться. Наверно, когда-то у него было богатое воображение и тонкая натура. Пьянство погубило его, теперь ничего человеческого в нем не осталось. Эта деревня мне стала ненавистна.

К завтраку дали хлеб с маслом и куском сыра весом около пяти фунтов, большие, свежeweypеченные, сладкие булки. Я остался доволен завтраком — кормили тут прекрасно.

Пришла пара юношей в праздничной одежде. Они вели себя по-воскресному чинно, скованно. Их поведение напомнило мне чопорность и забавную самоуверенность, которые овладевают всеми англичанами в выходные дни. А хозяин сидел в распахнутом сюртуке, рубаха обтягивала его толстый живот, он, опустив свое разрушенное пьянством лицо, говорил, говорил без передышки, обуреваемый любопытством.

Через несколько минут я был снова в пути, благодарил Господа за то, что он благословил меня на путешествие по дороге, никому не принадлежавшей, — я шел прочь от людей.

Не хотел больше встречаться с итальянцами. Что-то мешало мне, я не выдержал бы свидания с ними; но по какой причине мой мозг замирал, как часовой механизм, как только я начинал думать о них, о том, как они будут жить, об их будущем, — непонятно. Словно странная

отрицательная магнитная сила сковывала мой мозг, не давая ему работать, в то самое мгновение, когда я вспоминал итальянцев.

Не понимаю, почему так произошло. Но я не смог писать им, думать о них, даже не смог прочитать газету, которую они мне дали, хотя долгие месяцы она валялась у меня в ящике стола в Италии и я частенько прочитывал не больше шести строчек оттуда. И часто, очень часто в своих воспоминаниях я возвращался к той компании, к пьесе, которую они репетировали, к вину в уютном кафе, к ночи. Но в то самое мгновение, когда в моей памяти всплывает все это, душа моя замирает; нет, я не могу обо всем этом думать. Даже и теперь я не могу о них думать.

Я против своей воли отстраняюсь от этих воспоминаний. Не понимаю, отчего это происходит.

Возвращение

Если идешь пешком, надо направляться на запад или на юг. Когда поворачиваешь на север или на восток, это равносильно тому, что двигаешься в *cul de sac*, в тупик.

Так уж сложилось с тех пор, как участники крестовых походов возвращались домой, опьяненные своими приключениями, а во времена Возрождения путники, глядя в небо в сторону запада, видели на нем арку в будущее. Так и нынче. Надо направляться на запад или на юг.

Грустно, печально идти из Италии даже во Францию. А до чего же радостно путешествовать пешком на юг Италии, на юг и на запад! И когда держишь путь в Корнуэлл, в Ирландию, испытываешь подъем чувств. Словно юго-запад и северо-восток — магнитные полюса для нашего духа, благотворнее всего для нас — юго-западный полюс на закате солнца. Так что пока я брел по Швейцарии, хотя дорога моя пролегла по долине печали и уныния, казалось, из-под моих ног вылетали искры радости движения вперед.

Я покинул долину, где жили итальянцы, воскресным утром. Быстро пересек ручей и пошел в Люцерн. Как здорово оказаться на просторе, с рюкзаком за плечами, подниматься вверх по холму! Вдоль дороги плотной стеной росли деревья; я еще не обрел полной свободы. Было тихое, спокойное воскресное утро.

Через два часа я дошел до вершины холма, возвышавшегося над долиной подле большого озера Цюрих, она была окружена низкими холмами, напоминая рельефную карту. Не мог даже смотреть на нее, такая она была крошечная, просто нереальная. У меня возникло ощущение, что все это ненастоящее, просто большая рельефная карта, которую я вижу сверху и которую мне надо уничтожить. Казалось, она преградила мне путь в некую реальность. Я не мог поверить, что мир, простершийся подо мной, — тоже реальный. Это была подделка, нечто искусственное, напоминающее унылый пейзаж, нарисованный на стене, который скрывает подлинный.

Я пошел дальше, теперь уже спускаясь по другому склону, снова глянул вниз. Все те же затянутые дымкой холмы и зеркало озера. Но холмы стали выше: самый большой — это Риги. Я стал спускаться вниз.

Внизу — тучная, плодородная земля и несколько деревень. Над ними возвышается церковь. Прихожане возвращались домой: мужчины в черных костюмах и серых цилиндрах, с зонтиками; женщины в некрасивых платьях, с книжками и зонтиками. Улицы были испещрены этими темными пятнами черных костюмов мужчин и чопорных женщин, превратившихся в безликую воскресную толпу. Мне ненавистно подобное зрелище. Оно напомнило мне картину из моего детства, эта чопорная, безликая «благопристойность», которая подавляла нас по воскресеньям,

будто в спазме, зажимала нас. Я ненавидел этих взрослых в их черной одежде, их ничего не выражающие лица, когда они важно шествовали домой на свой воскресный обед. Мне ненавистен был дух этих деревень — дух благополучия, комфорта и благопристойности.

Я натер два пальца на ноге. Вечная история. Я вышел на широкую, болотистую низину. В миле от деревни присел возле каменного моста у ручья, разорвал носовой платок и перебинтовал пальцы. И пока я бинтовал их, я заметил двух мужчин в черном с зонтами под мышкой, которые шли из деревни в мою сторону.

Я дико разозлился, поскорее зашнуровал ботинок и поспешил в путь, чтобы они не успели остановить меня. Не выношу их манеры и речь, такие приземленные и лживые.

Пошел дождь. Я как раз спускался с невысокого холма. Присел под куст и стал наблюдать, как с деревьев падают капли. Как же мне здесь хорошо — без дома, без конкретного места обитания, я ничей, спрятался под листвой в кустарнике подле дороги, такое ощущение, словно я — послушник и мне принадлежит вся земля. Мимо шли мужчины с поднятыми воротниками, от дождя их черная одежда на плечах еще больше почернела. Они не видели меня. Я был в безопасности, был сам по себе, словно призрак. Я доел остатки продуктов, что купил в Цюрихе, и стал пережидать дождь.

Позже, в сырой воскресный полдень, я добрался до маленького озера, обходя стороной вялых, безликих, приземленных людей, что ехали по отвратительной дороге в трамвае. Близ города душная атмосфера воскресного дня делается совсем нестерпимой.

Я двигался вдоль поросшего тростником берега окутанного паром озера. И неожиданно для себя оказался на маленькой вилле, стоявшей у воды, — решил выпить там чая. В Швейцарии каждый дом — вилла.

На этой вилле жили две старые дамы и маленькая собачонка, которой ни в коем случае нельзя было промочить лапки. Мне было там очень хорошо. Мне предложили вкусный джем и диковинные медовые пироги к чаю, которые мне понравились; а маленькие старые дамы суетились вокруг, кружа, как два высохших листа, пытаясь поймать свою непоседливую собачонку.

— А почему ей нельзя на улицу? — поинтересовался я.

— Потому что сыро, — отвечали они, — а она кашляет, и у нее насморк.

— Без носового платка не очень-то angenehm*.

Мы подружились.

— Вы австриец? — спросили они у меня.

Я ответил, что я из Граца, что мой отец — врач в Граце и что я путешествую пешком по Европе, просто так, ради удовольствия.

Я так сказал, потому что знаю одного врача в Граце, который был постоянно в пути, а еще потому, что не хотел быть самим собой, англичанином, с этими милыми дамами. Хотел быть кем-нибудь другим. Так мы поделились нашими тайнами.

Они поведали мне — говорили они забавно, как и подобает беззубым старушкам, — о своих посетителях, о человеке, который целыми днями удит рыбу, каждый день вот уже три недели подряд, хотя часто ничего не удается поймать — совсем ничего — но он продолжает удить с лодки; словом, наговорили всякой ерунды. Потом поведали о своей третьей сестре, которая умерла, о третьей маленькой старушке. Чувствовалось, что они тяжело переживают эту утрату. Они заплакали, а я, австриец из Граца, к своему удивлению, понял, что плачу и слезы каплют на стол. Мне тоже стало жаль старушку, я готов был поцеловать маленьких стареньких дам, чтобы утешить их.

— Только на небесах тепло и не идет дождь, и никто не умирает, — сказал я, глядя на мокрую листву.

Потом я ушел. Я бы с радостью остался на ночь в этом доме, но я слишком далеко зашел в своей игре в австрийца.

И мне пришлось заночевать в отвратной городской гостинице. А на следующий день я карабкался вверх по склону отвратного холма Риги, на котором стояла эта отвратная гостиница, чтобы добраться до Люцерна. Там, на склоне Риги, я повстречал заблудившегося молодого француза — он не говорил по-немецки и пожаловался мне, что в этих краях никто не понимает французский. Мы присели на камень и вскоре подружились, я пообещал ему, что непременно приеду к нему в Алжир — он там будет жить в казармах; мне на самом деле надо было из Неаполя плыть в Алжир. Он записал мне свой адрес на визитке и сказал, что в полку у него есть друзья, с которыми он меня познакомит, и мы все вместе отлично проведем время, если я останусь на недельку-другую в Алжире.

Насколько более реальным стал для меня Алжир, чем этот камень, на котором мы сидели на Риги, чем озеро внизу и горы позади нас! Он стал совсем реальным, хотя я никогда не был там, а новый друг — стал мне другом навеки, хотя я потерял его визитку и забыл его имя. Перед тем как приступить к военной службе, он, чиновник из Лиона, решил отправиться в свое первое заграничное путешествие. Он показал мне свой «единый экскурсионный билет». Потом мы все-таки расстались, ему предстояло добираться до вершины Риги, а мне — до подножия.

Люцерн и озеро были, как обычно, мерзкие — точно обертка от молочного шоколада. Я не смог бы остаться там даже на одну ночь, сел на пароход, плывущий вниз по озеру, и добрался до конечной станции. Там я нашел хорошую немецкую гостиницу и очень обрадовался этому.

В гостинице я увидел высокого худого юношу с обгоревшим на солнце лицом. Наверно, решил я, — немецкий турист. Он только что появился здесь, пил молоко с хлебом. Кроме нас, в столовой никого не было. Он листал иллюстрированный еженедельник.

— Пароход будет здесь стоять всю ночь? — спросил я его на немецком, услышав, как он шумит поблизости, выпуская пары, и поглядев на красные и белые огоньки, бегущие по темной воде.

Он лишь покачал головой, не отрываясь от своей трапезы.

— Вы англичанин? — спросил я.

Только англичанин способен прятать лицо в стакане с молоком и конфузливо качать головой с красными ушами.

— Да, — последовал ответ.

Я чуть из кожи вон не выпрыгнул, услышав лондонский акцент. Словно неожиданно оказался в подземке.

— Я тоже. А откуда вы?

И он принялся объяснять мне, словно генерал, растолковывающий план действий. Он прошел над тоннелем Фурка пешком, был в пути дня четыре или пять. Огромный путь проделал. Не зная немецкого и никогда раньше не путешествуя в горах, он один отправился в этот путь: у него были десятидневные каникулы. Так вот, он добрался до Ронского глетчера в Фурка, потом спустился с Андерматта к озеру. В последний день он прошел около тридцати миль горной дорогой.

— И вы не устали? — спросил я в полном недоумении.

Устал. Несмотря на его внешность — красное, обожженное солнцем, обветренное морозным воздухом и снегом лицо, он был измотан. За последние четыре дня он прошагал больше сотни миль.

— Вам понравилось ваше путешествие? — спросил я.

— Да. Я хотел пройти этот путь до конца. — Он хотел, и он прошел!

Но Господь знает, зачем ему это было надо. Он остановится на один день в Люцерне, на один день в Интерлакене и Берне, а потом вернется в Лондон.

В глубине души я посочувствовал ему, он чертовски устал, хотя и ощущал себя могучим победителем.

— Зачем вы проделали этот путь? — спросил я. — Зачем шли пешком через равнину, могли же доехать поездом? Стоило ли?

— Полагаю, да, — ответил он.

А ведь он был измучен и утомлен. Взгляд тусклый, невидящий: похоже, он утратил способность видеть, ослеп. Он наклонял низко голову, когда писал открытку, словно выводил буквы по памяти. Он повернул открытку, чтобы я не прочитал адрес, да я и не любопытствовал, просто отметил его незаметный, осторожный жест — чисто английский инстинкт не посвящать в свою жизнь посторонних.

— Когда вы собираетесь снова в путь? — спросил я.

— А когда отходит первый пароход? — спросил он и открыл путеводитель с расписанием. Он хотел бы отплыть в семь утра.

— Почему так рано? — удивился я.

Ему надо быть в Люцерне в определенное время, а к вечеру — в Интерлакене.

— Надеюсь, вы отдохнете, когда вернетесь в Лондон? — поинтересовался я.

Он бросил на меня быстрый, напряженный взгляд.

Я пил пиво, предложил ему присоединиться. Он подумал какое-то мгновение, потом заказал себе еще стакан горячего молока. Подошел хозяин гостиницы.

— Хлеба принести? — спросил он.

Англичанин отказался. Сказал, что не может есть. Да он к тому же еще и бедный, должен экономить деньги. Хозяин принес молоко и попросил меня узнать, когда этот господин собирается уезжать. Я помог хозяину и незнакомцу объясниться. Но англичанин чувствовал себя неуютно от моего вмешательства. Не хотел, чтобы я знал, что он заказывает на завтрак.

Я чувствовал, что он был рабом Молоха. Да, он батрачил целый год в Лондоне, ездил в подземке, вкалывал в офисе. Потом его отпустили на десять дней. Он поспешил в Швейцарию, наметив заранее план передвижения, у него было достаточно денег, чтобы осуществить его и купить подарки в Интерлакене — кое-что из эдельвейсской керамики; я представил, как он возвращается домой с сувенирами.

И он очутился здесь, переполненный странным, патетическим мужеством, отправился пешком по незнакомой стране, встречался с незнакомыми хозяевами гостиниц и постоялых дворов, имея в запасе лишь английский язык и весьма ограниченное количество денег. И тем не менее он решил пройти горной дорогой, добраться до глетчера. Он шел и шел вперед, как одержимый. Ему весьма подошла бы кличка Альпинист.

А потом он дошел до вершины Фурка, чтобы пройти мимо кромки глетчера и спуститься вниз по тому же склону! Господи, это убило меня. Он сидел здесь, спустившись с гор, готовясь отправиться в обратный путь — пароход, поезд, пароход, поезд, подземка, пока снова не окажется в когтях Молоха.

Молох не отпустил его, и он понимал это. Молох — причина его бесконечной, мучительной усталости, он подверг его суровому испытанию на прочность. Ему, этому человеку, склонившемуся над стаканом молока, когда я обратился к нему на немецком языке, не нужно было обладать особым мужеством, отправляясь в первое путешествие за пределы Англии, один, пешком!

Но глаза его были темными, полными непостижимого мужества. Да, утром он двинется в обратный путь. В обратный путь. Ему нужно было набраться мужества, чтобы вернуться. И он вернется, хотя все в нем постепенно умирало. Почему? Возвращение убивало его, эта дорога была равносильна жизни под грудой железа. Но у него хватало мужества покориться, идти к своей смерти этим путем, ибо такова была его судьба.

Смотреть, как он навис в изнеможении над столом, как пьет молоко, хотя воля его не сломлена, она торжествует победу, а тело — разбито и истерзано, было выше моих сил. Сердце мое разрывалось от жалости к моему соотечественнику, разрывалось, истекало кровью.

Мне не под силу было понять моего соотечественника, человека, зарабатывающего тяжким трудом себе на жизнь, впрочем, как и я, как почти все мои соотечественники. Он не сдастся. На следующие каникулы он снова отправится в путь, чтобы достичь поставленной цели, отправится пешком; и неважно, сколь тяжкими будут усилия, потраченные на это, он не даст себе отдыха, он не сделает свою цель более легкой, ни на йоту не сделает себе поблажку. Тело его выполнит все, что он от него потребует, пусть и будет претерпевать мучения.

Все это мне казалось величайшей глупостью. Я едва сдерживал слезы. Он пошел спать. Я вышел к темному озеру, потом поболтал с девочкой, работавшей в гостинице. Она была миленькой, да и гостиница была милой, домашней, уютной. Здесь человек может быть счастлив.

Утро было солнечным, озеро — голубым. К вечеру я буду у цели своего путешествия. Я был в хорошем настроении.

Англичанин уплыл. Я поискал его фамилию в журнале постояльцев. Она была написана красивым почерком чиновника. Он жил на Стритхеме. Внезапно я почувствовал к нему ненависть. Болван, так вкалывать всю жизнь! Что за низкая душа — почти садистская, гордая, как у мерзких красных индейцев, способных вытерпеть любые истязания.

Подошел хозяин побеседовать со мной. Он был толстым, спокойным и чрезмерно любезным. Но я должен был рассказать ему, как провел свой отпуск англичанин, чтобы устыдить его, толстого, нудного, невыносимо благополучного владельца гостиницы. Но я услышал от него, воплощенного довольства и спокойствия, лишь только:

— Да, очень долго он шел.

И тогда я тоже отправился в путь — по равнине, что замкнули тесным кругом горы со снежными шапками, слепившими меня своей белизной; я карабкался, маленький, как насекомое, по темной, холодной долине.

Ранним утром открылась ярмарка, поэтому стада скота заполонили дорогу, звякали колокольчики, у животных были глуповатые морды, испуганные глаза, порой кто-то из них начинал бодаться. Трава у дороги и у воды была очень зеленой, склоны гор, нависавших по обе стороны, были очень темными, а небо со снежными хлопьями и вершинами гор — очень высоким.

Здесь, вдали от мира, ютились тихие и темные деревеньки — их бросили на произвол судьбы. Они были окружены той же пьянящей атмосферой забвения, отрешенности от прочего

мира, что и старые английские деревни. А когда я покупал яблоки, сыр и хлеб в маленькой лавке, которая торгует всем подряд, я почувствовал себя дома.

Но, забираясь все выше и выше, миля за милей, в тени высоких гор, я понял, что рад, что не живу в Альпах. Деревеньки на склонах, их жители, казалось, обречены постепенно, по частям, отслаиваться и падать в воду, которая унесет их в море. Разбросанные тут и там маленькие деревеньки ютились на склонах, вверх горы, рядом с влажными, зелеными, будто висящими в воздухе лугами, по краю которых росли пинии, а далеко внизу распростерлась долина, а над головой — утесы, по обе стороны от тебя, эти деревушки казались временной стоянкой изгоев, захвативших чужую землю. Невозможно было поверить, что они поселились тут надолго — под могучими тенями, нависающими над ними, как злой рок, во всполохах короткого солнечного света, как окно в день. Тут царил дух мимолетности и ожидания. Казалось, вот-вот произойдет чудовищное землетрясение и горы рухнут в свои тени. Долина напоминала глубокую могилу, а склоны гор — ее рушащиеся стены. Горные вершины, сияющие необыкновенным снегом, воспринимались, как смерть, извечная смерть.

Казалось там, в сияющем снегу, — источник смерти, катящейся гигантскими волнами тени и камня вниз, до самой земли. И все, кто живет в горах, на их склонах, в долинах, казалось, существуют под дамокловым мечом этой рушащейся вниз волны смерти, разрушения, уничтожения.

А сам источник разрушения, расчленения, сама хладная смерть — в снежных вершинах над головой. Там постоянно происходят образования кристаллов из смертельного холода небес, именно там — неизменное ядро, основа основ мироздания, где смерть встречается с жизнью. И оттуда, из белого, сияющего ядра смерти, в жизнь извергается и мчит вниз могучий поток, устремляясь к живому, к теплу. А мы внизу не в состоянии помнить об этом потоке сверху, низвергающемся от острия снежной вершины, несущем смерть и хлад.

Люди, живущие у подножия гор, казалось, существуют в этом смертельном потоке — последние, странные, погрузившиеся в тень звенья жизни. Над ними нависают гигантские тени волны, и ее шум, шум ледяной воды, падающей вниз из источника смерти сверху, не прекращается.

А люди, обитающие под этими тенями, привыкли к шуму снега и ледяной воды, они — смуглые, отвратные, грубые. Повсюду — гостиницы и иностранцы, паразитизм. А еще там незаметные, прячущиеся в тени, вверху на склонах, мрачные люди гор, приютившиеся на склонах и в пещерах. В низинах люди тоже робкие, зажатые. Но они переняли от иностранцев новую манеру поведения. А в городках — одни лишь торгошники.

Я медленно забирался наверх в течение всего дня, сначала по проезжей дороге, потом под серпантинном железной дороге, а иногда и над ним — потом шел по тропке вдоль склона холма — тропке, что вела меня мимо дворов разбросанных тут и там фермерских хозяйств, даже мимо сада деревенского священника. Священник украшал крытую аллею к дому. Он стоял на стуле, на самом солнцепеке, подняв в руках гирлянду, а рядом с ним, внизу, стояла служанка и о чем-то громко рассуждала.

Здесь долина стала шире, гигантские горы расступились, а их вершины пропадали вдаль. Так что здесь чувствуешь себя отраднее. Мне стало весело, когда я присел у тоненькой дорожки, прочерченной плоскими камешками, сорвавшимися вниз.

Внизу примостился городишко с фабрикой, или каменоломней, или литейным цехом — над этим местом возвышались длинные дымящие трубы, и я почувствовал себя в этих горах совсем как дома.

Я попал в омерзительный, неустроенный мир мужчин, туда, где шло наступление страшного, губительного, жестокого мира индустрии на мир природы, и видеть это было невыносимо. Казалось, что индустриальная экспансия человечества — проявление бездушного,

холодного стремления все разрушить — неумолимо двигается вперед. Если бы мы способны были думать обо всем мире, а не о крошечных его частях!

Я прошел мимо маленького, уродливого, необустроенного фабричного поселка, стоявшего в горной долине, где сияли вечные снега, мимо огромных реклам шоколада и отелей, приблизился к последнему крутому подъему, там начинался туннель. Гесхенен, деревня у въезда в туннель, представляет собой железнодорожную станцию, где сходятся ветки поездов, разбросанные тут и там виллы для туристов, тут полно торгашей, всюду валяются почтовые открытки, стоят заросшие сорняком вагонетки; беспорядок, стерильный хаос высоко в горах. Как можно здесь жить!

Я поднялся выше, к туннелю. На дорогах и тропинках я встретил разнообразный люд, они зачем-то шли куда-то, ехали на машинах. Близился вечер. Я продолжал медленно подниматься вдоль большой расселины в горе, пока не уперся в железные ворота, миновав их по дороге, что петляла и спускалась вниз, в узкое ущелье могучей горы, дошел до начала туннеля, где висела мемориальная доска в память о погибших здесь русских.

Выйдя из темного каменного туннеля, я попал наверх, на порог верхнего мира. Был вечер, синевато-серый, холодный. По обе стороны широкой дороги была поросшая вереском пустошь. Я дошел до высокогорной дороги, ведущей в Андерматт.

Повсюду в синевато-серой пустоши этого высокогорья сновали солдаты. Я прошел мимо казарм и вилл для туристов. Темнота сгущалась, петляющая, обрывающаяся где-то улица Андерматта казалась чем-то случайным — дома, гостиницы, казармы, пансионы беспорядочно громоздились здесь, это следы цивилизации, преодолевшей этот высокогорный, холодный, безликий мост европейского мира.

Я купил две открытки, написал несколько слов прямо на улице, в синевато-сером, холодном полумраке. Спросил у солдата, где здесь почта. Он показал мне. Я послал их оттуда, будто из Скегнесса или Богнора.

Я пытался заставить себя остаться на ночь в Андерматте. Но не смог. Место там было чудовищно неприятное, безликое, случайное, словно из склада выбросили на дорогу предметы огромной мебели, и они так и остались валяться у дороги. Я брел по улице в сумерках, пытаясь заставить себя остановиться где-нибудь. Смотрел на объявления о сдаче номеров и комнат постояльцам. Безрезультатно. Не мог войти ни в один из этих домов.

Я продолжал идти мимо старых, приземистых, под широкими крышами домов, столпившихся вдоль улицы, торопясь попасть на простор. Было ветрено и дико холодно. По одну сторону дороги — ровная пустошь, по другую — склон лысого холма, кривой, выпуклый, обсыпанный снегом. Я представил себе, как здорово здесь, когда ляжет снег в пять-шесть футов толщиной, кататься на лыжах и санях в Рождество. Не хватает снега. Летом тут и посмотреть не на что — только на детриты, разрушенные зимними морозами.

Мрак сгущался, хотя воздух, благодаря снегу, сохранил льдистую прозрачность. На небе появилась ущербная луна. Мимо проехал автобус с французскими туристами. Как всегда, громко шумела вода, что-то извечное и сводящее с ума было в ее шуме, словно звук самого Времени, грохочущий, торопливый, колеблющийся, ни на секунду не умолкающий. Бег времени сквозь вечность, так звучали ледяные ручьи Швейцарии, смеясь и нарушая наше теплое бытие.

И вот я дошел в темноте до деревушки с разрушенным замком, застывшим навечно на перекрестке дорог — одна тянулась вдоль ущелья до туннеля Фурка, другая, петля до вершины холма, поворачивала налево к Готарду.

В этой деревне мне предстоит остановиться. Я увидел женщину, украдкой цепко поглядывавшую на меня со своего крыльца. Я понимал, что она высматривает постояльцев. Я пошел по неровной улице, поднимавшейся по склону холма. На ней стояли деревянные домишки

и весело игравшая огоньками деревянная гостиница, оттуда доносился смех, на пороге столпились мужчины, они смеялись и болтали о чем-то своем.

Очень трудно оказалось этой ночью зайти в какой-то дом. Не хотелось приближаться ни к одному из них. Вернулся к тому, где на крыльце стояла женщина, высматривающая постояльцев. Она была похожа на курицу-наседку. Такая же всполошенная. Она с радостью пустит к себе жильца — ей нужно платить за аренду.

Дом оказался приятным, чистым, дерево удерживало в нем тепло постоянно. У него, видно, была одна функция — защитить своих жильцов от холода. Мебель здесь была простенькой, как в хижине — столы и стулья около голых деревянных стен. Но человек чувствовал себя здесь спокойно — защищенным от посторонних глаз, как в хижине, закрытым от внешнего мира.

Вошла женщина-курица.

— Мне можно будет здесь переночевать? — спросил я.

— Abendessen, ja!* — ответила она. — Хотите супа с отварным мясом и овощами?

Я ответил утвердительно, сел и стал ждать в полнейшей тишине. Слышал даже журчанье ледяного ручья, тишина тоже казалась ледяной, а дом — пустым. Женщина бесцельно, быстро порхала, окутанная тишиной. Можно было дотронуться до этой тишины, как до стен, камина, стола, покрытого белой американской клеенкой.

Она неожиданно вернулась.

— А что вы будете пить? — Она с волнением наблюдала за выражением моего лица, голос ее звучал торжественно, немного просяще, торопливо.

— Вино или пиво? — уточнила она.

Я боялся пить холодное пиво.

— Полбокала красного вина, — ответил я.

Я понимал, что она настроилась держать меня здесь вечность.

Она вернулась с вином и хлебом.

— После мяса подать вам омлет? — спросила она. — Омлет с коньяком — я очень вкусно его готовлю.

Я понимал, что мне предстоит изрядно потратиться, но я согласился. В конце концов, почему мне не поесть как следует после такой долгой дороги?

Она снова оставила меня одного, в полном одиночестве и в полной тишине, я жевал хлеб и пил вино, отличное вино. Я ловил каждый звук, но ничего не слышал, кроме слабого звука ручья. И диву давался — что меня сюда занесло, на этот альпийский хребет, в освещенную лампой деревянную маленькую комнату, где я сижу один? Что я здесь делаю?

И все-таки я был почему-то доволен, даже счастлив — такая дивная тишина, и холод, и абсолютная изоляция. В этом было нечто вечное, нерушимое: я был свободен в этом тяжком, морозном воздухе, в этом горном мире, в этом одиночестве. Лондон — далеко внизу, Англия, Германия, Франция — они были такими нереальными в ночи. Даже было печально, что континент где-то внизу, такой нереальный, искусственный, несуществующий, бездействующий. Окутанный тишиной человек смотрит на него, человеку кажется, что он утратил для него всякое значение, он для него ничто. Континент, такой большой, потерял всякое значение. Царство мира утратило значение — что в нем делать, разве только бродить по нему?

Женщина принесла мне суп. Я поинтересовался, много ли приходит сюда путешественников летом.

По следам этрусков

1. Черветери

Каждый знает, что этрусками называют народ, населявший Среднюю Италию в ранний период Римской империи; римляне согнали его с обжитых мест, чтобы освободить землю для Рима (с очень большой буквы!), так они обычно поступали с соседями. Они не смогли изгнать всех — слишком их было много, тем не менее этруски как нация со своим укладом и культурой перестали существовать. Это неизбежный результат Экспансии (с прописной буквы) — единственного *raison d'être** для таких людей, как римляне.

Мы почти ничего не знаем об этрусках, кроме того, что нашли в их гробницах. У латинских авторов есть о них упоминания. Но конкретные памятники их культуры стали нам доступны лишь благодаря гробницам.

Поэтому надо посетить гробницы — или музеи, в которых хранятся найденные там предметы.

Я впервые случайно наткнулся на произведения искусства этрусков в музее Перу, и меня невольно потянуло к ним. Кажется, так это обычно и происходит. Тобой внезапно овладевают симпатия или презрение и безразличие. Большинство относится с пренебрежением ко всему не древнегреческому, если речь идет о культурах до новой эры, по той простой причине, что все стоящее должно быть древнегреческим. И потому произведения искусства этрусков отметались как слабое подражание греко-римской традиции. А один великий ученый, Моммзен, вообще подвергал сомнению факт существования этрусков. Сама мысль о них была ему неприятна. Над педантичным пруссаком в нем взял верх тот самый пруссак, что притаился во всепобеждающих римлянах. И, будучи великим ученым-историком, он заявлял, что этрусков вовсе не было. Ему больше нравилось думать именно так. И этого оказалось достаточно для великого ученого-историка.

К тому же этруски были порочными. Мы знаем это со слов их врагов и губителей. Точно так же, как мы знаем о тайниках души нашего врага во время последней войны. А кто не порочен и не злонамерен в глазах неприятеля? Для моих хулителей я — воплощение порока. *A la bonne heure!**

Как бы то ни было, эти чистые, аккуратные в быту, прекрасодушные римляне, сметавшие с лица земли один народ за другим, под предводительством Мессалины, Гелиогабала и подобных им чудищ, эти римляне полагали, что этруски порочны и жестокосердны. Итак, *basta! Quand le maître parle, tout le monde se tait***. Этруски были порочными! Видимо, единственный порочный народ на всем земном шаре. Я и ты, дорогой читатель, мы ведь две чистые снежинки, правда? И мы в полном праве судить обо всем.

Тем не менее, если бы этруски были порочными, думаю, я бы этому только обрадовался. Для пуритан все сущее нечисто, как заметил кто-то. А эти порочные соседи римлян по крайней мере не были пуританами.

Едем к гробницам, к гробницам! Солнечным апрельским утром мы отправились в путь. Из Рима, вечного города, который теперь в черном колпаке. Ехать предстояло не долго — около двадцати миль через Кампанию к морю, по направлению к Пизе.

Раздольные поля Кампании зеленеют всходами зерна, здесь снова поселились люди. Но все еще попадаются унылые пустые участки земли, зато вдоль них растут нарциссы — стайками или целыми лужайками. А еще — луга, зеленые и дымчато-белые от ромашек. Солнечное утро начала апреля.

Мы едем в Черветери, древнее этруское поселение Цере, или Цаере, у него есть еще и греческое название — Атилла. То был веселый и яркий город этрусков, в котором римляне, я так думаю, построили свои первые невзрачные домишки. Как бы то ни было, гробницы там сохранились.

Чрезвычайно полезный, подробнейший итальянский справочник железных дорог сообщает, что Черветери находится от станции Пало в восьми с половиной километрах, то есть приблизительно в пяти милях. Курсирует почтовый автобус.

Мы приезжаем в Пало, на станцию в открытом, безлюдном месте, спрашиваем, ходит ли здесь автобус до Черветери. Нет! На улице стоит старенькая тележка, запряженная старенькой белой лошастью. Куда она везет? В Ладисполи. Мы знаем, что нам не надо в Ладисполи, поэтому начинаем осматриваться. Можем мы нанять хоть какой-нибудь экипаж? Нет, это очень сложно. Всегда так говорят: сложно. Имея в виду — невозможно. Пальцем не пошевелим, чтобы помочь вам. А в Черветери есть гостиница? Они не знают. Они там никогда не были, хотя он в пяти милях отсюда и там гробницы. Что ж, оставим сумки на станции. Их нельзя принять, потому что они без замочков. Но когда кто запирает ручную кладь? Сложно! Ну да ладно, мы все равно оставим, крадите, что хотите. Невозможно! Такая ответственность! Невозможно оставить на станции небольшие сумки — они не заперты. Это администрация на себя не возьмет!

Тем временем мы расспросили обо всем местного жителя в небольшом станционном буфете. Он был немногословен, но весьма рассудителен. Мы оставили свои вещи в углу темной небольшой столовой и отправились в путь пешком. К счастью, было чуть больше десяти утра.

Первые несколько сотен ярдов мы шли по ровной белой дороге вдоль стройных рядов красивых раскидистых сосен. Потом она потянулась возле моря — ровная, вытоптанная, жаркая белая дорога, она была совсем безлюдной, лишь вдалеке маячила тележка, запряженная парой волов, которая смахивала на огромную улитку с четырьмя рожками. Вдоль дороги кое-где росли высокие асфодели, опорошенные розовыми искрами цветков и пахнущие кошками. Слева от дороги было море, дальше — ровное зеленое поле пшеницы; Средиземное море мерцало ровным и неживым светом, как это всегда бывает возле низкого берега. Впереди — холмы и лоскут серого, неказистого городка с уродливыми серыми домиками — это Черветери. Мы тащились по унылой дороге. В сущности, нам надо преодолеть всего лишь пять миль с хвостиком.

Мы подошли ближе, стали взбираться вверх. Цере, подобно большинству городов этрусков, расположился на вершине неприступной скалы. Нет, Черветери — не город этрусков. Цере, город этрусков, был захвачен римлянами, а после падения Римской империи перестал существовать. Но потихоньку он воскрес, и сегодня мы шли к старому итальянскому городку, обнесенному серыми стенами, позади которых стояли коробки новых розовых домов и виллы.

Мы вошли в ворота, на площади отдохали мужчины, о чем-то беседуя, мулы стояли на привязи. А где-нибудь на этих кривых улочках, похоже, нас смогут накормить. Мы увидели вывеску — «Vini e Cucina» — «Вина и кухня», но это оказалась всего лишь глубокая пещера, в которой погонщики мулов пили темное вино.

Все-таки мы рискнули спросить у мужчины, подметавшего автобусную остановку, есть ли здесь еще трактиры. Он ответил, что больше нет, и мы вошли в пещеру, спустившись на несколько ступеней.

Нас встретили весьма дружелюбно. Но еда здесь обычная — мясной бульон, правда, жидкий, с тонкими макаронами, отварное мясо, на котором варили бульон, потроха и шпинат. Бульон безвкусный, мясо и того хуже, а шпинат — боже! — приготовлен на жире от этого мяса! Вот такой обед, а в придачу кусок так называемого овечьего сыра, очень соленого и прогорклого, верно, его привозят из Сардинии; вино смахивает, а может, так оно и есть, на темное вино из Калабрии, от души разбавленное водой. Но это все-таки обед. Мы непременно потом пойдём к гробницам!

В пещеру вошел пастух в сапогах со шпорами и штанах из козлиной шкуры с длинной рыжевато-коричневой шерстью, свисающей лохмотьями с ног. Он ухмыльнулся, выпил вино — вылитый фавн с козлиными ногами. И лицо, как у фавна, не отягощенное моральными установками. Он мирно улыбался и глуховато, робко говорил с виночерпием, который приносил вино из бочки. Ясное дело — фавны боязливы, очень боязливы, особенно в присутствии таких, как мы, современных людей. Он поглядел на нас искоса, отступил, вытер рот тыльной стороной ладони и, выйдя на улицу, забрался на тощего осла; тот покружил на месте и, звонко цокая копытами, затрусил к крепостному валу, а потом — в открытом поле. Фавн, убегающий за пределы города, куда более робкий и ускользящий, чем любая непорочная дева-христианка. Вам не нагнать его.

Я подумал, как нынче редко удастся встретить в Италии человека с лицом фавна, а до войны я частенько сталкивался с ними: смуглое, спокойное лицо с прямым носом, маленькими усами, а иногда и с жиденькой, черной бороденкой, с желтоватыми глазами, очень робко глядящими на вас из-под длинных ресниц, но способными вспыхнуть удивительным светом, с подвижными губами, за которыми поблескивают, когда он разговаривает, ослепительно белые зубы. Этот тип лица издавна был распространен на юге Италии. Но сейчас вам редко доводится столкнуться с человеком с лицом фавна — отсутствующим, равнодушным и невыразительным. Верно, они все погибли на войне. Последний, кого я знал, красивый парень, мой ровесник — лет сорока с хвостиком, — становился с годами чудаковатым и мрачным, его замучили воспоминания о войне, и к тому же он был жесток и деспотичен с женщинами. Наверно, когда я вернусь на юг, он куда-нибудь снова исчезнет. Эти люди-фавны, с их простыми жизненными принципами и странным, освобожденным от моральных установок спокойствием, не способны выжить. Выживают лишь траченные пороком.

Долго же я пишу о пастухе из Мареммы. Мы вышли на солнечную апрельскую улицу в Черветери, Цереветусе, старом Цере. Крошечный, расстрепанный клубок улиц, замурованных внутри городской стены. Слева возвышается крепость, акрополь, самое высокое место, сердцевина городов этрусков. Но сейчас тут все заброшено, большой запущенный дворец губернатора или епископа тоже пустует, он стоит сразу за воротами, вокруг — безлюдный двор, по периметру которого — разрушенные постройки, развалины. Нет слов, чтобы описать запустение и разруху, царящие здесь, но тем не менее акрополь подавляет своим величием убогие улочки городка, на которых кипит жизнь.

Девушка из трактира в пещере — весьма милая девушка, но никудышняя повариха — нашла нам проводника, похоже, это ее брат, он проводит нас в некрополь. Ему лет четырнадцать, и, как все в этом захолустном местечке, он робкий и подозрительный, держится от нас поодаль. Попросил нас подождать его, ему надо было куда-то сбежать. Мы устроились в крошечном кафе, заказали по чашке кофе, на улице стоял автобус — тоже ждал нашего мальчишку, а тот вернулся с товарищем, который собрался с ним на экскурсию. Мальчишки занимались только друг другом, у них был свой, отдельный от нас, мирок. Они пошли впереди, не обращая на нас почти никакого внимания. Незнакомец ведь всегда опасен. Мы с Б. два тихих безвредных человека. Но парнишка не решился пойти с нами один. Только не один! Ему было бы страшно, точно он идет в ночи.

Они вывели нас за ворота старого городка. Там, снаружи, на пустынной площадке, стояли на привязи мулы и пони, а еще, прямо как в Мексике, вьючные ослы. Мы повернули налево, подошли к подножию скалы, на вершине которой возвышался так называемый дворец с зияющими окнами. Такое впечатление, словно этруски когда-то сами изваяли эту скалу из грубого, необработанного камня, словно ее вершина, на которой стоит обнесенное крепостным валом поселение Черветери, когда-то была ковчегом, внутри которого стояла крепость, священный город Цере, Атилла, прекрасный город этрусков с греческими кварталами. Здесь, в Цере, жизнь была ключом, в пригородах селились греческие колонисты из Ионии, а может быть, из Афин, тогда Рим был еще глухоманью. Около 390 года до н. э. на Рим напали галлы. И римляне погнали весталок и женщин с детьми в Цере, а этруски приютили их в своем хлебосольном, богатом городе. Может быть, беглянки-весталки жили на этом утесе. А может, нет. Не факт, что Цере был расположен именно здесь. С определенностью можно только сказать, что город стоял именно на этой вершине, на ее восточной и южной сторонах, занимая целиком небольшое плато протяженностью в четыре или пять миль, он был раз в тридцать больше нынешнего Черветери. Но этруски строили все из дерева — дома, храмы, все, кроме крепостных стен, фортификаций, ворот, мостов и дренажных сооружений. Поэтому города этрусков исчезли бесследно с лица земли, как цветы. Только гробницы в форме луковиц сохранились под землей. Этруски строили свои города по возможности на ровных, узких плато или на возвышенностях среди долин, они предпочитали строить их на скалах или холмах, как в Черветери. На вершине этой скалы, на ровной полоске земли, возводилась крепостная стена длиной в несколько миль, опоясывающая город. А внутри крепостной стены они выбирали возвышенную площадку, здесь был ковчег, сердце города, крепость. С внешней стороны стены обычно был крутой склон или ущелье, а напротив возвышался другой холм. На том холме, что напротив, этруски строили город мертвых, некрополь. Они могли стоять на крепостном валу, над ущельем, на дне которого мчался среди кустов ручей, и из города жизни с яркими расписными домами и храмами смотреть на город дорогих сердцу усопших, ведь он был совсем рядом, меж надгробий бежали тропинки, а вход в гробницы был тоже украшен росписями. Так и в Черветери. От морской равнины — а море всего в одной-двух милях отсюда — во времена этрусков надо было немного подняться и подойти к низким горам, на которых стоял город. С тыльной стороны, миновав ворота и удаляясь от моря, вы проходите под низкой, но совершенно отвесной скалой, на которой стоит город, спускаетесь по каменистой дороге в ущелье, поросшее кустами.

Здесь, внизу, в ущелье горожане — вернее, деревенские жители — устроили прачечную, и женщины тихо стирают белье. Приятные на вид женщины, из старого мира, в них так привлекают неразговорчивость и замкнутость, такими женщины были в прежние времена. В них словно затаилась какая-то тайна, ее надо угадать, найти, но глазом ее не увидеть. Нечто, что легко потерять, но невозможно найти.

На другой стороне ущелья — крутой каменистый подъем по тропинке, наши два мальчика осторожно взбираются по ней. Мы проходим в дверь, вырубленную в скале. Я заглядываю во влажный, темный подвал, который когда-то был гробницей. Но ее, наверно, построили для покойников-простолюдинов, — это маленькая камера в скале, теперь совсем пустая. Великие гробницы в Бандитаччи прячутся в больших могильных курганах, tumuli. Никто даже не взглянул на эти сырые маленькие клетки, вырубленные в низкой скале, поросшей кустарником. Так что и я торопливо стал карабкаться вверх, вслед за остальными.

И вот я на открытой, заросшей дикими травами площадке. Очень похоже на Мексику, только все в уменьшенном масштабе — открытое, дикое место, вдали невысокие, в форме пирамид, горы возвышаются почти на том же уровне, а между ними пастух суетится с отарой овец и коз, все такое мелкое, совсем крошечное. Да, все — как в Мексике, только мельче и понятнее.

Мальчишки ушли вперед по невспаханному полю, оно все в цветах — мелкие пурпурные вербены, мелкие незабудки и уйма дикой резеды с дивным, легким запахом. Я спросил у мальчиков, как тут называют эти цветы. И услышал дурацкий ответ:

— Это цветок!

На краю оврага в гуще других цветов растут дикие асфodelы — розовые, высотой до моего плеча, они виднеются там и сям. Их нельзя не заметить, это самая яркая примета местного пейзажа. Я был уверен, что мальчики хотя бы их название знают. Ничуть не бывало! Они, как бараны, тупо ответили то же самое:

— E un flore! Puzza! Это цветок. Он воняет!

Эти оба факта очевидны для любого, в них нет никакого противоречия. Впрочем, запах асфodelы не вызывает во мне отвращения, цветок, по-моему, очень красивый, сейчас я в этом не сомневаюсь, он так чудесно раскрывает свои крупные, звездные блекло-розовые соцветия, а большинство бутонов не распускаются и остаются словно запечатанными темными, красноватыми полосками.

Многие очень недовольны греками, превратившими этот цветок в некий культ. И действительно, само слово «асфodelь» сразу вызывает в вашем воображении высокую, мистическую лилию, а не этот веселый, неприхотливый цветок, немного напоминающий лук. Лично я абсолютно ничего не испытываю при виде этих мистических лилий, даже при виде загадочно робких лилий *mariposa**. Зато когда стоишь на горе в Сицилии, а вокруг тебя, будто облако на море, — розовые гордые асфodelы, выше тебя ростом, усыпанные розовыми цветками с таким задорным, веселым *eclat*** и с несметным количеством полосатых бутонов, то готов сознаться, что восхищаешься этим цветком. В нем воплощена какая-то неувядаемая слава, та, что мила сердцу греков.

Один человек сказал нам, что, как ему кажется, мы неправильно называем этот цветок греческой асфodelью, потому что в одной из областей Греции асфodelью называют желтый цветок, поэтому, сказал дотошный англичанин, асфodelь в Греции, вероятнее всего, — это бледно-желтый нарцисс.

Да ничего подобного! На Этне растет красивая, шелковистая, желтая, как чистое золото, асфodelь. Господь знает, сколько диких нарциссов в Греции. Хотя она не типично средиземноморский цветок. Нарцисс, нарцисс тацетта, — сугубо средиземноморское растение, точнее греческое. Но нарцисс, нарцисс ложный?!

Как бы то ни было, доверьтесь англичанину, своему современнику, решившему превратить высокую, гордую, веселую, бесстрашную асфodelь в скромника нарцисса! Думаю, мы не любим асфodelь, потому что не любим все гордое и жизнелюбивое. Мирт расцветает точно так же, как асфodelь, — будто взрываясь искрами тычинок. И думаю, именно это привлекло внимание греков. Они и сами такие.

Эти мысли мне приходят в голову по дороге к гробницам: они впереди, курганы, поросшие травой, в форме гриба, такие великаны-грибы, стоящие по краю ущелья. Когда я говорю «ущелье», я не имею в виду ничего, похожего на Великий Каньон. Просто небольшой, как всюду в Италии, овражек, в который вы можете смело спрыгнуть.

Мы подошли ближе и увидели, что курганы лежат на каменном фундаменте, это такие массивные пояса из обработанного камня с мягкими, неровными очертаниями, будто кольца больших, беспокойных бакенов, наполовину погруженных в море. А эти осели, немного погрузившись в почву. Череда курганов, меж ними — утоптанная тропинка, она идет и вдоль оврага. Безусловно, пред нами — главная улица некрополя, как в крематории Нового Орлеана, на который потрачен миллион долларов. *Absit omen!**

Нас отделяет от курганов забор из колючей проволоки. На проволочных воротах вывеска, предупреждающая, что цветы здесь рвать запрещается, непонятно, правда, что это означает, потому что цветы тут просто не растут. А другое объявление предупреждает, что гиду платить не следует, потому что он помогает вам безвозмездно.

Мальчишки побежали к новому, невысокому, бетонному зданию, стоящему рядом, и привели гида — юношу с красными глазами и забинтованной рукой. Месяц назад ему отрезало палец на железной дороге. Он невеселый, робко что-то бормочет, не производит на вас приятного впечатления — правда, потом он оказался вполне приличным малым. Он принес ключи и карбидную лампу, мы вошли в ворота и двинулись к гробницам.

В некрополях этрусков, куда мне довелось попасть, удивительно тихо и покойно, не в пример кельтским захоронениям, где царит атмосфера таинственности и сверхъестественности, или вызывающему легкое отвращение Риму, или старой Кампании, или Мексике, Теотихуакану, Чолуле и Митле на юге, где огромные пирамиды вселяют в вас ужас, или святым местам Будды на Цейлоне, где в вас пробуждается милое, приятное чувство идолопоклонничества. А от этих огромных, поросших травой курганов, опоясанных каменными кушаками, веет покоем и добротой, и когда спускаешься по центральной дороге, ощущаешь себя как дома и испытываешь счастье. Был тихий, солнечный, апрельский день, из мягкой травы на курганах вылетали жаворонки. Но в воздухе над этим ушедшим под землю некрополем были разлиты покой и тишина, и вы осознавали, что душе покойника здесь хорошо и мирно.

То же самое вы испытываете, когда спускаетесь на несколько ступенек вниз и попадаете в каменные камеры курганов. Ничего здесь уже нет. Как в доме, из которого все вынесли, — прежние хозяева съехали, новые постояльцы придут нескоро. Но кем бы ни был ушедший, после него осталось что-то приятное, милое сердцу и телу.

Они на удивление большие и красивые, эти обиталища покойников. Вырубленные в скале, они напоминают дома. На крыше узор в виде камыша, повторяющий очертания тростниковой крыши домов живых. Да, это дом, жилище.

Когда вы входите внутрь, вы попадаете в две небольшие камеры, одна — направо, другая — налево, это прихожие. Говорят, сюда помещали урны с прахом рабов, их ставили на каменные скамьи, потому что рабов всегда сжигали. В Черветери знатных людей хоронили лежащими в полный рост — иногда в больших каменных саркофагах, иногда в больших гробах из терракоты, со всеми регалиями. Но чаще всего их клали на широкие каменные лежа, тянувшиеся вдоль стен гробницы. Сейчас они пусты, а тогда усопшие спокойно лежали на открытых похоронных носилках, не заключенные в саркофаги, словно заснули, как в жизни.

Центральная камера большая, посередине стоит высокая квадратная каменная колонна, поддерживающая свод: так в домах этрусков ствол дерева подпирает крышу. Вдоль стен камеры тянется широкое каменное ложе, иногда в два яруса, на котором лежали покойники в гробах или на резных каменных и деревянных носилках — мужчина, сияющий золотыми доспехами, женщина в бело-розовом платье с крупными ожерельями на шее и красивыми кольцами. Здесь покоилась семья, знатные этруски с женами, лукомоны с сыновьями и дочерьми, — все в одной гробнице.

Чуть дальше снова дверной проем в скале, довольно узкий, сверху он сужается, как в Египте. Все напоминает Египет, но в целом здесь все проще, безыскуснее, без особых украшений, выполнено в естественных пропорциях, и даже не замечаешь, как же тут красиво, реально. Вас окружает природная красота форм фаллического сознания, разительно отличающегося от надуманных, изощренных форм ментального, духовного Сознания, к которым мы привыкли.

Через эту внутреннюю дверь попадаешь в последнюю камеру, маленькую, темную, самую важную. Напротив двери стоит каменное ложе, на котором, вероятно, возлежал лукомон, а рядом — сакральные украшения усопшего: маленькая бронзовая ладья смерти, которая должна была перенести его из этого мира в мир иной, сосуды с драгоценностями для того, чтобы он надел их, отправляясь в дальний путь, маленькие блюда, миниатюрные бронзовые статуэтки, инструменты, оружие, доспехи, все эти забавные предметы, составляющие богатство знатного покойника. Иногда во внутренней комнатке хоронили женщину, тоже знатного происхождения,

в роскошных одеждах, с зеркалом в руке, со всеми ее украшениями, драгоценностями, гребнями, коробочками с косметикой, — все это хранилось в урнах или сосудах, стоявших вдоль стены. В каком прекрасном окружении они встречали смерть!

Одна из самых важных гробниц — гробница Тарквиниев, династии, давшей Риму на заре его существования царей. Вы спускаетесь вниз по ступеням и попадаете в подземный мир Таркне, как писали этруски эту фамилию. В середине большой камеры стоят две колонны, высеченные из камня. Стены большой жилой — если можно так выразиться — комнаты покойных Тарквиниев оштукатурены, но на них нет фресок. Лишь надписи на стенах и в нишах, где покоились усопшие, на стенах над двухъярусным каменным ложем. Короткие предложения написаны легким почерком красной и черной краской или же выведены пальцем на сырой штукатурке, почерк наклонный, выдающий подлинный этрусский характер, легкомысленный и жизнелюбивый, строки часто бегут вниз, писали их справа налево. Эти веселые эпитафии легко прочитать, словно только вчера их кто-то написал мелом архаичными этрусскими буквами, легко и беззаботно. Но, прочитав их, мы не понимаем, что там написано. Avle — Tarchnas — Larthal — Clan. Совсем просто. Но что это значит? Никто точно не знает. Имена, фамилии династий, родственные связи, титулы усопших — мы что угодно можем предположить. «Аул, сын Ларта Таркна», считают ученые, — как глубоко продвинулись они в своих поисках! Но мы-то не способны прочитать ни одно предложение! Язык этрусков для нас загадка. Однако же в период расцвета Цере это был повседневный язык многих людей, живших в Средней Италии, по крайней мере в ее восточной части. А теперь язык навсегда исчез. Судьба — удивительный феномен.

Гробница называется «Grotta Bella»*, она интересна своими гипсовыми рельефами и каменными рельефами, вырезанными на колоннах, карнизах вокруг ниш-усыпальниц, над каменными ложами, стоящими вдоль стен гробницы. По большей части на них изображены доспехи воинов, их знаки отличия и ордена: щиты, шлемы, латы, наголенники, мечи, копья, ботинки, пояса, ожерелья знатных воинов, кувшины со священной водой, скипетр, собака — сторож хозяина даже во время путешествия в царство мертвых, два льва, тритон, или водяной, и гусь — птица, плывущая по водам и ныряющая в глубину потока Начала и Конца. И все это изображено на стенах. И все эти конкретные предметы или изображение их, без сомнения, находились здесь, в гробнице, а теперь ничего нет. Но когда мы задумаемся, какие же сокровища хранились в каждой гробнице знатного покойника — а в большом кургане было несколько гробниц, когда вспомним, что в некрополе Черветери предстоит открыть еще сотни гробниц и что по другую сторону древнего города, ту, что ближе к морю, тоже множество гробниц, тогда мы сможем себе представить, какие несметные богатства этот город предавал земле вместе со своими покойниками, а ведь в те дни у Рима было совсем мало золота и даже бронза считалась драгоценным металлом.

В гробницах, высеченных в скале, легко дышалось, было уютно. Вы не ощущали подавленности, когда спускались вниз. Отчасти это, вероятно, объясняется особым очарованием естественных форм всего сотворенного этрусками, не испорченными влиянием латинян. Во всем — и в линиях и в формах подземных стен и камер — простота, безыскусность в сочетании с удивительной естественностью и спонтанностью, что тотчас же поднимает настроение. Греки стремились произвести впечатление, а готические формы еще больше были нацелены на то, чтобы подавить ваше воображение. Этруски совсем не думали об этом. Предметы, выполненные ими, в их веселое время, естественны, как само дыхание. Эти люди дышали полной грудью, радостно, наслаждаясь жизнью. Даже в гробницах проступают великие, подлинные достоинства этрусков — легкость, естественность, жизнелюбие, никакого насилия над душой или интеллектом.

И смерть для этрусков была приятным продолжением жизни — с драгоценностями, вином, флейтами, под музыку которых они танцевали. И в этом не было ни экстаза озарения небес, ни страдания чистилища. Просто естественное продолжение жизни во всей ее полноте. Все здесь воплощение жизни, все будто живое.

Однако все созданное этрусками, кроме гробниц, было уничтожено. Это представляется мне диким. Вы снова поднимаетесь и попадаете в солнечный апрельский день, идете по утоптанной дорожке между округлыми, поросшими травой могильниками, под которыми находятся гробницы, проходя мимо них, вы бросаете взгляд на вход — без дверей — в эти гробницы. Как покойно, приятно, весело! Как умиротворяет тут все!

Б. только что вернулся из Индии, он страшно удивился, увидев камни в форме фаллоса у входа во многие гробницы. Да тут совсем как в Бенаресе, где стоят фаллические символы Шивы! Точно такие же, как камни в форме фаллоса в пещерах Шивы и в храмах Шивы!

И еще одна любопытная вещь. Можно прожить спокойно всю жизнь, прочитав уйму книг об Индии и Этрурии, но не найти ни единого слова о том, что сразу же поражает любого в Бенаресе или в некрополе этрусков — о фаллическом символе. Вот они, каменные фаллосы, ошибиться нельзя — они повсюду возле гробниц. Вот они, каменные фаллосы, большие и маленькие: те, что больше, стоят у входа, небольшие — в скале. Должно быть, на вершине некоторых курганов раньше была водружена колонна в форме фаллоса, а в других случаях он стоял у входа. Маленькие фаллосы, сделанные из камня, размером в семь-восемь дюймов, прикреплены к скале возле входа, наверно, они постоянно охраняли вход. Они похожи на часть самой скалы. На самом деле это не так — Б. поднял один фаллос. Его вырезали из камня, поставили в углубление, предварительно зацементировав. Б. вернул его на прежнее место, то, на котором он стоял за пятьсот или шестьсот лет до Рождества Христова.

Говорят, большие каменные фаллосы, которые ставили на вершину кургана, иногда были украшены очень красивой резьбой, иногда — надписями. Ученые называют их *сиррус*, *сирри*. Но, безо всякого сомнения, *сиррус* — это усеченная колонна, которая служила надгробным камнем, довольно приземистая, часто квадратная, срезанная сверху, что олицетворяло, скорее всего, конец жизненного пути. Некоторые маленькие каменные фаллосы тоже усечены. Но другие колонны — высокие, массивные, украшенные резьбой, с двойным конусом, несомненно, повторяют форму фаллоса. Небольшие, прикрепленные к скале фаллосы не усечены.

У входа в некоторые гробницы стоит каменный домик, или ящик с двухстворчатой крышкой, словно двускатная кровля прямоугольного дома. Наш гид, тот, что работал на железнодорожной станции и не был серьезным ученым, пробормотал что-то насчет гробниц, где покоятся женщины, мол, у входа ставили каменные дома или ящики — над входом, добавил он, а возле захоронения мужчины ставили фаллосы, то есть лингамы. Но поскольку все большие гробницы были фамильными склепами, возле них ставили и то и другое.

Каменный дом, как сообщил паренек, — это Ноев ковчег без лодки, в детстве у нас тоже была коробка, изображавшая Ноев ковчег со зверями. Да, это и есть Ковчег, *арх**, колыбель. Колыбель мира, в которой взлелеяны все времена. Колыбель, *арх*, где жизнь находится в надежном убежище. Колыбель, Ковчег Завета, в котором заключены тайна вечности, манна небесная и таинство. И вот он тут, стоит в сторонке у входа в гробницы этрусков, в Черветери.

Верно, в этой приверженности этрусков двум символам и кроется причина разрушения и уничтожения самосознания этрусков. Новый мир стремился освободиться от этих фатальных, довлеющих над ними символов старого мира, старого материального мира. Сознание этрусков зиждилось, счастливо и блаженно, на этих символах — на фаллосе и на убежище. А потому подобное мироощущение, пульс и ритм жизни этрусков, должны были быть уничтожены.

И теперь, очутившись под голубыми небесами, слушая пение жаворонков жарким апрельским днем, мы вновь понимаем, почему римляне называли этрусков порочными. Даже в период расцвета римляне не были святыми. Но были убеждены, что должны ими быть. Они ненавидели фаллос и Ковчег, потому что стремились построить империю и доминионы и больше всего стремились к богатству — социальному благу. Вы не станете радостно и беззаботно танцевать под флейту и одновременно поработать народы и стяжать огромные суммы денег. *Delenda est Carthago***. Для алчного человека любой, стоящий на его пути, — воплощение порока.

В Черветери сохранилось много гробниц, а курганов — мало. Многие сровняли с землей. Гробниц тут много — одни наполовину затоплены, в других ведутся раскопки, как в каменоломнях, хотя сейчас тут тихо, все работы свернуты. Много, очень много гробниц, и надо успеть спуститься в каждую, они ведь вырублены под землей, а могильный курган, там, где он был, насыпали позднее — рыхлая земля, ложившаяся возле каменного пояса. Некоторые курганы сровняли, но все вокруг в глыбах и насыпях. Гробницы сохранились, они почти одинаковые, хотя одни большие, другие — маленькие, одни — для знати, другие — для простолюдинов. И почти в каждой несколько камер, а перед ними — передняя комната. И все эти гробницы вдоль дороги мертвых были раньше защищены курганами, великолепными округлыми могильными курганами, огромными могильниками наслаждения для покойников, увенчанными высокими фаллическими конусами.

Мы очутились на краю некрополя — дальше пустырь, раскопки приостановлены, течет ручей. Мы поворачиваем назад — покидаем дом мертвых этрусков. Все гробницы пусты. Все похищено. Римляне, может, и почитали покойников какое-то время, пока их религия была достаточно мощной, чтобы властвовать над этрусками. Но позднее, когда римляне принялись коллекционировать созданное этрусками, — как в наше время мы коллекционируем антиквариат — началось расхищение гробниц. Даже после того, как золото, серебро и драгоценности выкрали из могил — а это произошло, без сомнения, вскоре после воцарения там римлян, — сосуды, кувшины и предметы из бронзы оставались на своих местах. Но потом богатые римляне взялись собирать сосуды, «греческие» сосуды с нарисованными на них картинами. И их тоже начали похищать из гробниц. Потом настал черед небольших бронзовых статуэток, фигурок животных, бронзовых кораблей (этруски приносили в гробницы великое множество подобных вещей), они тоже стали добычей римских коллекционеров. Самые удачливые римские аристократы набрали по тысячи, а то и две тысячи миниатюрных бронзовых изделий, чем весьма гордились. Потом Рим пал, и варвары похитили все, что осталось там. Так это все и продолжалось.

И все же некоторые гробницы сохранились нетронутыми, потому что в них проникли воды и затопили вход, залив каменный фундамент кургана, над могилами выросли кусты и трава, осталась холмистая, покрытая пригорками и травой пустынная местность.

А внизу — гробницы, из которых все вынесли, но в исключительных случаях — нетронутые. И в Черветери уцелела одна такая гробница, она находится вдали от некрополя, по другую сторону городка, в 1836 году ее обнаружили и, естественно, полностью разграбили. Генерал Галасси и местный священник Реголини возглавили раскопки, поэтому ее назвали «Гробницей Реголини—Галасси».

Она и по сей день представляет интерес — примитивная, узкая гробница, посередине коридор поделен на два помещения, со сводом в форме арки, — ее называют фальшивой аркой: она была вырублена из горизонтальных рядов камней, образующих ступенчатый поток, а самые верхние сходились вместе. Поверх были положены большие плоские камни, получилась почти готическая, плоская арка, арка, построенная, не исключено, еще в восьмом столетии до Рождества Христова.

В первой камере покоились покрытые пылью останки воина в бронзовых доспехах, красивые и прекрасно сохранившиеся, словно на живом человеке. Во внутренней камере на каменном ложе лежали красивые, хрупкие драгоценности из белого золота, кольца — там, где превратились в прах уши, браслеты — в прахе рук; конечно же, то был прах женщины благородного происхождения, жившей почти три тысячи лет назад.

Из гробницы вынесли все. Сокровища, такие изящные, хрупкие и печальные, почти все хранятся в Григорианском музее в Ватикане. На двух серебряных сосудах из Гробницы Реголини—Галасси есть надписи — «Mi Larthia». Это практически первые слова этрусков, найденные нашими современниками. Но что они означают? «Это Лартия». Лартия была женщиной?

Цере, даже за семь столетий до Рождества Христова, был богатейшим городом, он купался в роскоши, там любили и ценили мягкое золото, знаменитые греческие амфоры, часто устраивали пиршества, танцы. Но теперь там ничего не осталось. Гробницы опустели: сокровища, которые создали этруски — а даже до нас дошло многое из того, что было создано в Черветери, — хранятся в музеях. Если вы поедете к гробницам, вы увидите лишь то, что увидел я, — серый, жалкий, заброшенный маленький городок, стиснутый стенами, там, верно, живет не больше тысячи человек, да еще там несколько пустых могил.

Но когда вы сядете в почтовый автобус, в котором вам предстоит трястись по ухабистой дороге, ведущей к станции, четыре часа кряду солнечным, знойным днем, вы, может быть, увидите, что автобус окружает дюжина полногрудых, красивых женщин, провожающих своего соседа. И на смуглых, полных, красивых, жизнерадостных лицах вы непременно увидите свет жизнелюбивых этрусков. У некоторых — ровные греческие брови. Но у всех живые, теплые лица, от которых исходит энергия этрусков, красота тайны, заключенной в еще не разграбленном Ковчеге, напоенном легкомыслием этрусков и их фаллической мудростью!

2. Тарквиния

В Черветери негде было остановиться на ночь, поэтому перед нами стоял выбор — возвращаться в Рим и оставаться там или ехать дальше, в Чивита-Веккью. Автобус остановился в Пало около пяти часов, вокруг ничего и никого, надо было ждать поезд до Рима. Но мы решили ехать в Тарквинию, а не возвращаться в Рим, так что нам предстояло ждать еще два часа. До семи вечера.

Вдали виднелись виллы из бетона и новые здания, верно, то был Ладисполи, приморский курорт в двух милях от Пало. И мы отправились пешком в Ладисполи по ровной дороге, бежавшей вдоль берега моря. Слева, в лесу, прилежавшем к большому парку, разливались трелями соловьи, а если заглянуть через ограду, можно было увидеть маленькие розовые цикламены, покрывшие сияющим в вечернем освещении ковром землю.

Мы двинулись вперед, римский поезд выглянул из-за поворота. Он не остановился в Ладисполи, однокорейкой длиною в две мили пользуются тут лишь в разгар курортного сезона. Мы подошли к стоящим на окраине города уродливым виллам, мимо нас прогремела старая повозка, запряженная дряхлой белой лошастью: они так выгорели на солнце, что смахивали на призраки. Они обогнали нас.

Ладисполи одно из тех уродливых местечек на итальянском побережье, которые состоят из нескольких новых бетонных вилл, новых бетонных отелей, киосков и бань, тут пусто, десять месяцев в году нет ни души, все ждет заработков, когда в июле и августе сюда нагрянут курортники. Сейчас здесь пустынно, совсем пустынно, мы заметили только двух-трех служащих и четверых беспризорных мальчишек.

Мы с Б. легли на серо-черный вулканический песок у кромки плоского, отступившего от берега моря, над которым серое, однообразное небо разлило тусклый, ровный вечерний свет. Маленькие волны бежали зелеными барашками, поднимавшимися из темной морской глубины, из удивительно ровной глади. Поразительно заброшенный вид, море поразительно ровное, отступившее далеко от береговой линии, безжизненное, земля словно издала последний вздох и замерла навеки.

Тем не менее это Тирренское море этрусков, по которому на резвых парусах сновали их корабли, разрезая воду веслами, на которых сидели рабы, и эти корабли плыли из Греции

и Сицилии — Сицилии, которой управляли греческие тираны, из Кум, греческого города-колонии в Кампании, ныне провинции Неаполя, от острова Эльба, где этруски добывали железную руду. Этруски ходили по морю под парусами. Говорят, они приплыли морем из Лидии в Малой Азии во времена, затерявшиеся во мгле веков, ибо это было ранее восьмого века до Рождества Христова. Но трудно себе представить, что целый народ, сонм людей, приплыл в крошечных челнах, какие тогда строили, что все приплыли одновременно и осели в малонаселенной в те времена Средней Италии. Но, может, корабли действительно приплыли туда — и даже раньше Улисса? Может быть, люди высадились на чужом, ровном берегу, разбили лагерь, а потом вступили в контакт с местными жителями? Никто не знает, кем были пришельцы — лидийцами или хеттами с волосами, стянутыми на затылке в пучок, выходцами из Микен или с Крита. Может быть, они все приплывали сюда по очереди. Потому что во времена Гомера Средиземноморский бассейн был беспокойным районом, древние племена спускали на воду столько кораблей, сколько семян сеяли в поле. Постоянно мигрировали многие народы, а не только греки, эллины и представители индоевропейских групп.

Но чьи бы корабли ни бросали якорь у берега, покрытого мягким, густым, серо-черным вулканическим песком, три тысячи лет назад, а может, и того раньше, моряки с этих кораблей убеждались, что на прибрежных холмах живут люди. Когда лидийцы или хетты вытаскивали на берег свои длинные, небольшие, двуглазые кораблики, разбивали лагерь подальше от берега, укрываясь от влажного сильного ветра, что за любопытные туземцы спускались с холмов взглянуть на незнакомцев? Потому что туземцы там были, в этом мы уверены. Даже после падения Трои, даже до того, как были заложены Афины, там были местные жители. Они строили хижины, покрытые соломой, разбросанные кучками по холмам, засеивали зерновыми поля, пасли стада коз, а может, и более крупного скота. Может, так же, как в старых ирландских деревнях или в шотландских поселениях на Гебридах во времена принца Карла, три тысячи лет тому назад пришельцы появились в поселениях италийцев на берегу Тирренского моря? Но к тому времени, как в восьмом веке до Рождества Христова этруски появились в Цере, этот город, безусловно, уже не был маленькой деревушкой в горах. Это был город, построенный местными жителями, в чем мы убеждены, а его население занималось добычей золота и выделкой полотна задолго до того, как была построена Гробница Реголини—Галасси.

Но как бы это ни происходило на самом деле, туда прибыли чужаки, и там было местное население, в чем мы также уверены, а самое главное — среди них не было греков или эллинов. Это произошло задолго до расцвета Рима, не исключено, что первые пришельцы появились там даже до времен Гомера. Пришельцы — мало их было или много, неизвестно, — приплыли с Востока, из Малой Азии, или с Крита, или с Кипра. Нам кажется, они принадлежали к древней, примитивной средиземноморской, или азиатской, или эгейской ветви. Рассвет нашей истории был закатом истории другого периода, о котором никогда уже никто не напишет. Пеласги теперь лишь царство теней. Но из царства теней выплывают названия племен хеттов, менойцев, лидийцев, каров, этрусков, может, из той же великой страны забвения возникнут народы, которых называли этими именами.

Цивилизация этрусков подобна выстрелу, не исключено, последнему, из мира доисторического Средиземноморья, и этруски-пришельцы, как и аборигены, наверно, принадлежали этому древнему миру, хотя они были представителями разных народов, находились на разных ступенях развития. Затем греки оказали на них сильное влияние. Но это уже предмет другого разговора.

Как бы то ни было, пришельцы встретили в древней Италии большое число местных жителей, владевших огромными территориями. Этих аборигенов, которых нынче почему-то называют Вилланова, никто не изгонял с их земель и не порабощал. Возможно, они были рады гостям — у них был одинаковый темперамент. Вероятно, религия пришельцев, хотя и более развитая, не была чужда религии местных жителей — без сомнения, у них были общие корни. Вероятно, местное население по доброй воле сформировало религиозную знать из числа пришельцев — итальянцы делают почти то же самое и в наши дни. Так возник мир этрусков.

Но потребовались века, чтобы Этрурия достигла своего расцвета. Этрурия не была колонией, она была медленно развивающимся государством.

Никогда не существовало народа этрусков, в давние времена было большое число племен или народностей, говорящих на этрусском языке, пользовавшихся этрусским алфавитом и — по крайней мере так официально считается — исповедовавших одну религию и одинаковые философские взгляды, все это и объединяло их. Алфавит этрусски, похоже, позаимствовали у греков, скорее всего у халдеев из Кум, греческой колонии, расположенной севернее, там, где сейчас стоит Неаполь. Язык этрусков не похож ни на один диалект греков или италийцев. Но ничего конкретно мы не знаем. Вероятно, в большей степени это язык аборигенов, жителей южной Этрурии, так же как и их религия: по всей видимости, она зарождалась у аборигенов и была такой же, как старая религия доисторических народов. Из тени доисторического мира возникла умирающая религия, в которой еще не было богов и богинь, она строилась на таинстве основных стихий Вселенной, сложное сочетание которых мы называем невыразительным словом Природа. И религия этрусков была такой же. Еще не был создан пантеон богов и богинь с их четко определенными чертами.

Но не мне предлагать какие-то заключения. Просто очень впечатляет то, что наполовину проступило из мрака седой старины, и, ознакомившись со всеми гипотезами ученых мужей, в большинстве своем противоречащими друг другу, увидев с замиранием сердца гробницы и сохранившиеся этрусские предметы искусства, все-таки делаешь собственные выводы.

Представим себе, как с Ближнего Востока по тихой морской глади плывут корабли, так было даже во времена царя Соломона, а может быть, даже в дни Авраама. А корабли все плывут и плывут. И на заре нашей истории мы уже видим, как они несутся на парусах — белых или алых. Потом, когда греки стали селиться колониями в Италии, а финикийцы осели на западном берегу Средиземного моря, впервые были упомянуты молчаливые этрусски, которые появились на исторической сцене.

К северу от Цере построили порт Пирги, и мы знаем, что туда приплывали греческие суда с сосудами и провиантом, колонисты направлялись в этот порт из Эллады и из Magna Graecia, а корабли финикийцев — из Сардинии и Карфагена, огибая Тир и Сидон, и гребцы дружно налегали на весла. У этрусков были свои корабли, построенные из дерева, срубленного в горах, просмоленные смолой из северной Вольтерры, под парусами, сшитыми в Тарквинии, они везли зерно со своих изобильных полей, знаменитые бронзовые и железные этрусские изделия, везли их в Коринф, или в Афины, или в порты Малой Азии. Мы знаем о великих, безжалостных, кровавых боях с финикийцами и правителем Сиракуз. И мы знаем, что этрусски, все, кроме жителей Цере, стали жестокими пиратами, почти такими, какими позднее были мавры и варвары-корсары. Это было частью их порочной природы, что весьма раздражало их миролюбивых и безвредных соседей, законопослушных римлян, которые свято верили в высший закон, установленный победителем.

Но все это было очень давно. Даже берег изменился с тех пор. Истерзанное море отступило, обмелело, а унылая земля оголилась, словно против своей воли. Украшения здешних мест, убогие курорты вроде Ладисполи и Остии, с оскверненной тощей землей, оглашаются победным жужжанием комаров.

Со стороны темнеющего моря дует назойливый, почти ледяной ветер, мертвые волны под свинцовым небом поднимают сколки чистой зелени из свинцово-серой глубины. Мы встаем с темно-серого, но мягкого песка и возвращаемся той же дорогой на станцию, поглядывая на редких прохожих и чиновников, присматривающих за этим курортом, пока не приедут очередные отдыхающие.

На станции — обычная неразбериха. Но наши вещи целы и невредимы, лежат в темном углу, в буфете официант накормил нас холодной мясной закуской с вином и апельсинами. Уже ночь. Точно по расписанию на большой скорости подкатил поезд.

До Чивита-Веккья — час или больше, это не очень крупный порт, правда, оттуда курсирует пароход до Сардинии. Мы вручили свои вещи славному старику-носильщику и попросили его проводить нас до ближайшей гостиницы. Когда мы вышли со станции, была глубокая ночь, тьма кромешная.

Ко мне крадучись подошел какой-то парень.

— Вы иностранцы?

— Да.

— Какой национальности?

— Англичане.

— У вас есть разрешение останавливаться в Италии — или паспорт?

— У меня есть паспорт — а что вам нужно?

— Хочу взглянуть на него.

— Он в чемодане. А зачем? Зачем вам это?

— Это порт, мы обязаны проверять документы иностранцев.

— Но почему? Генуя тоже порт, но там никто никогда не требует документы.

Я был вне себя от бешенства. Он не ответил. Я велел носильщику идти с нами в гостиницу, а парень крадучись последовал в шаге от нас, точно дворняжка — как все шпики.

В гостинице я снял номер, зарегистрировался, но потом этот парень снова стал требовать у меня паспорт. Мне хотелось понять, зачем он ему нужен, почему он пристал ко мне на станции, словно я преступник, и с чего вдруг он оскорблял меня, допытываясь, кто я и откуда, хотя в любом другом городе Италии все путешествуют, не подвергаясь допросам, ну и так далее, — в общем, я был вне себя.

Он не отвечал, но смотрел на меня не отрываясь, словно хотел испепелить взглядом. Потом стал разглядывать паспорт, хотя я сомневаюсь, что он понимал, что с ним делать, спросил, куда мы направляемся, заглянул в паспорт Б., пробормотал извинения каким-то жалобным, неприятным голосом и исчез в темноте. Настоящий шпик.

Я был в бешенстве. Окажись я без паспорта — а я частенько не беру его с собой, — сколько хлопот доставил бы мне этот неотесанный болван! Не исключено, что мне пришлось бы провести ночь в тюрьме в компании полудюжины хулиганов!

Эти мерзкие крысы видели, что в Ладисполи мы с Б. пошли к морю, посидели на берегу с полчаса, потом вернулись к поезду. И этого было достаточно, чтобы заронить в них подозрение, вот они и послали телеграмму в Чивита-Веккья. Почему все чиновники такие идиоты? Ведь сейчас не военное время! Что они вообразили?

Администратор гостиницы, человек весьма благожелательный, сказал, что в Чивита-Веккья есть отличный музей, посоветовал нам остаться на следующий день и пойти туда.

— Но там только римские экспонаты, — ответил я, — нам это неинтересно.

С моей стороны это было невежливо, потому что теперешнее население считает себя прямыми потомками античных римлян. Человек с испугом посмотрел на меня, а я в ответ усмехнулся.

— А почему здесь так обращаются с простыми путешественниками, ведь вы постоянно приглашаете к себе в страну иностранцев?! — спросил я.

— Что поделаешь! — ответил мне тихо и миролюбиво носильщик. — Тут римская провинция. Как только уедете отсюда, больше нигде не увидите Provincia di Roma*.

А когда итальянец отвечает вам тихо и миролюбиво, чтобы погасить ваш гнев, он действительно гаснет.

Мы погуляли около часа по скучным улицам Чивита-Веккья. Все кругом такие подозрительные, что можно подумать, будто сейчас тут в разгаре сразу же несколько войн. Администратор гостиницы поинтересовался, останемся мы или нет. Мы ответили, что уезжаем в восемь часов утра в Тарквинию.

И конечно же мы уехали восьмичасовым поездом. Тарквиния — следующая станция после Чивита-Веккья — двадцать минут пути по Маремме, слева шумит море, справа — роскошные зеленые поля пшеницы и асфодели, высоко поднявшие свои маленькие гвоздики-головки.

Мы очень скоро увидел и Тарквинию, ее башни торчат, будто антенны, на отвесном склоне холма в нескольких милях от берега моря. Когда-то тут была столица Этрурии, главный город великой Этрурии. Но он погиб, как все прочие этрусские города, в Средневековье немного ожил, правда, его называли уже по-другому. Данте называл его, как и все остальные на протяжении многих веков, Корнето — Корнетум или Корнеций, а прошлое его было предано забвению. Потом, лет сто назад, возник слабый интерес к этрускам, исконное название присоединили к Корнето — Корнето-Тарквиния. Однако фашистский режим, прославлявший итальянские корни Италии, отбросил название Корнето, и теперь город снова стал просто Тарквиния. Подъезжая к нему от станции на автобусе, вы видите на белой городской стене огромные черные буквы — «Тарквиния». Итак, колесо революции повернулось. Возле средневековых ворот красуется этрусское слово — латинизированное — его написал здесь фашистский режим, который менял названия городов по своему усмотрению.

Итак, фашисты, считающие себя истыми римлянами, римлянами времен Цезаря, наследниками власти над империей и всем миром, ни с того ни с сего решили вернуть этрусским памятникам былое величие. Ведь из всех населявших Италию народов этрусски, несомненно, имели самое отдаленное отношение к римлянам. Так же, как из всех народов, когда-либо рожденных в Италии, римляне, жители Древнего Рима, без сомнения, с современными итальянцами ничего общего не имеют.

Тарквиния всего в трех милях от моря. Автобус доехал очень быстро, провез нас сквозь открытые ворота, развернулся на площадке, что возле них, и остановился. Налево — красивый каменный palazzo*, направо — кафе, оно стоит на низком крепостном валу, над воротами. Сотрудник Dazio, местной таможни, следит, чтобы никто не провез в город продукты — вернее, бросает мимолетный взгляд на ваши вещи. Я спросил у него, где тут гостиница. Он сказал:

— Вы хотите остаться на ночь?

Я ответил утвердительно. Тогда он позвал мальчишку, чтобы тот отвел нас к Джентиле и понес мою сумку.

В этих маленьких, обнесенных стеной городках все близко. Теплым апрельским утром маленький каменный городок казался спящим. На самом деле почти все горожане в полях, остаются там до самого вечера, а значит, не проходят через ворота. Повсюду безлюдно — даже в гостинице, в чем мы убедились, поднявшись на второй этаж, поскольку нижний ей не принадлежит. Парнишка в брюках, на вид лет двенадцати, но с выражением взрослого мужчины, преградил нам дорогу, выставив грудь колесом. Мы попросили дать нам комнаты. Он оглядел нас. Отошел за ключами и повел наверх на следующий этаж, потом позвал девчушку, горничную, и велел ей идти вслед за нами. Он показал нам две небольшие комнатки, открыл просторную, пустую гостиную — такие тут во всех гостиницах.

— Вам не будет одиноко, — сказал он быстро, — потому что вы сможете переговариваться друг с другом через стенку. Toh!** Lina! — Он поднял палец и прислушался.

— Eh!* — словно эхо, послышалось из-за стены, удивительно четко и совсем близко.

— Fai presto!** — сказал Альбертино.

— E pronto!*** — ответил голос Лины.

— Ecco!**** — сказал нам Альбертино. — Слышите?

Конечно, мы слышали. Стенка, верно, была сделана из муслина. Альбертино пришел в восторг: он убедил нас, что мы не будем чувствовать себя одиноко, не будем бояться ночью.

Он был самым мужественным и заботливым управляющим гостиницы из тех, кого мне довелось знать, он сам следил буквально за всем. На самом деле ему было четырнадцать лет, просто ростом не удался. С пяти утра до десяти вечера он хлопотал по хозяйству — с такой необычной, импульсивной расторопностью, отвлекаясь на всякие мелочи, что, похоже, тратил много энергии впустую. Его родители, весьма молодые, приятные люди, держались в стороне. Они себя не перетруждали. Все здесь делал Альбертино. Как полюбил бы его Диккенс! Но Диккенс не заметил бы в этом пареньке странную печаль, доверчивость и мужество. Мальчик не испытывал ни капли подозрительности к нам, иностранцам. Жители Тарквинии, верно, весьма гуманные и приличные люди, даже коммивояжеры, что являются здесь основными покупателями сельскохозяйственных продуктов и продавцами сельскохозяйственных инструментов.

Мы отправились прогуляться, снова пришли на площадку возле городских ворот, выпили кофе за маленьким столиком, стоявшим на улице. За стеной возвышалось несколько новых вилл, покрытый зеленью крутой склон упирался в полосу ровного берега и не приметного, слабо поблескивающего моря, почему-то вовсе не похожего на море.

Интересно, подумал я, если бы здесь по-прежнему был этрусский город, сохранилась бы эта незастроенная площадка у ворот или нет? Может, вместо пустынного, безлюдного места тут была бы оживленная, освященная присутствием небольшого храма площадь?!

Я люблю представлять себе маленькие деревянные храмы древних греков и этрусков — миниатюрные, изящные, хрупкие и эфемерные, как цветы. Мы же являемся свидетелями того периода культуры, которая изнуряет, подавляет нас огромными каменными зданиями, и мы начинаем понимать, что куда лучше сохранить жизнь текучей и меняющейся, чем пытаться остановить ее, замуровав в массивные памятники. Бремя, которое давит на нашу землю, — это громоздкие, тяжеловесные постройки человека.

Этруски строили маленькие, целиком из дерева храмы, точно небольшие домики с островерхими крышами. А снаружи они делали фризы, карнизы и гребень крыши из терракоты, так что казалось, что верхняя часть храма вылеплена из глины, потому что терракотовые дощечки прикреплялись очень тщательно, они словно срастались с фигурками на рельефе — веселыми танцующими существами, косяком уточек, круглыми, как солнце, лицами, ухмыляющимися, высывающими длинный язык лицами, такими живыми, натуральными, подавляющими вас своим величием! И храм — миниатюрный, с изящными пропорциями, естественный — очаровывал вас, а не угнетал. Похоже, в этрусках было интуитивное, искреннее желание сохранить природный юмор жизни. А эта задача, безусловно, более достойная и даже более сложная, чем покорение мира, или жертвоприношение, или спасение души и обретение бессмертия.

Почему человечество одержимо идеей зависимости от чего-то, желанием стать чьим-то орудием? Откуда эта тяга к диктату мировоззрения, поступков, архитектуры, языка, произведений искусства? В конце концов все это превращается в наказание, источник скуки и усталости. Дайте нам живые, меняющиеся вещи, не созданные на века, не вызывающие отвращение и скуку. Даже

Микеланджело в конце концов стал тупым, скучным болваном. Так тяжело смотреть на то, во что он превратился.

Через площадь, напротив кафе, стоит дворец Вителлески, очаровательное здание, где теперь находится Национальный музей — так написано на мраморной доске. Но тяжелые двери закрыты. Музей открывается в десять часов, сказал нам мужчина. А сейчас девять тридцать. Мы идем по круто поднимающейся вверх, не очень длинной улице.

Наверху — часть городского парка и видовая площадка. Под деревом на солнце сидят два старика. Мы подходим к парапету, и неожиданно перед нами открывается потрясающий пейзаж, я мало видел подобных пейзажей — непорочная, нетронутая чистота холмистой зеленой местности. Вокруг только поля молодой пшеницы — зеленой, нежной, колышущейся на ветру, сияющей изумрудной свежестью, и ни одного строения. Прямо под нами дорога спускается вниз, затем делает поворот и бежит вверх, по соседнему холму, стоящему прямо перед нами, сверкающему зелеными красками без единого пятнышка. Дальше холмы переходят в горы, а совсем вдалеке возвышается круглая вершина, и кажется, что на ней стоит зачарованный город.

Какой девственно чистый край, парящий над долиной, зеленеющий нежными побегами в это апрельское утро! И какие удивительные холмы! Здесь ничто не напоминает современный мир — никаких домов, никаких хитроумных изобретений, лишь восторг и тишина, простор, над которым не успели надругаться.

Холм напротив — словно его собрат, который держится особняком. Ближайший склон — довольно крутой, заросший вечнозелеными дубами и невысокими кустами, весь в черно-белых пятнах пасущегося скота. А длинный гребень холма зеленеет посевами, сбегая по наклонной к югу. И сразу же вы чувствуете — у этого холма есть душа, в нем заключен некий смысл.

Он стоит напротив длинного холма Тарквинии, этот его собрат, поперек небольшой, вольно раскинувшейся долины, и вы понимаете, что если на одном холме жили тарквинийцы в своих веселых деревянных домиках, значит, в другом покоятся усопшие в своих усыпальницах с фресками, и в них, как в зернах, теплится жизнь. Два холма неразделимы, как жизнь и смерть, даже сейчас, в это солнечное, зеленое апрельское утро, обдуваемое легким ветерком с моря. А земля внизу кажется такой же загадочной и чистой, словно сейчас по-прежнему утро Вечности.

Но Б. хочет вернуться во дворец Вителлески — его должны открыть. Мы спускаемся вниз по улице, конечно же, тяжелые двери музея уже открыты, несколько музейных работников стоят в тенистой аллее у входа. Они приветствуют нас на манер фашистов: «Alla romana!»*. Почему бы им не вспомнить приветствие этрусков и не сказать: «All'etrusca!»**? Но они весьма вежливы и дружелюбны. Мы входим во двор.

Музей чрезвычайно интересный, он вызывает восторг у любого, кто хоть немного знаком с культурой этрусков. В нем очень много предметов, найденных в Тарквинии, очень ценных находок.

Если бы потомки понимали это и не забирали их оттуда, где они находились всегда! Музеи все-таки неправильная затея. Ну а уж если и создавать музеи, пусть они будут небольшими и, прежде всего, — пусть находятся в тех же местах, откуда берут их экспозиции. Пусть они так же красивы, как музей этрусков во Флоренции, и тем не менее, насколько счастливее ощущаешь себя в музее в Тарквинии, потому что все экспонаты здесь тарквинийские, между ними, по крайней мере, существует некая связь, и они образуют единое, органичное целое.

Когдаходишь в вестибюль с покрытого изразцами крыльца, то видишь несколько длинных саркофагов, в которых покоятся представители этрусской знати. Похоже, простолюдины в этой части Италии всегда кремировали своих покойников, помещали прах в урны, иногда на урну клали шлем усопшего, иногда прикрывали ее тонким блюдом, служившим крышкой, а потом опускали урну в маленькую круглую могилу, напоминавшую колодец. Этот обычай хоронить в гробнице-колодце называется обычаем периода Вилланова.

Пришельцы в этих местах, очевидно, хоронили покойников, не кремируя. Здесь, в Тарквинии, вы можете и сегодня увидеть холмы с гробницами-колодцами аборигенов, которые недавно обнаружили, в урнах до сих пор сохранился прах мертвецов. Затем идут могилы с покойниками, которых не кремировали, они очень похожи на современные склепы. Но гробницы того же периода с урнами находятся совсем близко, как бы в едином комплексе. Из этого следует, что пришельцы и те, кто обитал тут до них, жили в мире и согласии с самого начала и что веками сохранялось два обычая погребения, задолго до того, как стали строить гробницы с фресками.

Однако в Тарквинии по крайней мере с седьмого века аристократов хоронили в больших саркофагах или помещали на носилки, которые ставили в камере, арабов — кремировали, прах клали в урны, которые часто ставили в фамильные склепы, где покоились каменные гробы их хозяев. С другой стороны, простых людей не всегда кремировали. Иногда хоронили в могилах, очень похожих на наши, правда, стенки их выкладывали камнем. Люди низкого сословия были представителями самых разных племен, многие из них — крепостными крестьянами и ремесленниками. Они сами выбирали, как их хоронить — у одних были могилы, других кремировали, и прах их покоился в урнах или вазах, которые занимали совсем мало места в могиле бедняка. Вероятно, не очень знатных аристократов тоже кремировали, их останки помещали в вазы, со временем, когда связи с Грецией окрепли, эти вазы превратились в произведения искусства.

Когда думаешь о том, что даже у рабов — а у богатых этрусков было очень много рабов — был обычай достойно хоронить своих покойников в сосудах в освященных местах, на душе становится легче. Очевидно, что «порочные» этруски ничего не придумали такого, что могло бы сравниться с огромными братскими могильниками-ямами, выкопанными под Римом, рядом с широкой проезжей дорогой к городу, в которые бросали без разбора тела рабов.

Но это уже вопрос душевной организации. Грубая сила и деспотизм приводят к чудовищным последствиям. Все-таки жизнь на Земле сохранилась благодаря чуткой душевной организации наших предков. Если бы верх взяла грубая сила, ни один младенец не прожил бы и десяти дней. Зеленая трава полей, самое хрупкое в тварном мире, поддерживала и поддерживает испокон века жизнь. И все-таки ни одна империя не появилась бы в мире, ни один человек не стал бы есть свой хлеб во имя того, чтобы сохранить на Земле зеленую траву, ибо зерно ведь тоже трава, да и Геркулес, Наполеон, Генри Форд и подобные им не коптели бы небо.

Грубая сила уничтожила многие растения. Но они, тем не менее, снова вырастают. Век древних пирамид — мгновение по сравнению с маргариткой. И до того, как заговорили Будда и Иисус Христос, соловей выводил свои трели, и долго еще после того, как слова Будды и Христа будут преданы забвению, будет петь соловей. Потому что он не проповедует, не учит, не повелевает, не заставляет. Он просто поет. И в начале было не Слово, а птичий щебет.

Из-за того, что дурак камнем убивает соловья, можно ли считать его значительнее этой птички? Из-за того, что римлянин убил этруска, можно ли считать его сильнее и значительнее этруска? Нет! Рим пал, закатилась слава римлян. Сегодня Италия по своему темпераменту куда более земля этрусков, чем земля римлян. Этрусские черты подобны траве в поле, прорастающему зерну — так было и пребудет во веки веков. Зачем же пытаться вернуться вспять к латино-римской модели подавления и унижения?!

Во дворе палатцо Вителлески, под открытым небом, тоже стоят несколько каменных саркофагов, на них — каменные изваяния, напоминающие скульптуры участников крестовых походов в английских храмах. А здесь, в Тарквинии, они больше похожи на рыцарей, чем обычно, потому что некоторые из них лежат на спине, а в ногах у них — их верные псы, тогда как в других местах рыцарь стоит во весь рост на крышке саркофага, точно это не покойник, а здравствующий муж, или лежит, опершись на локоть, и смотрит перед собой гордым, суровым взглядом. Если это мужчина, его тело обнажено до пупка, он держит в руке священную *patera**, или *mundum*, круглое блюдо с возвышением посередине, символизирующим почку, круглый зародыш неба и земли.

Еще оно похоже на плазму живой клетки с ядром, неделимым Богом зачатия, хранящим в себе жизнь целой и невредимой до самого конца, с ядром, являющимся извечной сутью, сердцевиной всего сущего, и это ядро постоянно делится, а потому оно есть солнце тверди небесной, лотос подземных вод, роза всего сотворенного на этой земле. И солнце хранит свою сердцевину, которая не подвержена разрушению, и у моря и у всех хлябей есть эта сердцевина, и в каждом живом существе есть не подверженная разрушению сердцевина. Так в каждом человеке заключена его собственная суть — когда он совсем младенец и когда становится стариком, она неизменна в нем — это искра, не рожденная и не умирающая живая искра жизни, электрон. Именно это символизирует *patera*, которая может расцвести подобно розе, или она подобна солнцу, но остается постоянной — ядро внутри живой плазмы.

И эта *patera*, этот символ, почти всегда лежит в руке покойника. Если же скульптура изображает женщину, то ее платье ниспадает мягкими складками от шеи, на ней красивые драгоценности, а в руках она держит не *patera*, а зеркало, или коробочку с духами, или гранат, символы ее натуры и ее женских достоинств, но у нее тоже гордый, надменный вид, как у мужчины, — ведь она принадлежит к священному семейству, династии правителей, которые способны читать сокрытые знаки.

Эти саркофаги и скульптуры, находящиеся здесь, относятся к периоду упадка этрусков после их длительного общения с греками, не исключено, что многие были сделаны после покорения этрусков римлянами. Поэтому не следует искать в них произведение подлинного искусства, искать большего, чем мы находим в современных мемориальных комплексах. Погребальное искусство всегда более или менее коммерческое. Богатый человек заказывает себе саркофаг еще при жизни, а скульптор делает его с той степенью добросовестности, какую диктует ему гонорар. Скульптура должна стать портретом человека, заказавшего ее, поэтому мы можем разглядеть, какими были поздние этруски. В третьем и втором веках до Рождества Христова, в годы мрачного заката их существования как самостоятельного народа, они были очень похожи на римлян того же времени, чьи бюсты нам так хорошо известны. И часто они производят унылое впечатление людей, которые больше не правят, их власть сохраняется лишь благодаря богатству.

И все-таки, даже когда этруское искусство подверглось разрушительному римскому влиянию, в нем сохранился свет естественности и искреннего чувства. Этрусские лукомоны, или князья-магистраты, в первую очередь были пророками, патриархами, а потом уже магистратами, а потом — князьями. Они не были аристократами в европейском смысле этого слова или патрициями — в римском. Они были прежде всего верховными жрецами, а потом уже магистратами, а потом — знатными и богатыми мужами. Поэтому в них сосредоточена жизненная энергия, смысл самой жизни. И вы тщетно будете искать в современных надгробных скульптурах те же достоинства, что вы увидите на саркофаге магистрата, держащего развернутый свиток, старца с волевым, живым лицом и суровым, прямым взором; на шее у него ожерелье, знак его отличия, перстень, какие носили знатные мужи. И так он лежит в музее Тарквинии. Его тога не прикрывает бедер, его тело покоится в мягкой, свободной позе, и вы воочию представляете себе это расслабленное, спокойное тело, потому что этруски умели мастерски воплощать подобное состояние в камне, а задача эта не из легких. Возле скульптуры — два ангела смерти занесли над лукомоном свой смертоносный молот, эти фигуры с крылами готовы принять душу усопшего, и ничто не в силах отпугнуть их. Все это так красиво, так правдиво передает простой смысл жизни! Но саркофаг относится к позднему периоду. Вероятно, этот этрусский магистрат-старец уже служит под началом римлян — у него в руках нет *mundum*, блюда, лишь свиток, может быть, с записанными на нем законами. Будто он уже не является верховным жрецом или лукомоном. Хотя может быть, этот покойник и не был лукомоном.

Наверху в музее выставлено много ваз — от античных образцов гончарного искусства периода Вилланова до керамической посуды с орнаментом, нанесенным тонкими штрихами или без него, так называемые *bucchero*, а еще расписные кубки, блюда и амфоры, привезенные из Коринфа или Афин, и расписные керамические предметы, сделанные самими этрусками по греческим образцам. Одни интересные, другие нет: этрусские расписные блюда не вершина

совершенства. Но этруски, должно быть, любили их. В старину эти огромные кувшины и кубки, небольшие кубки, чашки, кувшинчики и плоские чаши для вина составляли самую ценную часть домашнего хозяйства. Этруски плавали на своих кораблях в Коринф и Афины, наверно, возили туда зерно, мед, воск, бронзовую посуду, железо и золото, а возвращались с драгоценными кувшинами, провиантом, духами, благовониями и специями. И кувшины, привезенные из-за морей, — расписные красавцы — становились самым ценным сокровищем в их доме.

А потом этруски начали сами делать керамическую посуду, создавая неисчислимое множество копий греческих предметов обихода. Поэтому в Этрурии было так много красивых ваз. Уже в первом веке до Рождества Христова римлян охватила страсть коллекционировать греческие и этрусские вазы, которые они добывали, расхищая этрусские гробницы, — вазы, маленькие бронзовые культовые фигурки и sigilla Туггхена*, символы римской роскоши. И когда гробницы подверглись ограблению в первый раз — оттуда выносили золото и серебро, — были разбиты сотни прекрасных сосудов. Поэтому даже в наше время, когда находят и раскапывают частично ограбленную гробницу, находят там осколки ваз и кувшинов.

Как бы то ни было, в музеях выставлено множество ваз. Если вы хотите увидеть греческую форму, предметы, сотворенные по всем законам изящества, этих элегантных, «непоруганных невест тишины», вас ждет разочарование. Но постарайтесь преодолеть в себе странную любовь к изящной условности, и тогда красота ваз и блюд этрусков, особенно черных bucchero, откроется перед вами, как невиданные черные цветы — во всей нежности, в бунте самой жизни против условностей, или как красно-черные цветы с необыкновенно свободным, смелым рисунком. Почти всегда в этрусских изделиях естественность граничит с обыденностью, но часто обходит ее стороной и достигает такой свободной и смелой неповторимости, что мы, приверженцы условностей и предметов, «превращенных в норму», называем это незаконнорожденным искусством, общим местом, обыденностью.

Бесполезно искать в этрусских предметах «возвышенное». Если вы хотите испытать духовный подъем, обратитесь к греческим или готическим произведениям. Если хотите увидеть искусство для масс — обратитесь к римским памятникам старины. Но если вы любитель спонтанных античных форм, которые никогда не подвергались стандартизации, обратитесь к этрускам. В прелестном маленьком дворце Вителлески вы проведете долгие часы, тогда как забытые экспонатами музеи заставляют вас бежать по залам сломя голову.

3. Фрески гробниц Тарквинии

Мы попросили, чтобы нам дали проводника, который отведет нас к гробницам с фресками, составляющими подлинную славу Тарквинии. Мы отправились в путь после ланча, поднялись на холм, вошли в юго-западные ворота города, стоявшего на гребне холма. Помнится, глухая городская стена была средневековой постройки, с небольшими участками древней, темной стены. Сразу за воротами стояли два заброшенных новых дома, а перед нами простиралось плато, по которому спускалась под уклон белая дорога, она шла внутрь полуострова, в сторону Витербо.

— Во всех этих курганах, что перед нами, — гробницы, — сказал проводник. — Во всех! Город мертвых.

Вот как! Значит, это некрополь! Этруски никогда не хоронили своих покойников внутри городской черты. А современное кладбище и первые гробницы этрусков находятся возле ворот. Следовательно, если древний город Тарквиния лежит на этом холме, он вряд ли мог занимать больше места, чем нынешний городок с несколькими тысячами жителей. Это невозможно. Может быть, город был расположен на холме, красивом и девственном, что возвышался напротив.

Мы прошли заросшую вершину холма, где лежали обнаженные камни, трепетали первые горные розы и цвели асфодели. Это некрополь. Раньше тут было много могильных курганов, целые улицы гробниц. А сейчас ничто не напоминало о них. Вокруг — ничего, лишь каменистый гребень холма с низкой травой и цветами, справа — сияющее под солнцем море и мягкая, в девственной зелени земля.

Но тут мы увидели кусочек стены, построенной, должно быть, возле водопада. Проводник пошел напрямик к ней. Этот полный добродушный малый даже не старается сделать вид, что увлечен гробницами. Но мы ошиблись. Он весьма образован, в нем чувствуется живой, тонкий, совершенно ненавязчивый интерес к истории, и он такой приятный спутник, о каком только мечтать приходится.

Кусок стены, который мы увидели, — это маленький козырек над кирпичной стеной с железными воротами, а под ним — небольшая лестница, ведущая в подземелье. Вы почти сразу же оказываетесь возле ворот, а вокруг — ничего, кроме камней и травы. Проводник склонился, чтобы зажечь свою карбидную лампу, а его старенький терьер улегся с покорным видом на солнышке, легкий ветерок, не стихая, дул с юго-запада вдоль этих привольно раскинувшихся холмов.

Лампа загорелась, потянуло карбидом, потом запах улетучился, проводник открыл железные ворота, и мы спустились по крутой лестнице в гробницу. В подземелье было словно в темной маленькой норе: после солнечного света наверху — темная маленькая нора! Но лампа проводника осветила ее, и мы увидели, что стоим в небольшой камере, вырубленной в скале, в маленьком пустом ските, в каких, верно, жили анахореты-отшельники. Камера крошечная, пустая и ничем не примечательная, вовсе не похожая на роскошные усыпальницы в Черветери.

Лампа горела ярко, вскоре мы привыкли к мраку и на стенах увидели фрески. Это Гробница Охоты и Рыбной ловли — ее так называют, потому что на стенах изображены сцены охоты. Фрески относятся к шестому веку до Рождества Христова. Время не пощадило их, куски стен отвалились, сырость и влага разъели цвет, казалось, ничего не сохранилось. И все-таки в полумраке мы увидели летящих в тумане птиц, их энергичный взмах крыльев. Воспрянув духом, мы подошли ближе и увидели, что маленькая камера вся расписана, увидели небо и землю, летящих птиц и плывущих рыб, маленьких человечков — охотников, рыбаков, гребцов в лодках. Нижняя часть камеры — голубовато-зеленая, это море, оно бежит рябью вдоль всех стен. Из моря поднимается высокая гора, с которой прыгает обнаженный человек — его силуэт поблек от времени, но все же различим, его прыжок красив и безупречен, позади него его собрат взбирается на гору, а на волнах качается лодка с лежащими на воде веслами, в ней три человека, они наблюдают за ныряльщиком, один из них, обнаженный, выпрямился, воздев руки небу.

И вдруг за лодкой появляется большущий дельфин, косяк птиц взмывает вверх, в чистое небо, чтобы перелететь вершину горы. А надо всем этим, из-за кромки фресок, опоясывающей стены по верху, свисают петли гирлянд: гирлянды из цветов, листьев, бутонов и ягод, гирлянды, принадлежащие девушкам и женщинам, символизирующие их красочный цикл жизни и женское естество. Верхняя часть стены состоит из горизонтальных полос, цветных лент, тянущихся вдоль всей камеры — красных, черных, тускло-золотых, голубых и бледно-желтых, перемежающихся между собой. Мужчины почти все темновато-красного цвета — такой оттенок обычно приобретает загорелая кожа итальянца, после того как он обнаженным побудет под солнечными лучами — как обычно ходили этруски. Женщины — бледнее, потому что они не ходили обнаженными.

В торце камеры, в нише, нарисована другая скала, поднимающаяся из моря, а на ней стоит мужчина, который целится из пращи по разлетающимся в разные стороны птицам. От горы отплывает лодка с большим двухлопастным веслом, на ней обнаженный мужчина машет рукой, прощаясь с товарищем, собравшимся метнуть камень из пращи, другой мужчина перегнулся через борт, стоя на носу лодки спиной к остальным, — он забрасывает в воду сеть. На носу лодки

красивая роспись, чтобы судно видело дорогу. В гавани Сиракуз нынче много двуглазых кораблей. Один дельфин ныряет вниз, другой — выныривает. Летят птицы, с потолка свисают гирлянды.

Все миниатюрное, искрится радостью и энергией жизни, как это бывает только в молодости. Если бы фрески не были так чудовищно испорчены, вы испытывали бы подлинное счастье, потому что перед вами — проявление жизнерадостного, искреннего отношения этрусков к жизни. Это не впечатляющее или величавое зрелище. Но если вы способны довольствоваться искристым напитком жизни, он перед вами.

Маленькая гробница пуста, в ней сохранились лишь потускневшие фрески. Тут нет каменного ложа, только глубокая ниша для ваз — вероятно, в них лежали когда-то драгоценности. Саркофаг стоит на полу, возле дальней стены, как раз под изображением мужчины с пращей. Тут только один саркофаг, здесь похоронен один покойник, в этом некрополе гробницы, относящиеся к более раннему периоду, обычно они строились для одного человека.

На дальней стене, над охотником и лодкой нарисована сцена пиршества, которое устроил усопший, — этот сюжет часто встречается на фресках этрусков. Покойник — к сожалению, его изображение почти не сохранилось, — облокотившись, прилег на своем ложе с плоским сосудом для вина, а рядом с ним красивая, украшенная драгоценностями знатная дама в изысканном наряде, она положила левую руку на его обнаженную грудь, а в правой держит над ним гирлянду: такие гирлянды были чисто женским, праздничным подношением. Позади мужчины стоит обнаженный мальчик-раб, вероятно, с каким-то музыкальным инструментом, а второй рядом наполняет сосуд вином из амфоры или кувшина. Подле женщины стоит девушка, похоже, она играет на флейте, считается, что на подобных традиционных похоронах на флейте играли женщины, а поодаль сидят две девушки с гирляндами, одна обернулась к мужчине с женщиной за поминальным столом, другая сидит спиной. А в углу позади девушек много гирлянд и две птицы, может быть, голуби. На стене за знатной дамой неопределенный предмет, не исключено, что это клетка.

Сцена удивительно естественна, как сама жизнь, но при этом она несет важное для тех времен символическое значение. Это поминальный пир и одновременно пир покойника в загробном мире, потому что загробный мир для этрусков был радостным. Живые поминали покойника под открытым небом возле гробницы, а сам усопший пиршествовал, как живые, знатная дама дарила ему гирлянды, а рабы подносили ему вино — и все это происходило в загробном мире.

Эта глубокая вера в жизнь, жизнелюбие — характерные черты этрусков. И на фресках это по-прежнему сохранилось. Все движения красивы, как в танце, и полны очарования — даже жесты обнаженных рабов. Менее всего они похожи на униженных слуг, что бы ни говорили о них римляне. Рабы в гробницах преисполнены радостью жизни.

Мы поднялись по ступенькам наверх — к легкому ветерку и солнцу. Старенькая собака поднялась на своих слабых лапах, гид загасил лампу и запер ворота, мы двинулись в путь, пес трусил с безразличным видом вслед за хозяином, а тот говорил с ним с мягкой итальянской фамильярностью, столь отличной от манеры римлян и властных латинян.

Проводник направился к другому козырьку в стене. Тут много небольших входов, устроенных местной властью, в отдельно стоящие маленькие гробницы, под навесом — ступеньки, ведущие вниз. Тут все совсем не так, как в Черветери, хотя эти два некрополя находятся в сорока милях друг от друга. Нет города могильных курганов с широкой дорогой между гробницами, внутри которых — многокомнатные дома знатных усопших. Тут склепы с одной маленькой камерой, разбросанные по вершине холма тут и там, хотя не исключено, что если бы провели тщательные раскопки, то обнаружили бы четко спланированный город мертвых с улицами и перекрестками. И не исключено, у каждой гробницы был небольшой насыпной курган, а потому на поверхности земли между могильниками с входами в гробницы

пролегли улицы. Но даже в этом случае все было бы не так, как в Черветери, как в Цере, — могильники были бы маленькими, а улицы, безусловно, — кривыми. Как бы то ни было, сегодня перед нами были повсюду разбросаны маленькие гробницы с одной камерой, а мы ныряли в них, как кролики в нору. Тут тесно, как в садке для кроликов.

Как интересно, что тут все по-другому. Этруски обладали чисто итальянским инстинктом, стремлением иметь самостоятельные города с прилегающей к ним территорией, говорили на своем, отличном от других диалекте, чувствовали себя вполне уютно в своей небольшой столице, хотя конфедерацию городов-государств объединяли общая религия и более или менее общие интересы. Даже сегодня Лукка очень отличается от Феррары, и язык у них вряд ли один и тот же. В древней Этрурии процесс этой изолированности городов, развивавшийся по мере усиления их неприятия всего чуждого им, должен был закончиться. Общениа между простолюдинами, плебсом — жителями Цере и Тарквинии — не было никакого. Конечно, они были друг для друга чужеземцами. Лишь лукомоны, правящие духовные лица, магистраты, представители знатных семей, жрецы, другие знатные мужи и купцы, наверно, поддерживали между собой какую-то связь, говорили на «правильном» этруском языке, а простые люди говорили на диалектах, настолько сильно отличавшихся друг от друга, что казались разными языками. Чтобы представить себе время, предшествовавшее Римской республике, мы должны отказаться от концепции личности и массы, а постараться понять, что такое бесконечное смешение различий.

Мы спускаемся в другую гробницу, которая, по словам гида, называется Гробницей Леопардов. Тут у каждой гробницы есть название, с помощью которого ее отличают от других. В Гробнице Леопардов на дальней стене, под скосом потолка, нарисованы два пятнистых леопарда. Отсюда и название этой гробницы.

Гробница Леопардов — очаровательная, уютная маленькая камера, фрески в ней не сильно испорчены. Все гробницы в какой-то мере пострадали от погодных условий и вандалов, их бросали открытыми, будто то были обычные землянки, безжалостно расхитив их и разрушив.

Но фрески здесь по-прежнему яркие, живые, — красная охра, черный цвет, голубой, синезеленый на удивление свежи и весьма гармоничны на кремово-желтых стенах. Почти всегда на стены гробниц был нанесен тонкий слой штукатурки, ее делали из мягкой глины, которую брали в горе, где строилась гробница, глина эта отличная, желтая, подходит белому золоту, служит ему отличной основой.

На стенах маленькой камеры изображены сцены танца, вызывающие истинный восторг. И кажется, что камера и сегодня населена этрусками шестого века до Рождества Христова — веселым, жизнерадостным народом, жизнь там была ключом. Вот выходят вперед танцоры и музыканты, они двигаются широкими рядами по направлению к передней стене; мы спустились со ступенек, где царит темнота, и сразу же увидели эту стену — на ней сцена роскошного пиршества. Над столом под самым сводом нарисованы два пятнистых леопарда, которые, как полагается, смотрят друг на друга поверх небольшого деревца. На потолке камеры красные, черные, желтые и голубые квадраты, а на стропилах — круги темно-красного цвета, голубого и желтого. Все в цвете, и мы забываем, что находимся в подземелье, нам кажется, что мы в нарядной комнате прошлых времен.

Танцоры на правой стене двигаются вперед быстро, но со странной осторожностью. На мужчинах ничего нет, кроме просторного разноцветного шарфа или красивой хламиды, в которую они завернулись, как в мантию. Subulo, флейтист, играет на двойной свирели, любимом инструменте этрусков, он прикасается к клапанам большими, чересчур большими руками, стоящий позади него человек перебирает струны семиструнной лиры, а тот, что перед ними, подает им знаки левой рукой, держа в правой огромный сосуд с вином. И они двигаются вперед, ступая длинными, обутыми в сандалии ногами, мимо низкого дерева, усыпанного оливками, они идут быстро, движения рук и ног полны жизни, до краев переполнены ею.

Эти бодрость, жизнелюбие сильного тела — характерные черты этрусков, ими пронизано все их искусство. Вы не способны думать об искусстве, а лишь о жизни, словно перед вами сама жизнь этрусков, в летящих цветных одеждах, мощных, с непомерно большими голыми руками и ногами, красными от солнца и моря, это сама жизнь танцует, играет на флейте меж небольших оливковых деревьев на открытом воздухе.

На дальней стене замечательная сцена пиршества. Гости прилегли на своих ложах, покрытых клетчатой тканью, дело происходит на открытом воздухе, на фоне маленьких оливковых деревьев. Шесть участников пира — смелые, энергичные люди, похожие на танцоров, но мощные, крепкие, они ведут себя достойно, не выставляя напоказ своей силы, но и не расслаблены, не теряют контроля над собой даже в критические моменты. Они полулежат на ложах парами, мужчина с женщиной, в удивительно спокойных позах. Две женщины, сидящие рядом, — гетеры, куртизанки, волосы у них желтого цвета, любимого среди женщин легкого поведения. Мужские фигуры темно-красного цвета, обнажены до пояса. Женщины, нарисованные на кремовом фоне, — светловолосые, в легких, тонких платьях, до бедер укутаны в богатые мантии. У них довольно независимый, смелый вид, наверное, они куртизанки.

Крайний мужчина держит между большим и указательным пальцем яйцо, он показывает его светловолосой женщине, склонившейся на ложе подле него, она протянула левую руку, словно хочет прикоснуться к его груди. В правой руке мужчина держит большой кубок с вином, приготовившись его осушить.

Следующая пара — мужчина и светловолосая женщина, оглядываются вокруг себя и приветственно машут правой рукой, она согнута в обычном для этрусков приветственном жесте. Такое впечатление, что они приветствуют таинственное яйцо, которое держит крайний мужчина, он, без сомнения, — покойник, в честь него и происходит поминальное пиршество. Перед второй парой стоит голый раб с венком на голове, он размахивает пустым кувшином, словно хочет сказать, что сейчас принесет еще вина. Другой раб, стоящий поодаль, держит в руках странный предмет, то ли секиру, то ли веер. Последние участники пира очень плохо сохранились. Один подносит другому гирлянду, но не надевает ее ему на шею, как это в обычае по сей день в Индии, в знак почтения.

Над пирующими под потолком нарисованы два огромных пятнистых леопарда, свесивших языки и смотрящих друг на друга, — они сидят по разные стороны невысокого деревца, приподняв лапу, — подобные изображения встречаются на древних гербах. Это леопарды или пантеры из подземного царства Вакха, стерегущие его врата от мирских забот.

В этих простых сценах есть нечто мистическое и зловещее, в них заключен гораздо более глубокий смысл, нежели рассказ о повседневной жизни. Но в них столько света и радости! И вместе с тем — значительность, глубина, выходящие за рамки эстетической красоты.

Когда вы начинаете все внимательно рассматривать, то понимаете, как много заключено в этих фресках. А если просто взглянете мельком, то ничего особенного не обнаружите в этой маленькой камере с неприметными, плохо сохранившимися, нарисованными темперой фресками.

В некрополе много гробниц. Посмотрев одну, мы поднимались наверх, немного сбивые с толку, поднимались к яркому солнцу, потом пересекали дорогу возле изрытого холма и снова спускались вниз, как кролики в нору. Вершина горы, в самом деле, — кроличий садок.

И постепенно подземный мир этрусков становился более реальным, чем раньше. Мысленно мы уже не расставались с танцорами, участниками поминального пиршества, близкими родственниками усопшего, с нетерпением искали их снова.

Очень красивая гробница с фресками, изображающими сцены танцев, — Tomba del Triclinio, или del Convito, оба названия означают Гробница Праздника. Размерами и конфигурацией она почти такая же, как другие, те, что мы уже видели. Маленькая камера, пятнадцать футов на одиннадцать, шесть футов высотой возле стены, в центре — около восьми. Это тоже гробница

одного покойника, как почти все здесь гробницы с фресками. Внутри нет никакого убранства. Половина помещения выдолблена в скале желто-белого цвета, и пол здесь на два-три дюйма выше, на одной стороне платформы четыре отверстия для ножек саркофага. А так здесь лишь раскрашенные стены и потолок.

Но до чего же здесь было хорошо, да и сейчас хорошо! По кругу, вдоль всех стен, нарисована группа танцоров. До сих пор краска на фресках яркая, свежая, женщины в тонких пятнистых платьях из хлопка и цветных мантиях с оторочкой по краю, мужчины только в накидках. Вакханка резко откинула голову назад, согнула свои длинные сильные пальцы, в ней горит пламя, но она сдерживает себя, а мужественные юноши повернулись к ней, подняв руки и приблизив их к рукам вакханки так, что их пальцы почти сомкнулись. Они танцуют на лужайке, позади — деревца, порхают птички, маленькая собачка с пушистым хвостом наблюдает за чем-то наивно и пристально, как щенок. Буйно, восторженно танцует другая женщина, каждая клетка ее тела участвует в танце, — она в мягких ботинках, на ней мантия с каймой, руки в украшениях, и вспоминается старое изречение, что каждая частичка тела и *ánima** должны познать религию, услышать Бога. К ней подходит юноша с двойной свирелью, он идет танцующей походкой. На нем лишь льняная накидка с каймой, она свисает с плеч, а ноги пляшут, словно сами по себе. А еще видно волнение на его лице, когда он поворачивается к женщине, стоящей позади него: та склонилась и бьет в кастаньеты.

У нее светлая кожа, как и у всех женщин на этих фресках, а у него темно-красная. Такова условность, которую соблюдали художники этих гробниц. Но это больше, чем условность. В старину мужчины красили себя алой краской, когда исполняли священные ритуалы. Так делают и сегодня краснокожие индейцы. Когда они хотят предстать во всей своей священной, но зловещей сути, они красят себя целиком красной краской. Поэтому их и называют краснокожими. В далеком прошлом перед всеми серьезными и торжественными церемониями они втирали в кожу красный пигмент. И то же самое они делают сегодня. А когда современные индейцы хотят придать мужества и силы своему облику, да так, чтобы это сразу было заметно и убедительно, они красят кожу вокруг глаз киноварью, втирая ее в кожу. Вы можете повстречать их и сегодня на улицах американских городков.

Это очень древний обычай. Американские индейцы скажут вам: «Красная краска как лекарство, она заставит тебя увидеть меня!» Но слово «лекарство» они употребляют не в том смысле, в каком мы. Это нечто более глубокое, чем магия. Красный — цвет его священного, могущественного, божественного тела. Очевидно, так же было и у народов Древнего мира. Красный мужчина — божествен. Мы знаем, что цари Древнего мира появлялись перед народом, предварительно выкрасив лицо киноварью со свинцовым суриком. И Иезекииль говорит: «И Я увидел, что она осквернила себя, и что у обеих одна дорога. Но эта еще умножила блудодеяния свои, потому что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев... похожих на сынов Вавилона, которых родила земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих...» (Иезекииль, 23:14-15).

У этрусков обычай рисовать своих мужчин ярким красным цветом — дань условности и одновременно символ. Здесь, в гробнице, все имеет священный аспект или некое скрытое значение. А к тому же красный цвет не совсем уж неестественный. Когда наш современник итальянец почти голый загорает на пляже, он становится приятного темно-красного цвета, смуглым, как любой итальянец. А этруски ходили практически всегда обнаженными. Солнце окрашивало их в цвет свинцового сурика.

Танцоры танцуют, птички порхают, кролик копается под деревцем в бугорке земли, напоенной жизнью. А на деревце висит узкий шарф с каймой, похожий на эпитрахиль священника, еще один символ.

На дальней стене нарисована сцена пиршества, она очень плохо сохранилась, но по-прежнему представляет интерес. Мы видим два ложа, на них лежат мужчина и женщина.

Женщина темноволосая, значит, она не куртизанка. Этруски разделяли ложе, на которых возлежали во время пиров, со своими женами, причем у них это был более распространенный обычай, чем у греков или римлян в тот период. Античный мир считал, что порядочной женщине не пристало полулежать возле стола, пусть даже и в кругу семьи, как это делали мужчины. Если женщина появлялась во время трапезы на людях, она должна была сидеть на стуле.

А на этой фреске женщины спокойно лежат с мужчинами, у одной обнажена ступня, белеющая на темном ложе. Перед lecti* стоит маленький низкий квадратный столик с изысканными блюдами. Но участники пиршества не едят. Одна женщина подняла руку к голове, словно приветствуя стоящего поодаль в накидке юношу, играющего на свирели, другая женщина, похоже, говорит своей очаровательной служанке «Нет!», отмахиваясь от нее левой рукой, та стоит подле нее и предлагает alabastron**, сосуд с притираниями, а крайний мужчина держит в руках яйцо. С бордюра, вдоль которого вьется плющ, свисают венки, мальчик несет кувшин с вином, звучит музыка, под ложем притаилась кошка, а за ней зорко следит петух. Глупая куропатка беспечно разгуливает тут же.

В этой красивой гробнице по балкам крыши и вдоль бордюра на стенах нарисовано очень много ветвей и ягод плюща: ведь тут подземное царство Вакха. Своды раскрашены красными, черными, белыми, голубыми, коричневыми и желтыми квадратами. В переднем углу вместо геральдических животных нарисованы два обнаженных мужчины, сидящих спиной к увитому плющом алтарю, один мужчина вытянул руку, и она видна на фоне плюща. Но другого мужчину почти не видно. В ногах его, в углу, сидит горлица, символ души, невидимой нашему глазу, она воркует.

Эту гробницу открыли в 1830 году, и до сих пор фрески в ней хорошо сохранились. Интересно, что Фриц Виг в своей работе «Etruskische Malerei» поместил репродукции старой фрески с танцорами с правой стены. Это хорошая репродукция, но если взглянуть в нее внимательнее, то обнаруживаются изъяны — как в воспроизведении линий, так и в общей композиции. Этруские фрески написаны не в европейской традиции, поэтому копировать их очень трудно. На картине кролик получился пятнистым, словно это какая-то странная кошка. А на деревце перед юношей со свирелью сидит белка, там много цветов и других деталей, которые не сохранились на фреске.

И все-таки это отличная репродукция, не в пример другим, воспроизведенным Вигом с картин, перенесенных на холст и выполненных в греческих традициях согласно представлениям наших прадедов о том, какими должны быть фрески этрусков, что весьма забавно. На самом деле, эти картины будут всегда служить нам уроком — не следует решать, какими должны быть произведения искусства, ибо они прекрасны именно такие, какие они есть.

Мы выбрались на свет божий и несколько минут шли под открытым небом. Потом снова спустились. В Гробнице Vaschanti* цвета практически не сохранились. Но мы снова увидели и на дальней стене странного, таинственного танцора с цитрой, выступающего из толщи веков, а позади него, за деревцем, — мужчина с короткой бородой, тоже принадлежащий иному, смутному, древнему миру, сильный и мистически мужественный, он наклонился к дикой архаичной девушке, а та, протянув руки, отвернула от него взволнованное нежное лицо. Как прекрасно ощущать мощь и таинство жизни древних, которой дышат эти поблекшие фигуры! Этруски по-прежнему здесь, на этой стене.

Над фигурами, в углу, два пятнистых геральдических оленя встали на дыбы друг перед другом, между ними — алтарь, а позади — два темных льва со светлыми гривами и высунутыми языками, они подняли лапу, чтобы вцепиться в ногу оленей. И так повторяется старая история.

С бордюра свисают гирлянды, а на потолке нарисованы маленькие звезды и цветы с четырьмя лепестками. Как плохо все сохранилось! Но сколько жизни даже в последнем дыхании цвета и формы!

В Tomba del Morto, Гробнице Мертвеца, вместо сцены пиршества изображен покойник на своем ложе, над ним нежно склонилась женщина, чтобы прикрыть его лицо. Очень похоже на сцену пиршества. Но как все испорчено временем! Под сводами два темных геральдических льва занесли лапу над двумя прыгающими, испуганными, оглядывающимися птичками. Это новая вариация. На разрушенной стене — ноги танцора, и пусть до нас дошел лишь фрагмент фрески, в этих ногах этруска больше жизни, чем в телах наших современников. Рядом весьма впечатляющая темная фигура обнаженного мужчины, простершего руки, в которых он вертикально держит большой сосуд с вином; эта простертая рука и закрытое лицо создают необычное ощущение конца. Венок на голове и небольшая борода клином дополняют ощущение призрачности и значительности.

Очень красива Tomba delle Leonesse, Гробница Львиц. В углу две геральдические пятнистые львицы с округлым выменем стоят друг против друга по обе стороны алтаря. Под ними — большая ваза, подле нее один юноша играет на флейте, другой — на цитре, они прославляют своей музыкой священные дары, что заключены в вазе. С другой стороны фрески — вереница танцоров, очень сильных и энергичных. Под танцорами — панель, расписанная лотосами, а еще ниже, вдоль всех стен камеры, — резвятся дельфины, они прыгают в мелкую рябь моря, а меж них летают птицы.

На правой стене полулежит очень красивый смуглый мужчина в необычном головном уборе с длинными хвостиками-косичками. Он держит в правой руке яйцо, а в левой — широкий кубок с вином. Шарф, напоминающий эпитрахиль, жреца, символ его занятий на земле, висит на дереве рядом с ним, тут же — гирлянда, символизирующая его земные радости. Он держит яйцо Воскресения, в котором спит ядро, как душа спит в гробнице, покуда не разобьет скорлупу и не выйдет снова на свет Божий. Другой мужчина тоже полулежит, рядом с ним висит гирлянда из ромашек, наподобие той, что мы плетем в детстве для венка. К нему подходит обнаженный, очень привлекательный мальчик со свирелью.

В Tomba della Pulcella, Гробнице Девушки, сохранились, хотя и поблекли, мощные фигуры за пиршественным столом; великолепен узор покрывал на ложах — меандр из квадратов — и красивые мантии.

В Tomba dei Vasi Dipinti, Гробнице Расписных ваз, на боковой стене нарисованы большие амфоры, а к ним устремляется таинственный танцор, в летящих одеждах. На амфорах — их две — изображены сцены, которые и сегодня можно увидеть. На дальней стене — прелестная фреска небольшого пира, мужчина с бородой нежно прикасается к подбородку женщины, лежащей с ним рядом, слуга-мальчик стоит подле с безмятежно-ребячливым видом, а под ложем пугливо затаилась собачка. Kylix, кубок для вина, безусловно, самый большой из тех, что были обнаружены в гробницах, — художник, естественно, его специально увеличил, чтобы подчеркнуть важность праздника. Мужчина очень ласково и изящно, с удивительной нежностью, трогает женщину под подбородок. И это одна из притягательных особенностей этрусских фресок — они передают связь между людьми, ибо люди и все божьи твари — в самом деле, единое целое. И это великий дар — как в жизни, так и в искусстве. Люди часто протягивают друг к другу руки, а звери — лапы, стараясь прикоснуться друг к другу, но на современных картинах запечатлен лишь жест, желание, а не само прикосновение. Они часто обнимаются, кладут друг на друга руку. Но в них не ощущается стремления к этому прикосновению, душевный порыв. Это единение исходит не из души, а лишь из соприкосновения поверхностей, соответственного расположения предметов. Именно это делает полотна многих мастеров такими скучными, несмотря на отменную композицию. А здесь, в этих поблекших этрусских фресках, ощущаешь тепло близости мужчины и женщины на ложе, робкого мальчика, стоящего позади них, собачки, поднявшей нос, даже гирлянд, свисающих со стены.

Над ложем, в углу, вместо львов и леопардов, нарисован морской конек, любимое животное этрусков, детище их воображения. Это конь, туловище которого оканчивается длинным рыбьим хвостом. На фреске два морских конька, они смотрят друг на друга, встав на дыбы, а их рыбы

хвосты подняты и повернуты в сторону узкого угла под потолком. Это любимый символ этрусков-мореплавателей.

В Tomba del Vecchio, Гробнице Старца, красивая женщина с волосами, зачесанными назад на восточный манер и спрятанными под головной убор в форме длинного конуса, похожего на большой желудь, преподносит красивую, изящную гирлянду седобородому старику, а он выглядывает из-за нее. Он простирает к женщине левую руку, жест этот торжествен и, безусловно, что-то означает.

А над ними вставший на дыбы олень, попавший в смертельные объятия двух львов. И надо всем этим катятся молчаливые волны забвения, утраченного времени, гибели.

И мы идем от одной гробницы к другой, от одной поблекшей фрески к другой, нас распирает радость от того, что так много найдено, и разочарование, что так много утрачено. Одна гробница за другой, и почти все поблекло, или уничтожено, или изъедено щелочью, или разбито. Фрагменты фигур людей на ложах, руки и ноги, которые танцуют сами по себе, хотя танцоров нет, птицы, летающие в пустом пространстве, львы, чьи хищные морды съело время! Некогда все сияло и плясало: восторг подземного мира, где чествовали покойников вином, танцоры двигались под звуки свирели, а руки и ноги кружили в вихре танца. Все выражало глубокое и искреннее почтение к покойнику и к таинствам. Подобное отношение прямо противоположно нашему, у античных народов была своя философия. Как писал один языческий автор: «И каждая частица нас и нашего тела преисполнится религиозного чувства, так пусть ублажают песни наши души, пусть прыгают и танцуют наши ноги и наши сердца, ибо все в нас познало богов».

И мы наблюдаем это в этрусских танцорах. Они познали бога всем своим существом, до кончиков пальцев. Фрагменты прекрасных рук, ног и тел, кружащихся в пляске на поле забвения, словно говорят нам о том, как все в человеке почитает богов, он верует в них, и фреска напоминает нам о вере этруска.

Но больше мы не в состоянии спускаться в гробницы. Когда мы снова выныриваем наверх, воздух кажется мертвенно-бледным и бесплотным, бледным от света, льющегося с моря, и от приближающегося вечера. И старая собака медленно, с трудом снова поднимается и ковыляет за нами.

Решено — Tomba delle Inscrizioni, Гробница Надписей, — на сегодня последняя. Там сумрачно, но прекрасно: во вспыхнувшем свете лампы мы увидели перед собой заднюю стену, на ней нарисована дверь, будто прибитая белыми гвоздями, словно она ведет в следующую камеру, слева — смутные очертания высоких всадников, а справа — едва различимые силуэты безумных, точно демоны, танцоров.

Всадники — обнаженные мужчины на четырех лошадях, по их жестам можно подумать, что они направляются к нарисованной двери. Лошади — рыжие и черные, у рыжих голубые морды и копыта, у черных — рыжие или белые. У этих высоких архаичных лошадей на тонких ногах шея изогнута, словно кривой нож. Они осторожно, изящно скачут, размахивая длинными хвостами, приближаясь к темно-красной двери смерти.

Слева еще один поток скачущих танцоров, играющих на свирели, несущих гирлянды и сосуды с вином, они вскинули вверх руки, как заправские гуляки, высоко подняли колени, подают какие-то знаки своими длинными руками. Возле некоторых короткие надписи — это их имена.

А над нарисованной дверью, в торце комнаты, красивая фреска — два черных, с белыми мордами и широкой пастью льва сидят спиной друг к другу, они подняли хвосты, как кривые стволы деревьев, и занесли темные лапы над испуганно склонившими головы пятнистыми оленями, дрожащими от страха перед смертельным ударом. Позади каждого оленя — маленький темный львенок, он притаился в углу, изготоясь укусить дрожащую жертву и нанести ей вторую смертельную рану. Смертельные раны — на шее и на боку.

В другой стороне гробницы фрески с борцами и игроками, но от них нынче почти ничего не осталось! Уже ничего не различить, не угадать в тенях на стенах непобедимых, жизнелюбивых этрусков, которых римляне называли порочными, но чья жизнь в этих гробницах полна энергии и темперамента.

Воздух наверху блеклый и почему-то пустой. Мы ничего уже не видим — ни подземный мир этрусков, ни обычный, буднично-мир. Усталые, молчаливые, мы бредем назад в город, сопротивляясь ветру, старая собачонка мужественно ковыляет следом. А проводник обещает отвести нас на следующий день к другим могилам.

Красота этрусских сцен запоминается надолго. Леопарды с длинными свисающими языками, плывущие морские коньки, испуганные пятнистые олени со смертельными ранами на шее и на боку, они захватывают ваше воображение и не покидают вас. И мы видим волнистый край моря, резвящихся дельфинов, красиво и четко прыгающего вниз ныряльщика, быстро карабкающегося к нему на гору человечка. А потом видим мужчин с бородой, полулежащих на пиршественных ложах — как они держат мистическое яйцо! И женщин в коническом головном уборе, как удивительно они склонились вперед, с какой нежностью, неведомой нам теперь! Обнаженные рабы весело тянутся к сосудам с вином. Их обнаженные тела — лучшая одежда, она куда легче, чем платье из ткани. Изгибы их рук выдают чистейшую радость жизни, радость, которую еще ярче выражают руки и ноги танцоров, большие, длинные руки, вытянутые вперед, до кончиков пальцев упоенные танцем, танцем, который рождается в их душе, как течение в глубинах моря. Такое впечатление, будто мощный поток другой, яркой жизни захватил их, поток, не похожий на наше серое, будничное существование — словно они черпают свою энергию из иных глубин, о которых мы не хотим ничего знать.

И все-таки за несколько веков они растеряли свою энергию. Римляне отобрали у них жизнь. Такое впечатление, что сила сопротивления жизни, самоутверждение и борьба за превосходство — качества, которые ценили римляне: власть, которая должна помнить о морали, насаждать мораль как прикрытие внутреннего уродства, всегда будет преуспевать в разрушении естественной, гармоничной жизни. Но все-таки пока что сохранились кое-где дикие цветы и твари.

Естественная, гармоничная жизнь! Доля человека не такая легкая, как кажется. Жизнеспособность этрусков зиждилась на религии, которую проповедовали лучшие представители этого народа. Понимание жизни, даже наука жизни, концепция о Вселенной и месте человека в ней лежали в основе искусства танца, помогали жить человеку в полную силу.

Для этрусков все сущее было живым, вся Вселенная была живой, и удел человека — уметь жить в этой Вселенной. Он должен был питаться жизненной энергией от мощной энергетики окружающего мира. Космос был живым организмом, как огромное существо. Все дышало и двигалось. Испарения поднимались вверх, будто дыхание из ноздрей разбушевавшегося кита. Небеса вдыхали их, принимали в свою голубую грудь, задерживали в себе, будто осмысляя их, а потом выдыхали, преобразовав в иную материю. А в недрах земли полыхало пламя, словно в жаркой, алой печени животного. Из расселин земли вырывалось иное дыхание, испарения существа, обретающегося под землей, эманация, пробуждающее вдохновение. Все было живое и имело беспредельную душу, или *anima*, и вместо одной огромной души были мириады кочующих малых душ: каждый человек, каждая тварь, дерево, озеро, гора, ручей были одушевленными, обладали своей, неповторимой сутью. И сегодня это так.

Космос был един, и его *anima* была единой, но он состоял из творений, самое большое творение — земля со своей душой, с горящим в ее недрах пламенем. А солнце было лишь отражением, средоточием лучей, отсветом этого гигантского пламени. Противовесом земле было море, его воды текли, и замирали, и хранили в объятиях свою неповторимую душу. И хотя земля и хляби раскинулись рядом, они совершенно разные!

Так это было. Вселенная, единое живое творение с единой душой, постоянно менялась: в то самое мгновение, когда вы подумали о ней, она уже начинала двоиться, и у двойника, огненного и переполненного хлябями, уже нарождалось две души, а они тоже то сливались в единое целое, то распадались на части, которые сохраняли постоянное равновесие благодаря энергии Вселенной. Так они постоянно сливались воедино и снова распадались, превращаясь в мириады вулканов и морей, ручьев и гор, деревьев, земных тварей, людей. И при этом все раздваивалось, поскольку было двойственно, смешиваясь и распадаясь на части.

Старая идея об энергии, жизненной силе Вселенной появилась на свет в доисторические времена, а потом, когда она развилась во всеобъемлющую религию, только тогда мы обратили на нее внимание. Но на заре истории в Китае, или Индии, или Египте, или Вавилоне, или даже на островах Великого океана и в Америке, где еще обретались аборигены, мы обнаруживаем свидетельства всеобъемлющей религиозной идеи — концепцию жизненной энергии космоса, мириады жизненных сил, находящихся в диком хаосе, но при этом подчиняющихся некому определенному порядку, и человек среди этой сияющей неразберихи пускается в опасные путешествия, сражается, борется во имя одной-единственной цели — во имя жизни, жизненной силы, потом еще большей жизненной силы, с тем, чтобы вобрать в себя как можно больше лучезарной энергии космоса. И это бесценно. Активная религиозная идея заключается в том, что человек, призвав на помощь все свое внимание и сноровку, сгруппировав все свои силы, может впитать в себя больше жизни, больше искрящейся энергии, и благодаря этому он просияет, словно утро, словно божество. Когда человек хотел максимально проявить себя, он красил себя киноварью, цветом зари, и въяве становился божеством алого цвета, преисполненным жизни. Он становился принцем, царем, этрусском — лукомоном, фараоном, Бальтазаром, Ашшурбанипалом, Тарквинием, а в немоющем *decrescendo** — Александром, Цезарем, Наполеоном.

Такова идея, лежащая в основании всех античных цивилизаций. Она даже возникала в голове Давида, пусть и в несколько иной форме, и ее отголоски мы находим в псалмах. Но, согласно Давиду, живой космос был преусуществлен в Боге. У египтян, вавилонян и этрусков не было персонифицированных богов. Были лишь идолы и символы. Космос был живым сам по себе, невероятно сложным, имевшим божественную природу, его осмыслить был в состоянии только человек, сильный духом, и только в моменты просветления. И только редкой душе дано было впитать в себя последнюю искру жизни. И тут же человек превращался в царя и божество.

В этом заключена античная идея царей, правителей, чья жизненная сила делала их богами, потому что они вбирали в себя по малой толике жизненную мощь Вселенной, пока их не покрывали алые одежды и они не становились частью подземного пламени. Фараоны и цари Ниневии, цари Востока, этруски-лукомоны, все они — хранители живых ключей к чистому огню, к космической энергии. Они сами — живые ключи к жизни, алые ключи к таинству и восторгу смерти и жизни. Явившиеся в телесной оболочке, они отмыкают огромную сокровищницу космоса для своего народа, открывают жизнь и указывают путь в темноту смерти, горящую голубым пламенем единого огня. Они в своей телесной оболочке несут жизнь и ведут в царство смерти, они идут первыми в темноте и выходят к свету солнечного дня, но в них самих заключен свет, который ярче солнца. Приходится ли удивляться, что эти знатные покойники все в золоте — как в этом мире, так и в загробном?!

Носители жизни и проводники смерти. Но они оставляют стражей у врат в царство жизни и царство смерти. Эти стражи хранят тайны и оберегают путь. Лишь единицы посвящены в тайну купели жизни и купели смерти — водоем внутри водоема, на дне которого еще водоем, а когда человек ныряет туда, он становится темнее крови, встречаясь со смертью, и ярче пламени, встречаясь с жизнью. Пока наконец он не становится алым, как сама жизнь, как киноварь.

Люди не посвящены в космические идеи, им неведомо пробудившееся, пульсирующее, более жизнеспособное сознание. Можете сколько угодно стараться, но вам никогда не удастся открыть людям глаза, помочь им постичь мироздание. Их кругозор и знания весьма ограничены. Поэтому вы должны дать им символы, ритуалы, жесты, которые помогут им понимать жизнь

в полной мере. Но если вы не остановитесь и раскроете перед ними все тайны бытия — это чревато для них гибелью. Поэтому подлинное знание следует охранять от них, поскольку, овладев формулами, не испытав на себе все, что послужило основой для этих формул, люди могут стать высокомерными и нечестивыми, решив, что у них уже есть все, тогда как у них лишь слова, пустые, как собачий лай. Эзотерическое знание будет всегда эзотерическим, поскольку знание — это прежде всего опыт, а не формула. Глупо обучать людей формулам. Даже неглубокие познания весьма опасны. И наш век доказал это, как ни один другой. Пустая болтовня стала самой разрушительной силой.

Ключ от тайн жизни этрусков хранил лукомон, жрец. Ниже его на социальной лестнице были князья и воины. Потом уже простолюдины и рабы. Простой люд, воины и рабы не помышляли о религии. И скоро религия этрусков исчезла. Остались символы, священные танцы. Потому что этруски постоянно прикасались — в прямом смысле этого слова — к таинствам. И это «касание» было равновеликим как для лукомона, так и для жалкого раба. Пульсацию крови нельзя остановить. Но «знание» было достоянием знати, аристократии.

И вот в гробницах мы находим лишь простое, наивное, непосвященное видение мира простыми людьми. Тут нет и намека на живопись жрецов Египта. Символы для художника лишь удивительные формы, переполненные эмоциями и подходящие для украшения фрески. И так было всегда в этруском искусстве. Художники, очевидно, принадлежали к простолюдинам, мастеровым и ремесленникам. Похоже, они были коренными италийцами, ничего не смыслили в замысловатых, непростых канонах религии, пришедшей с Востока, хотя, без сомнения, жесткие догматы официальной религии были такими же, что и установки примитивной религии аборигенов. Те же самые жесткие догматы прослеживаются в религиях всего варварского мира того времени — друидов, тевтонов и кельтов. Но пришедшие в Этрурию владели тайной науки и философии своей религии, и они передали простым людям символы и ритуалы, позволив художникам распоряжаться ими по своему усмотрению, что доказывает, что над ними не тяготела тиранья священников.

Позднее, когда после Сократа цивилизованный мир оказался во власти скептицизма, религия этрусков стала умирать. Этруски попали под влияние греков и их рационализма, греческие мифы вытеснили этрусский символический образ мысли. И снова необразованные этрусские художники стали абсолютно свободно, как им хотелось, интерпретировать теперь уже не символы и образы своих соплеменников, а греческие мифы.

Но одну, основополагающую тайну этруски никогда не забывали, ибо это было у них в крови, как и у их мастеров, — таинство путешествия за пределы жизни в царство смерти, путешествие в смерть и жизнь после смерти. Чудо их души было заключено в таинстве этого паломничества.

И мы наблюдаем это в гробницах — чудеса и неземные страсти, трепещущие перед лицом смерти. Обнаженный, освещенный мерцающим светом мужчина движется во Вселенной. Потом наступает смерть, и он ныряет в море, плывет в подземное царство.

Море — это изначальная, первобытная стихия, у которой тоже есть душа, а ее духовная суть — лоно всего тварного мира, из него все выходит и в него все погружается вновь. Противовесом морю выступает земля с ее внутренним огнем, узилищем человека после смерти и до его рождения. За пределами хляби и вечного пламени есть нечто, о чем люди ничего не знают, эту тайну держат за семью печатями лукомоны, так же, как они держат в руке ее символ.

Но море люди познали. Как дельфины неожиданно выпрыгивают из воды и вновь ныряют в нее, так и тварь земная внезапно появляется на белый свет, из ниоткуда. Ее не было, и вдруг — ого! — она появилась. Переливчатый, как радуга, дельфин перестает играть в волнах лишь тогда, когда ему приходит время умирать. Вот он выпрыгнул из воды и в ту же секунду снова ныряет головой вниз. Он полон жизни, подобен фаллосу, несущему яростную искру зарождения во влажные глубины лона. Ныряльщик делает то же самое: подобно фаллосу, он несет свою

крохотную жаркую искру в глубины небытия. А море отказывается от своих мертвецов, как от дельфинов, что всплывают на поверхность, и радуга остается навечно внутри них.

Совсем иное дело утка, которая плавает по воде и бьет крылами, голубой селезень или гусь — этрусски часто рисуют гуся, того самого, что спас Рим во тьме ночи.

Утка не обитает под водой, как рыба. Рыба — это *anima*, одушевленная жизнь, ключ к бескрайнему морю, к водной стихии. По этой причине в годы раннего христианства Иисуса изображали в виде рыбы, особенно в Италии, где все еще мыслили категориями этрусских символов. Иисус был *anima* бескрайней, влажной, плодоносной стихии, которая противостояла алому пламени, — излюбленному цвету фараонов и царей Востока, старавшихся облачаться в алые и пурпурные одежды.

Утки в отличие от рыбы не подводная природа. Она плавает по водам, в ней течет жаркая кровь, частица алого пламени, животного воплощения жизни. Она ныряет и чистит себе перышки над водой. Утка стала для человека символом той части его природы, которая испытывает восторг от водной стихии, ныряет вниз, и выпрыгивает, и встряхивает крылами. Это символ фаллоса человека и фаллической жизни. И вы видите, как мужчина держит на руке жаркую мягкую настороженную птицу, протягивая ее девушке. И сегодня краснокожий индеец преподносит девушке тайком подарок — сделанную из глины, полую внутри птицу, в которой горит маленький огонек и тлеет ладан. Это частица его самого и пламени его жизни, которую он предлагает девушке. И это понимание происходящего, настороженность, иной тип сознания, который пробуждается ночью и будит весь город.

А девушка предлагает юноше гирлянду, венок из цветов, что растут возле «водоема», венок можно надеть юноше через голову на плечи в знак того, что она передает ему мощь своей тайны, свою силу, женскую силу. Ибо что бы вы ни возложили на плечи человеку, это знак того, что вы тем самым прибавили ему мощи.

Зловещими вестниками летят по стенам гробниц птицы. Художник, наверно, часто видел этих прорицателей, авгуров с птицами в руке, где-нибудь высоко на горе наблюдавших за полетом жаворонков или голубей в небе. Они читали знаки и предсказания, искали приметы, как им направить течение какого-нибудь важного дела. Нам это может показаться глупым. Для них — птицы с горячей кровью пролетали сквозь пространства Вселенной, подобно предчувствиям, теснящимся в груди человека, или мыслям в его голове. Внезапно вспорхнувшие или зависшие в воздухе, прилетевшие издалека птицы проникали в глубины сознания, в сложное хитросплетение судеб всего сущего. А поскольку в античном мире все сущее соотносилось друг с другом, грудь человека была зеркалом, отражением небес, и *vice versa**, птицы летели к зловещей цели — как в груди наблюдавшего за ним человека, так и в небесах. Если авгур видел птиц сердцем, он прорицал уготованное судьбой.

Наука прорицания, конечно же, не точная наука. Но она так же точна, как точны современные науки — психология или политическая экономика. И авгуры были столь же умны, как и наши политики, которые тоже должны уметь гадать, если вообще они способны на что-нибудь стоящее. Другого пути нет, если вы имеете дело с самой жизнью. А если вы живете, веруя в космические силы, вы должны искать разгадку в космосе. Если вас ведет личный бог, вы молитесь ему. Если вы рационалист, вы все обдумываете несколько раз. Но, в конечном счете, все это вещи одного порядка. Молитва или мысль, или изучение звезд, или наблюдение за полетом птиц, или предсказание по внутренностям жертвы, это один и тот же процесс — процесс гадания. Он целиком и полностью зависит от правдивой, искренней религиозной сосредоточенности на объекте. Отрешившись от всего и сосредоточившись, — если вы на это способны, — вы получите ответ. Вам самому следует выбрать объект для концентрации вашего внимания, тот объект, на котором вы сосредоточите все ваши духовные силы. Любое подлинное открытие, любое важное и значительное решение, — результат гадания. Душа пробуждается, вы полностью собираетесь — и открытие совершено!

Наука авгуров и гаруспиков не столь глупа по сравнению с современной политической экономией. Если жаркая печень жертвы проясняет душу гаруспика и дает ему способность абсолютного внутреннего внимания, а только оно помогает ему получить окончательный ответ и сообщить его нам, то к чему же нам ссориться с гаруспиком? Для него Вселенная была живым организмом, где все существует в трепетной гаррот*. Для него и кровь все осознавала, поэтому он думал своим сердцем. Для него кровь была алым, сияющим потоком самого сознания. А потому печень, самый важный орган, в котором кровь боролась и «побеждала смерть», была средоточием глубочайшего таинства и значения. Она пробуждала душу и очищала сознание, ибо она к тому же была его жертвой. И вот он пристально вглядывался в печень, расчерченную, как карта звездного неба, но эти поля и области на печени были отражением алого, сияющего сознания живой твари. Следовательно, в ней, в печени, есть ответ на вопрос, будоражащий кровь гаруспика.

То же самое и в чтении по звездам, по звездному небу. Объект, который способен привести вас в состояние полного внимания в момент, когда вы в затруднительном положении, способен помочь вам разрешить вашу дилемму. Но, бесспорно, это гадание. Как только кто-то претендует на непогрешимость и строго научные выводы, ждите подтасовки и обмана. И это в равной степени справедливо как в отношении прорицаний авгура и астрологии, так и молитвы и абстрактных умозаключений, более того, это относится и к открытиям основополагающих научных законов и принципов. Сегодня люди жонглируют молитвами, как раньше они это делали с помощью своих прорицаний, точно так же они показывают свои научные фокусы. Любое великое открытие или решение происходит исключительно благодаря гаданию, благодаря верной догадке. Факты подбирают уже потом. Попытка угадать, предсказать — с помощью молитвы, усилием интеллекта или опытным путем, обернется плутовством, если вы приступаете к делу с нечистым сердцем. Нечистые, греховные помыслы Сократа толкали его на плутовство, подмены в его логических постулатах. И, конечно же, когда античный мир оказался во власти скептицизма, гаруспики и авгуры были объявлены мошенниками и фокусниками. Но на протяжении долгих веков они давали ответы на все вопросы своих современников. Когда читаешь Ливия, то убеждаешься, какую важную роль они сыграли в создании великой Римской республики.

Теперь обратимся от птиц к животным: в гробницах мы часто видим изображение льва, нападающего на оленя. С сотворения света существовала идея о дуализме всего тварного мира. Все двойственно — имеются в виду не только два пола, но и взаимоисключающие действия. Это «нечестивая, языческая двойственность». Но идея о дуализме античного мира не включала в себя противостояние добра и зла, привнесенное позднее.

Леопард и олень, лев и бык, кот и горлица или жаворонок — все это составляющие всеобщей раздвоенности или полярности животного царства. Но они не являются олицетворением доброго и злого начал. Напротив, они есть полюсы божественного космоса, явленного в облике животных.

Но самое ценное сокровище — душа, которая есть у каждой твари, у каждого дерева и водоема, она воплощает мистическое средоточие баланса или равновесия между двумя половинками этой двойственности — огненной и водной стихий. Это мистическое средоточие облачено в одежды жизни по образцам самой жизни — по правую сторону и по левую. А с наступлением смерти оно не исчезает, но сохраняется в яйце, или в сосуде, или даже в дереве, чтобы снова потом дать побеги.

Сама душа, искра сознания каждой твари, не двойственна, а будучи бессмертной, она служит алтарем, на который в конце концов приносят в жертву нашу смертность и нашу двойственность.

Так, в гробницах на фреске, служащей нам ключом к разгадке символов этрусков, мы видим снова и снова или дерево, или вазу, или геральдических животных, смотрящих друг на друга по разные стороны алтаря, или льва, кусающего оленя в бедро и горло. Олень пятнистой окраски, символизирующей день и ночь, лев тоже темный и светлый.

Самка-олень, овца, коза, корова — слабые существа с выменем, переполненным молоком, символом плодородия, а самец-олень, баран, бык — вожаки стада, их мощные рога, возвышающиеся над лбом, олицетворяют опасность, исходящую от них, самцов-производителей. Эти животные — символ мощного, безграничного продолжения рода, мира и прогресса. Даже Иисус — Агнец Божий. И бесконечное, бесконечное размножение земных тварей приведет к тому, что стада заполонят землю, разбредутся по всему белу свету, и их станет так много, что даже яблоку негде будет упасть.

Но подобного не может произойти, ибо они лишь одна половина извечного дуализма даже среди себе подобных. В природе всегда соблюдается равновесие. И перед нами алтарь, на который мы все приносим жертву, он несет смерть, одновременно оставаясь нашей душой и самым чистым сокровищем.

Напротив оленя мы видим львиц и леопардов. Самцов и самок. Вымя самок тоже переполнено молоком для детенышей: так и волчица вскормила первых римлян — это был пророческий знак, ибо римляне уничтожили много оленей, включая этрусков. И свирепые звери стерегут сокровище, которое плодовые особи могут расточить, стерегут врата, вход в которые грозят закрыть бесчисленные потомки. Они впиваются в шею и бедро оленя, и льются мощные потоки крови.

Итак, символизм постоянно присутствует во всех этрусских гробницах. Во многом — символизм античного мира. Но тут нет точного, научного образного ряда, как в Египте. Он безыскусен и примитивен, и художник играет с его образами. Как ребенок со сказками. Тем не менее символический оттенок пробуждает в вас самые глубокие чувства, придает удивительное, особое достоинство фигуркам животных и танцующих людей. Художник уровня Сарджента — воплощение интеллекта. Но в конечном счете он чудовищно неинтересен, вызывают одну скуку. В нем и намек нет даже на собственную, индивидуальную глупость или тривиальность. Один-единственный леопард этрусков, одна куропатка дают ему сто очков вперед.

4. Фрески гробниц Тарквинии

Мы сидим за маленькими столиками в кафе, которое расположено над городскими воротами, и наблюдаем, как крестьяне возвращаются с поля со своими орудиями труда и ослами — ведь уже вечер. Когда они проезжают через ворота, работник Dazio, городской таможенник, досматривает их, спрашивает, есть ли у них коробки или узлы, прощупывает тюки, навьюченные на осла, а если на нем еще и охотничья хвороста, то останавливает его и начинает тыкать длинным металлическим прутом в ветки, проверяя, не припрятал ли туда хозяин бочонок с вином или маслом, сетку апельсинов или каких других фруктов. Потому что все продукты, которые привозят в итальянский городок, — и не только продукты, — облагаются таможенным сбором, а на некоторые товары пошлина весьма высока.

Наверно, в давние времена этруски так же возвращались домой вечером. Этруски были прирожденными горожанами. Даже крестьяне жили под защитой крепостной стены. А в те дни, без сомнения, они были такими же подневольными, как и в современной Италии, обрабатывали землю бесплатно, получая за свой труд лишь малую часть урожая; они прилежно, с величайшей добросовестностью, трудились в поле, заботясь о земле — это в итальянцах сохранилось по сей день. Они жили в городе или деревне, а на лето перебирались в соломенные хижины в поле.

Но в те давние времена в такой чудный вечер, как сегодня, мужчины возвращались с поля почти обнаженные, кожа у них была смуглой, красноватой от солнца и ветра, тела мускулистые, расслабленные; а женщины шли в свободных одеждах из белого или голубого полотна, и, конечно

же, кто-нибудь играл на свирели, а кто-нибудь пел, ведь этруски обожали музыку, они были беспечными и беззаботными — не в пример нынешним итальянцам-крестьянам. Они входили в ворота на чистую, освященную площадь, кланялись маленькому расписному храму и шли по улице, поднимавшейся на вершину холма меж рядов приземистых домиков с весело раскрашенными фасадами или с яркими терракотовыми пластинами. И слышно было, как они перекликаются, кричат, играют на свирели, поют, окруженные стадом овец и коз, которые тихо бредут следом за ослами, а впереди — медлительные, белые, подобные призракам волы с ярмом на шее.

И, безусловно, в те времена знатные юноши въезжали в ворота верхом на лошадях, поднимая столбы пыли и грязи, — с голыми руками и ногами, может, держа копьё наперевес, бесцеремонно врезаясь в толпу красно-коричневых, с гладкой кожей, крепких крестьян. Иногда на закате здесь даже появлялся какой-нибудь лукомон, сидя с важным видом в колеснице, которую вел стройный возничий, он останавливался перед храмом и совершал скорую молитву в честь своего въезда в город. А толпы простолюдинов замирали в ожидании, ибо раньше лукомон, с сияющей смугло-красной кожей, с коротко стриженной на восточный манер бородкой, в ожерелье из плетеного золота, в мантии или накидке с алой каймой, ниспадающей широкими складками, с обнаженной грудью, — этот лукомон, недвижно сидящий в колеснице во всем величии своей мощи и власти, был божеством для людей. Даже просто любуясь им, они заряжались его энергией.

Потом колесница проезжала мимо храма и останавливалась поодаль, лукомон сидел, выпрямившись, на своем троне, с обнаженными плечами и грудью, и ждал людей. А крестьяне в страхе отступали. Но какой-нибудь смельчак в белой тунике поднимал руку, приветствуя лукомона, и выходил вперед, чтобы поделиться своей заботой или попросить о заступничестве. Лукомон, молчаливый наблюдатель из высшего мира власти, однако не забывающий о своей ответственности перед народом, выслушивал его. Потом произносил несколько слов — и колесница из сияющей бронзы плыла вверх по холму к дому правителя, а горожане разбредались по своим домам, музыка звучала на темных улицах, мерцали факелы, все ели, пили и по мере сил веселились.

Нынче все по-другому. Неряшливые крестьяне в грязной, уродливой одежде молча и тупо тащатся по пустырю домой. Мы утратили секрет искусства жить, в самой важной науке — науке повседневной жизни, науке поведения — мы абсолютные профаны. Зато у нас теперь есть психология. Сегодня в Италии, если какой-нибудь чернорабочий на улице знойным итальянским летом посмеет снять с себя рубашку и обнажить торс, чтобы было легче работать, к нему немедленно подскакивает полицейский и приказывает снова ее надеть. Почему-то теперь полагают, что человеческое существо непристойно, и невозможно нормально жить, пока не будет устранено всякое неприличие. А если какая-нибудь женщина отважится оголить на людях руку или ногу, тем самым она нанесет оскорбление человеческому телу.

Да посмотрите же! Что в этом особенного?! Ничего. Но почему же тогда рабочему запрещено раздеваться до пояса?

В гостинице, в ее темной пустой столовой, сидят три японца — маленькие желтые человечки. Они приехали, как нам сказали, провести проверку соляных разработок, которые ведутся на берегу моря недалеко от Тарквинии, у них на эту инспекцию есть правительственное распоряжение. Работы по добыче соли из водоемов, отрезанных от моря, напоминают тюремную повинность. Непонятно только, почему японцы решили провести проверку этих мест. Причем официальную проверку. Но нам сказали, что соляные копи здесь — «чрезвычайно важный объект».

Альбертино очень нравится помогать трем японцам, похоже, он втерся к ним в полное доверие, сейчас он согнулся над их столиком, его каштановая шевелюра почти скрылась среди

трех черноволосых голов, он *qui vive**. Он помчался за едой для них, потом подбежал к нам поинтересоваться, что мы решили заказать.

— А что есть?

— Э-э... — Он всегда сначала обдумывает ответ, словно у них царское меню. Потом внезапно восклицает: — Спрошу у мамы! — Убегает, возвращается и говорит именно то, что мы ждали от него, говорит торжественным, радостным голосом, будто произносит нечто весьма важное: — Есть яйца — бифштекс — картошка.

Мы уже прекрасно были знакомы с этими блюдами! Но я решаю еще раз заказать бифштекс с жареной картошкой, по счастливой случайности оставшиеся от ланча. Снова Альбертино умчался и тут же прилетел назад, чтобы сообщить, что бифштексы с картошкой уже кончились.

— Китайцы съели, — прошептал он. — Но есть лягушки.

— Что?

— Лягушки, *le gane*.

— Какие?

— Я сейчас принесу. — И он снова убежал, а потом вернулся с тарелкой, на которой лежало штук восемь-девять очищенных от кожи лягушачьих лапок.

Б. отвернулся, а я согласился попробовать их — выглядели они вполне аппетитно. Обрадовавшись, что с лягушками все улажено, Альбертино вскочил и снова улетел стрелой, а через минуту вернулся с бутылкой пива и шепотом рассказал нам все, что ему стало известно о китайцах, — он их так называл. Они не понимают по-итальянски. Когда им нужно подобрать какое-нибудь слово, они берут маленький французско-итальянский разговорник.

— Хлеб? Э-э, понятно, им нужен хлеб. — Альбертино делал небольшие паузы, словно ставил запятые или точки с запятыми, а я это в тексте изображаю восклицанием «э-э...». — Они хотят попросить хлеб, э-э? — э-э! — они берут разговорник. — Он делает жест, будто взял в руки книжечку, кладет ее на стол, слюнявит палец и начинает листать воображаемые страницы. — Хлеб! — э-э! — смотрим на «р» — Р — ессо! Pane! — pane! — *si capisce!* Хлеб! Им нужен хлеб! Потом вино! Э-э! Берем разговорник, — он лихорадочно перелистывает воображаемые страницы, — э-э! Вот! *Vino! Pane e vino!* Так они и делают всякий раз. Каждое слово ищут! Стали мое имя искать. Э-э! Ты! Я говорю им: «Я Альбертино». — И мальчик продолжает болтать, пока я не напоминаю ему о *le gane*. — Ах, да! *Le gane!* — Убегает, потом прибегает с тарелкой жареных лягушачьих лапок, разложенных парами.

Он смешной и подвижный парнишка, хотя в глубине души немного грустный и озабоченный бременем ответственности, лежащей на нем. На следующий день он примчался к нам с альбомом о Венеции, который забыли китайцы, как он упорно их называл, и спросил, не нужен ли он мне. Я отказался. Потом показал нам две японские открытки и адрес одного японца, написанный на клочке бумаги. Японцы обмениваются с Альбертино открытками. Я снова напомнил ему, что японцы не китайцы.

— Но японцы еще и китайцы!

Я сказал, что вовсе нет, они живут в разных странах. Он умчался и вернулся со школьным атласом.

— Ага! Китай в Азии! В Азии! В Азии! — бормотал он, листая страницы. Он умный паренек, ему бы в школе учиться, а не хозяйством гостиницы заниматься в свои четырнадцать лет.

Наш проводник по гробницам всю ночь дежурил в музее и лег поспать только после восхода солнца, поэтому раньше десяти утра мы никуда не пойдём. Город уже опустел, люди ушли в поле.

Лишь несколько мужчин слоняются без дела. Городские ворота широко распахнуты. Ночью их запирают, человек из Dazio ложится спать, а вы не можете ни выйти из города, ни попасть в него. Мы пьем еще по чашечке кофе — утренний кофе у Альбертино неважный.

И вот мы видим нашего проводника: он разговаривает с бледным пареньком в старых вельветовых бриджах, старой шляпе и ботинках на толстой подошве — явно немцем. Мы подходим, обмениваемся приветствиями, киваем немцу, который так выглядит, словно на завтрак выпил уксуса, и отправляемся в путь. Сегодня мы пройдем две мили, чтобы попасть в дальний конец некрополя. Нам осталось посмотреть еще дюжину гробниц. А всего здесь двадцать пять или двадцать семь гробниц с фресками, открытых для экскурсантов.

Утром с юго-запада дует крепкий ветерок. Он свежий и чистый, не такой противный, каким иногда бывает libeccio*. Мы идем быстрым шагом по дороге, за нами ковыляет старый пес. Ему нравится утренние часы проводить среди гробниц. От моря струятся светлые потоки воздуха, отчего все сияет ярким светом и дышит бодростью, словно мы на вершине гор. Мимо проезжает автобус из Витербо. В поле трудятся крестьяне, наш проводник здоровается с женщинами, а те отвечают ему. Молодой немец уверенно вышагивает рядом, но в душе у него нет той же уверенности. Мы не знаем, о чем с ним говорить, он тоже не горит желанием общаться с нами, такое впечатление, что он не хочет, чтобы с ним беседовали, и одновременно обижен, что мы молчим. Проводник весело, без умолку болтает с ним по-итальянски, но через какое-то время с облегчением подходит к Б. — с ним ему приятнее, а немца бросает на меня; да, тот явно однажды выпил уксуса.

Я чувствую себя в его компании, как чувствую себя всегда с современными молодыми людьми — очевидно, что он гораздо чаще был жертвой чьей-то греховной природы, чем грешил сам. Его заставили выпить уксус. Неохотно перехожу на немецкий — итальянский мне кажется слишком глупым, а по-английски он изъясняться отказывается — и выясняю, пока мы преодолеваем первую полумилу, что ему двадцать три года (а выглядит на девятнадцать), он окончил университет, собирается стать археологом, путешествует, обогащая свои знания в археологии, только что вернулся из путешествия по Сицилии и Тунису, остался невысокого мнения об этих местах: «mehr schrei wie wert»**, — резко роняет он, точно сплевывает окурок сигареты, от которой его тошнит, вообще он невысокого мнения обо всем, об этрусках тоже: «nichtviel wert»***, и обо мне он явно невысокого мнения, гробницы Тарквинии он изучил досконально, уже дважды бывал здесь и останавливался на какое-то время: «ничего особенного», теперь собирается в Грецию, но и от тех мест не ждет откровений, остановился здесь в другой гостинице, не у Джентиле, потому что там дешевле, скорее всего, пробудет здесь дней десять, собирается сфотографировать все гробницы своим большим фотоаппаратом — у него есть разрешение властей, прямо как у япошек; у него, видно, совсем мало денег, но он обладает потрясающей способностью добиться максимальных результатов из ничего: собирается стать известным профессором в той области науки, к которой относится с презрением. Интересно, он когда-нибудь ел досыта?!

Он, безусловно, капризный и вздорный малый, хотя может быть сдержанным и выносливым. «Nichtviel wert!» — «ничего особенного», «ерунда», это, кажется, его излюбленная фраза, она на вооружении у всех нынешних молодых людей.

Что же, это не моя вина, поэтому старательно терплю моего собеседника. Но хотя людям военного поколения пришлось нелегко, послевоенным, должно быть, еще хуже. Нельзя обвинять юных в том, что они на все плюют. Война перечеркнула почти все ценности.

А мой паренек не так уж безнадежно плох — ему даже хочется, чтобы его заставили во что-нибудь поверить. В нем ощущается эта потребность.

Мы миновали современное кладбище с белыми мраморными могильными плитами, арки средневекового акведука, загадочным образом уцелевшего над обрывом, сошли с большой дороги и двинулись вдоль длинного гребня холмов, через поле зеленых побегов пшеницы, которые

трепетали и колыхались на морском ветру, словно перья дивной красоты в сиянии упоительного утра. Повсюду — кисточки лиловато-розовых анемон, островки вербены, много маргариток и ромашек. На каменистом кургане, который некогда был могильником, разрослись асфодели, они пускают свои стрелы в солнечный ясный воздух, словно солдаты, забравшиеся на гору. А мы все идем по этому живому зеленому полю, оно по-прежнему неровное, потому что раньше здесь были могильные курганы; ветер дует нам в лицо, свет, льющийся с моря, наполняет нас бодростью, все вокруг тихо и спокойно, а мы разговариваем с немцем, напоминая собак, осторожно обнюхивающих друг друга.

И неожиданно мы выходим к гробнице, почти скрытой от глаз, — немец отлично знает дорогу. Наш проводник бежит вперед, зажигает лампу, пес, не торопясь, подыскивает себе местечко с подветренной стороны и укладывается, а мы вновь медленно погружаемся в этрусский мир, удаляясь от мира современного — спускаемся в подземелье.

Одна из самых известных гробниц в этой дальней части некрополя — Гробница Быков. В ней есть то, что наш проводник называет «un po'di rognografico!»*, — правда, совсем немного. Немец пожимает плечами — его привычный жест — и сообщает нам, что это одна из самых старых гробниц, открытых археологами, я верю ему, мне тоже так кажется.

Она немного шире других гробниц, своды потолка не очень крутые, вдоль боковых стен — каменное ложе для саркофагов, а в дальней стене выдолблено в скале два прохода, которые ведут во вторую камеру, более темную и унылую, чем первая. Немец говорит, что вторая камера была вырублена позднее. Там нет ценных фресок.

Мы возвращаемся в первую камеру, более старую. Она называется Гробницей Быков, потому что над проемами в дальней стене нарисовано два быка, один с лицом человека, из-за него-то и называют гробницу «po'di rognografico», другой тихо лежит, обратив свой загадочный взор на комнату, повернувшись спокойно спиной ко второй части фрески, которая, как говорит наш проводник, не «rognografico», потому что «там нарисована женщина». Юный немец улыбается своей кислой улыбкой.

Все в гробнице напоминает старый Восток: Кипр, или минойскую культуру Крита, или хеттскую. Между двумя проходами на задней стене очаровательная фреска с изображением обнаженного всадника с копьем, на коне без седла, он скачет по направлению к низкой пальме и небольшому источнику, а может, это фонтан, возле которого лежат два зверя с темными мордами — львы с непривычно темными мордами. Из пасти одного, того, что лежит подле пальмы, льется вода в алтарный сосуд, а с противоположной стороны приближается воин в бронзовом шлеме и наголенниках, он, похоже, угрожает всаднику мечом, который он держит в левой руке. Воин и всадник в высоких, остроносых восточных башмаках, да и пальма не очень-то итальянская.

У этой фрески какое-то удивительное очарование, она, безусловно, несет в себе символы. Я спросил у немца:

- Что это означает, как вы думаете?
- Да ничего! Всадник подвел к источнику лошадь, чтобы дать ей напиться, ничего больше!
- А человек с мечом?
- Наверно, он его враг.
- А львы с темными мордами?
- Ничего особенного. Просто украшение фонтана!

Под этой сценой нарисованы еще деревья, на которых висят гирлянды и платок. На бордюре — не яйцо и жаворонок, а знак Венеры среди нескольких жаворонков — шар, на котором возвышается маленький крест.

— А вот это разве не символ? — спросил я у немца.

— Нет! — ответил он лаконично. — Просто украшение!

Может, так оно и есть? Но трудно поверить, что художник-этруск так же небрежно отнесся к нарисованным им символам, как относится к символике современный дизайнер.

На какое-то мгновение я уступил немцу. Над фреской написано что-то по-этрусски неразборчивыми каракулями.

— Вы можете это прочитать? — спросил я немца. И он быстро прочитал — я бы спотыкался на каждой букве. — А что это значит?

Он пожал плечами.

— Этого никто не знает.

В углу, там, где свод потолка был почти пологим, нарисованы два странных геральдических зверя. Низкое широкое возвышение, так называемый алтарь, украшен по углам головами баранов. Справа светлокожий мужчина с темным лицом скачет на черной лошади, отпустив поводья, а за ним мчится бык. Слева — фигура покрупнее: странный лев несется следом за всадником, свесив язык. Но за его спиной вместо крыльев — шея козла с темной мордой и бородой, просто у этого необычного зверя вторая голова козлиная, а первая — страшная, львиная. У льва змеиный хвост. Это Химера. А за львом мчится крылатая женщина-сфинкс.

— Что значит этот лев со второй головой? — спрашиваю я у немца.

Он пожимает плечами и отвечает:

— Ничего!

Для него рисунок ровно ничего не значит, потому что ничего, кроме голых фактов, не имеет для него значения и смысла. Ведь он ученый, и когда он не хочет, чтобы предмет нес в себе некий смысл, он для него *ipso facto*, не имеет значения.

Но лев с головой козла, растущей из его спины, должен обозначать нечто определенное, потому что в знаменитой бронзовой статуе Химеры из Ареццо, которая хранится теперь во Флорентийском музее и которую реставрировал Бенвенуто Челлини, заключен некий символ, к тому же это самая красивая в мире бронзовая скульптура. Козлиная голова с бородой, растущая из спины льва, повернута назад, правый рог зажат во рту змеи, она вместо хвоста льва и хлещет его по спине.

У Химеры, как и должно быть, — раны на бедре и шее, нанесенные Беллерофонтом, но это тем не менее не просто большая игрушка. В ней, без сомнения, заключен эзотерический смысл. На самом деле, греческие мифы перелагали некие очень определенные и очень древние эзотерические концепции, которые были гораздо старше мифов или самих греков. Мифы и персонифицированные божества — лишь проявление упадка, распада существовавшей прежде космической религии.

Поразительная мощь и красота этих этрусских произведений искусства, как мне кажется, является следствием глубокого символического значения, заложенного в них, которое было известно в той или иной степени художникам того времени. Религия этрусков никогда не была антропоморфной, то есть какие бы боги ни почитались ими, они не были персонифицированы, а представляли собой лишь символы стихий природы, были просто символами — такая же религия существовала в более ранний период и в Египте. Неделимую, единую божественность

(если такое определение допустимо) символизировал mundum, плазменная клетка с ядром — началом начал, тогда как у нас начало начал всего сотворенного — Богочеловек. Таким образом, этрусская религия была религией материальных и творящих стихий и сил, способных создать и разрушить душу, личность, существо, постепенно, подобно цветку, явленное из хаоса, с тем чтобы вновь исчезнуть в хаосе или в подземном царстве. А мы, напротив, возвещаем: «В начале было Слово!» — и отрицаем материальную природу жизни Вселенной. Мы существуем лишь благодаря Слову, которое покрывает тонкой золотой пластинкой весь тварный мир и прячет его от нас.

Этруски полагали, что в человеческом существе обретается бык, или баран, или лев, или олень, в зависимости от его качеств и возможностей. В венах человека течет кровь смелых, крылатых птиц и яд злобных змей. Все сущее рождено из потока крови, и кровное родство — каким бы сложным и дальним оно ни было — никогда не прерывается и не предается забвению. В потоке крови встречаются разные течения, иные постоянно вступают в противоборство — кровь птицы и яд змеи, льва и оленя, леопарда и агнца. Но это противоборство, столкновение по сути образует некое целое, что мы и видим в изображении льва с головой козла.

Молодой немец никакие подобные идеи не приемлет. Он современный юноша и признает лишь очевидное. Лев с головой козла и одновременно со своей собственной для него нечто невысказанное. А то, что невысказано, — не существует, его просто нет. И потому для него не существуют этрусские символы, о них не стоит и думать. Он не утруждает себя размышлениями о них — считает их плодами интеллектуальной немощи, значит, недостойными внимания.

А может быть, он не хочет быть откровенным, делиться каким-то секретом, благодаря которому позднее он станет знаменитым археологом? Впрочем, полагаю, что это не так. Он вел себя очень мило — показывал мне детали фрески, освещая ее фонариком, — сам бы я их не заметил. К примеру, белую лошадь явно перерисовывали — сохранился прежний контур ее задних ног и спины, а также ног всадника, видно, как художник сильно изменил первоначальный набросок, местами исправлял его несколько раз. Похоже, он делал рисунок целиком, а потом всякий раз полностью менял позы своих героев и направление, в котором они двигались, причем для собственного удовольствия. А поскольку тогда не было ластика, чтобы стереть первые наброски, милые ошибки этрусского живописца, в котором чувствуется интуиция подлинного художника, равно как и его веселая беспечность, сохранились для любого, кто захотел бы их увидеть, и вот они перед вами запечатлены на стене — по крайней мере, с 600 года до Рождества Христова.

Этруски кисточкой или ногтем набрасывали весь контур фигур на сырой мягкой штукатурке, а потом наносили краску *al fresco*. Поэтому они должны были работать очень быстро. Некоторые рисунки, мне кажется, выполнены темперой, в одной гробнице, по-моему, в той, что открыл Франческо Джиустиниани, рисунок сделан на скале кремового цвета. И на нем потрясающе выглядит голубая накидка мужчины.

Секрет утонченности этрусской живописи, как китайской и индийской, кроется в том, как живописцы лишь намечали контуры своих образов. Они не обводили, не прорисовывали их. Это текучий контур, когда предмет или тело вдруг растворяются в воздухе. Этрусский художник словно видел одушевленными все предметы, устремленными от своего центра к внешним очертаниям. А изгибы и контуры силуэта позволяют проследить все внутреннее движение образа, его построение. На самом деле никакого специального построения и нет. Фигуры рисовались плоскими. А при этом они выглядят выпуклыми, мускулистыми. Лишь когда мы оказались в Гробнице Тифона, построенной в более поздний период, мы увидели, что фигуры были смоделированы в помпейской традиции, с помощью света и тени.

То был прекрасный мир, старый мир, в котором все были полны сил и сияния от встречи с другими существами и предметами, находящимися в тени, то было сияние, а не игра дневного света на отдельно взятом предмете, в том мире у каждого предмета был свой ясный, чистый

контур, но сама эта чистота, эта ясность имела внутреннюю связь, эмоциональную и живую, со странными предметами, выпрыгивающими один из другого, предметами, противоречащими друг другу с точки зрения логики, но объединенными на чувственном уровне, поэтому лев мог быть одновременно козлом и при этом не быть козлом. В те дни мужчина верхом на красном коне не был Джеком Смитом на гнедой кляче. Это был человек с тонкой кожей, с печатью смерти или жизни на лице, спешащий вперед в порыве животной энергии, сторавшей в пути, кровь кипела у него в жилах, он мчался с какой-то таинственной миссией к неведомой цели, крутясь в вихре воздуха. И бык был не просто племенным животным, которому предстояло идти на бойню. Это был огромный чудо-зверь, в котором бушевали, как в печи, великие страсти, и они заставляли миры крутиться вокруг своей оси, а солнце спешить в зенит, а в мужчине они пробуждали детородную силу, бык, вожак стада, отец телят, повелитель коров, олицетворение воинственной природы рога изобилия, мычащий и ревуший царь силы, ревнивый, увенчанный рогами, вечно сражающийся с противником. Козел из того же ряда — он отец млека, вместо силы и мощи у него смекалка и хитрость, хитрый ум и достоинство ревнивого отца и продолжателя рода. А вот лев — самый страшный зверь, желтый, в его рыке — энергия, взлелеянная кровью, он тоже подобен солнцу, но тому солнцу, что спускается на землю, чтобы вылакать, осушить все живое. Солнце способно согреть миры, оно подобно насадке, сидящей на яйцах. Или же слизнуть все живое с лица земли своим жарким языком. Козел говорит: я хочу постоянно размножаться, до тех пор пока мир не превратится в вонючего козла. А лев рычит в крови человека, — потому что в ней несколько потоков, — и заносит лапу, чтобы ударить: им руководит иная страсть.

Итак, все существа могучи, но каждое проявляет свою мощь по-своему, мириады разных сознаний вступают между собой в противоречие и противоборство, и этот процесс извечен, и сильнее примирения, к которому человек мысленно стремится. Мы способны познать живой мир лишь с помощью символов. И тем не менее любое сознание, ярость льва, яд змеи — все это существует, а потому имеет божественную природу. Все возникает, разрывая круг вечности со своим ядром, зародышем, своим Нечто, если хотите, Богом. А человек с душой и индивидуальностью тоже появляется на белый свет, находясь в вечной связи со всем миром. Поток крови един, нерушим, но его разрывают противоречия и противоборства.

Древние видели осознанно — как наши дети видят неосознанно — неизбывное чудо во всем. У древних были три эмоциональные доминанты: удивление, страх, восхищение — восхищение в латинском смысле этого слова, совпадающем с тем, что мы понимаем под способностью восхищаться; страх в самом широком значении слова, включающем отвращение, ужас и ненависть, из которой порой рождаются гордыня или гордость, самая низменная страсть человека. Любовь лишь второстепенный фактор удивления и восхищения.

Древние сохраняли способность изумляться чуду и радоваться жизни, равно как пугаться и испытывать отвращение только потому, что во всем, что окружало их, они видели клубок страстей. Они были подобны детям, но обладали силой, властью и чувственным знанием истинно взрослых людей. Их мир был миром бесценных знаний, которые мы безвозвратно утратили. В том, в чем они были воистину взрослыми, мы стали детьми, и наоборот.

Даже две «*rognografico*» сцены в Гробнице Быков — вовсе не пара грязных рисуночков. Совсем нет. Юноша-немец почувствовал это, как и мы. В этих сценах все то же чистое удивление по отношению к тому, что нарисовано, та же архаическая наивность художника, принимающего жизнь, знающего все о ней и чувствующего ее значение, которое, подобно камню, западало ему в сознание, и от него во все стороны разбегались круги — все дальше и дальше, до самого края. Эти две маленькие сцены исполнены символического значения, не имеющего ничего общего с моральным или аморальным смыслом. Слова «моральное» и «аморальное» тут беспомощны. Некоторые акты — те, что Денниз назвал бы вызывающе непристойными, — бык с лицом мужчины воспринимает спокойно, лежа на земле, другие поступки привели бы его в ярость и заставили бы опустить рога. В сцене нет никакой морали, дидактики. Это проявление страсти и реакция на нее — поступок и реакция отца-производителя.

В этом дальнем, поросшем молодой зеленью холме очень много красивых гробниц. Впечатляет Гробница Авгуров. На задней стене нарисована дверь в гробницу, а по сторонам от нее — мужчины, исполняющие обряд поминовения, он запечатлен в одном лишь странном и мимолетном жесте: они подносят руку к челу. Два человека совершают обряд поминовения у входа в гробницу.

— Нет! — говорит немец. — Нарисованная дверь — это не дверь в гробницу, возле которой стоят мужчины. Просто тот, кто строил гробницу, нарисовал ее здесь, чтобы позднее прорубить ход во вторую камеру. А эти мужчины не совершают поминовения.

— А что же они делают?

Он пожимает плечами.

Под сводом над дверями нарисованы два льва — один со светлой мордой, другой с темной, они схватили козла или антилопу: лев с темной мордой кусает козла сбоку, а со светлой — сзади за ногу. Это тоже два геральдических зверя, но они не рычат возле алтаря или дерева, а кусают козла, отца-производителя, вцепившись ему в горло и бедро.

На боковых стенах очень красивые фрески с изображением борцов, и сцена, давшая пищу для разговоров о жестокости этрусков. Совершенно голый человек — на нем только пояс — с мешком на голове; его кусает за ляжку бешеный пес, которого держит на поводке другой мужчина; на конце поводка — деревянный ошейник, надетый на пса. На человеке с поводком красуется очень высокая коническая шапка, он стоит позади мужчины в мешке — ноги и руки у него непомерно большие, он чем-то весьма взволнован. Жертву сейчас посадят на ту же веревку, к которой привязан пес, левой рукой несчастный, похоже, схватился за поводок, чтобы оттащить пса от своего бедра, а в правой руке держит увесистую дубину: он собрался ударить пса, если только сможет до него дотянуться.

Этой сценой, вероятно, художник хотел показать варварскую, жестокую природу спортивных игр этрусков. Но поскольку на фреске еще нарисован авгур с изогнутым жезлом, поднявший руку в направлении пролетающей мимо черной птицы, борцы сражаются над тремя большими кубками, а на другой фреске мужчина в коническом головном уборе, тот, что держал веревку, танцует, преисполненный неопишемого восторга, словно празднует победу или освобождение, мы, без сомнения, должны воспринимать эти сцены как символические, равно как и последний эпизод: на нем нарисован человек с завязанными глазами, который сражается с какой-то яростной, агрессивной стихией. Если бы это были спортивные сцены, то на фресках были бы изображены зрители, как в Гробнице Колесниц, а тут их нет.

Как бы то ни было, фрески в этой гробнице такие жизненные, убедительные, что кажется, будто все именно так и происходило в действительности. Быть может, у этрусков было такое испытание или соревнование, когда человеку давали дубину, на голову надевали мешок, и он должен был сражаться с бешеным псом. Тот нападал на него, но был на поводке, прикрепленном к деревянному ошейнику, за который мужчина мог схватить его, крепко держать и при этом бить по голове. У мужчины в мешке был шанс победить пса. И даже если допустить, что это не спортивная игра, не испытание и не соревнование, жестокость этой сцены не столь уж безмерна, потому что мужчина вполне мог изловчиться и сразу же ударить пса по голове. По сравнению с римскими боями гладиаторов это практически «честная игра».

Но это, может быть, больше, чем спорт. Танец человека, державшего на первой фреске поводок, слишком красив. И все в гробнице слишком многозначительно, в воздухе висит напряжение. А пес, или волк, или лев, кусающий мужчину за бедро, — это очень старый символ. Мы видели эту скульптурную группу на саркофаге амазонок во Флорентийском музее. Его привезли из Тарквинии, на краю крышки изваяние обнаженного мужчины с раздвинутыми ногами, в каждую ногу вцепились псы. Это псы болезни и смерти, они впились в большие артерии на бедрах, жизненно важные для человека. Этот мотив часто встречается в системе символов

у древних. А эзотерическая идея о злых силах, атакующих бедренные артерии жизни в Древней Греции превратилась в миф об Актеоне и его псах.

Другая очень красивая гробница — Гробница Знатного Этруска, в ней вдоль всех стен тянется фриз, на котором изображены темные фигурки на светлом фоне. Темные силуэты коней и мужчин. Очень талантливый рисунок. Эти древние кони — само совершенство, гораздо более впечатляющие и реальные, чем кони Розы Бонер, или Рубенса, или даже Веласкеса, правда, последний ближе всех к этрусскому живописцу. Это кони, которые заставляют вас задаться вопросом: что же все-таки в них такого, что определяет их суть и их стать? Что человек видит, когда смотрит на коня? Что же это такое, что невозможно выразить словами? Ведь взгляд человека совсем иной природы, нежели взгляд фотокамеры, фиксирующей предмет, и даже кинокамеры, запечатлевающей движение последовательной чередой кадров, взгляд человека — это неповторимый «поток видения», в котором образ сам бурлит и мчится вперед, а сознание вылавливает некоторые факторы, которые и должны определить образ. Вот почему так несовершенен фотоаппарат: у него плоский глаз, внутри его ящика происходят лишь негативные процессы, тогда как внутри нас, живых существ, возникают позитивные реакции.

Мы идем от одной гробницы к другой, погружаемся в темноту, а потом вновь возвращаемся в солнечный, ветренный день, так и течет время. Но мы все продолжаем идти, теперь уже назад, осматривая одну гробницу за другой, все ближе подходим к городу. Совсем рядом новое кладбище. Проходим акведук, перекинутый через обрыв, потом идем подземным переходом к городу. Возле кладбища мы спускаемся в большую гробницу, самую большую из всех, что мы видели, — огромная пещера под землей с просторными ложами для саркофагов и похоронных дрог, а в центре возвышается массивная квадратная колонна, или столб, на которой нарисован Тифон — моряк со сплетенными змеями-ногами, с крыльями за плечами, он держит крышу на вытянутых руках, второй Тифон — с другой стороны колонны, почти такой же, как первый.

Здесь почти мгновенно очарование этрусков куда-то исчезло. Гробница большая, неудобная, уродливая, как пещера. Тифон — краснокожий, нарисованный по всем правилам использования света и тени, умный, вполне современный, но его рисовали, рассчитывая на эффект. Он изображен в помпейской традиции — и немного в стиле Блейка. Он продукт совсем иного мироощущения, экстравертного, былой духовности уже нет. Денниз, увидевший его восемьдесят лет тому назад, счел, что он гораздо красивее, чем архаические танцоры. А мы так не считаем.

Дельфины в кудрявых париках резвятся над кудрявым бордюром, но это не море — хотя опыт нам подсказывает обратное. То был бордюры из «роз» — алого символа некоего существа и его сердцевины, зародыша, впервые изображенных столь вульгарно. Еще здесь уцелела часть фрески, на которой покойники идут в царство Аида, верно, она была красивой, выполненной в греко-римской традиции. Но подлинное, старое очарование безвозвратно ушло. Пританцовывающий этрусский дух мертв.

Эта гробница относится к позднему периоду, говорят, ко второму веку до Рождества Христова, к тому времени римляне уже прочно обосновались в Тарквинии. Вейи, первый крупный город этрусков, завоеванный Римом, пал в 388 году до Рождества Христова, он полностью разрушен. С той пор Этрурия стала чахнуть и распадаться, а в 280 году до Рождества Христова она была полностью завоевана.

И потом гробницы вдруг переменялись. Это произошло предположительно около пятого века до Рождества Христова, захоронения вроде Гробницы Знатного Этруска с фризом из коней и всадников или Гробницы Леопардов — преисполнены этрусского духа, и, несмотря на то что их создатели находились под влиянием Востока, они полны очарования. Потом мы неожиданно оказались возле Гробницы Орка, или Ада, она была возведена в четвертом веке до Рождества Христова, здесь все совершенно иное. Вы попадаете в очень мрачное, непродуманно, топорно сделанное подземелье, сырое и ужасное, с большими, но сильно разрушенными фресками.

Эти фрески, хотя они интересны по-своему и на них сохранились этрусские надписи, лишены этрусского очарования. В них есть еще немного этрусской свободы. Но в целом они выполнены в греко-римском стиле, наполовину — помпейском, наполовину — римском. В них ощущается больше свободы, чем во фресках маленьких старых гробниц, в то же самое время в них нет движения, фигуры стоят там как неприкаемые, в них нет дыхания жизни, которое объединяло бы их. Между ними нет никакого контакта, соприкосновения.

Вместо прекрасных старых силуэтов перед нами современные «рисунки», часто вполне хорошие. Но я был совсем разочарован.

Когда римляне отобрали власть у этрусских лукомонов — это случилось в четвертом веке до Рождества Христова — и сделали некоторых из них римскими магистратами, Этрурия тотчас же утратила свое таинство. В те древние времена народами управляли боги-цари согласно их религиозным установкам, а как только жрецов и правителей лишили власти, народ стал безмолвным и безликим. Так произошло в Египте и Вавилоне, в Ассирии, у ацтеков и майя в Америке. Народом управляли его лучшие сыновья, цвет нации. Уничтожь их, сорви цветок, — и народ станет беспомощным.

Этрусков не уничтожили. Но они потеряли себя, свой уклад жизни. Они жили, по собственной воле подчиняясь великим природным стихиям. И их субъективная воля была растоптана объективной мощью римлян. Тотчас же истинное самосознание народа исчезло. Его знания превратились в предрассудки. А этруски-князья — в толстых, инертных римлян. Простой народ стал серым и безликим. И произошло это поразительно быстро, во втором и третьем веках до Рождества Христова.

И тем не менее кровь этрусков продолжала стучать в их сердцах. Джотто и другие скульпторы раннего Возрождения обязаны своим талантом этрускам, ибо они всегда давали жизнь новому, но всегда какая-нибудь превосходящая их «сила» губила этот цветок жизни. Такова природа борьбы между всепретерпевающей жизнью и извечным триумфом силы.

Есть еще одна огромная гробница позднего периода — Гробница Щитов, говорят, она относится к третьему веку до Рождества Христова. В ней много фрагментов фресок. Сцена пиршества, мужчина полулежит на ложе и берет из рук женщины яйцо, а она трогает его за плечо. А на другой — два кресла для знатных лиц из «свиты». Между этими сценами нет никакой связи. И у всех персонажей очень «важные» лица — все внешнее, внутри ничего нет. И все же они интересные. Может, их выполнил ультрасовременный художник, решивший быть предельно архаичным, наивным, как ребенок. Но в сравнении с подлинными архаичными фресками, эти абсолютно пустые. Сама атмосфера пустая. Да, один из них по-прежнему держит в руках яйцо. Но в этом яйце заложен не более глубокий смысл, чем в шоколадном пасхальном. От него веет холодом.

В Гробнице Орка мы оказываемся в зловещем, адском подземелье, полном ужасов, образ которого, без сомнения, передали этрускам жестокосердные римляне. Маленькие красивые гробницы из одной или двух небольших камер, которые строили раньше, уступили место этим зловещим подземным пещерам, в которых царствует ад.

Старая религия глубинного стремления человека жить в гармонии с природой, сохранить себя и распуститься пышным цветом во всеобщем бурлении жизни с приходом греков и римлян постепенно исчезла, ей на смену пришли наука сопротивления природе, желание найти такие хитроумные способы и механическую силу, которые помогут обмануть Природу и заковать ее в цепи, обуздать так, чтобы ничто и никто не остался на свободе, чтобы все было подвластно человеку, приручено, подчинено его низменным целям. Довольно странно, что вместе с идеей триумфа над природой возник образ мрачного Аида, ада и чистилища. Для народов, исповедующих древние религии единения с природой и прославления ее, жизнь после жизни была продолжением земного пути. Для приверженцев Великой идеи жизни после смерти нет, а есть лишь ад, чистилище, аннигиляция, и рай — несуразная выдумка. Но вполне естественно, что

историки ухватились за эти основополагающие неэтрусские элементы в этрусских могилах позднего периода, чтобы нарисовать картину мрачного, дьявольского, подобного змию-искусителю, порочного этрусского племени, которое, к счастью, покорили благородные римляне. И этот миф до сих пор жив. Люди никогда не хотят верить доводам разума. Они с большей охотой будут изучать какого-нибудь «классического» автора. Вся историческая наука, похоже, состоит из сказок и выдумок, из красивых ниток которых сплели новый узор. Феопомп собрал какие-то скандальные небылицы, а их оказалось вполне достаточно для историков. Это письменное свидетельство, значит, это доказательство. И пятьдесят миллионов веселых маленьких гробниц не смогли перевесить соломинку. Вот уж действительно, в начале было Слово! Пусть это даже слово Феопомпа!

Наверно, самая любимая фреска, так сказать, визитная карточка этрусских гробниц — хорошо известная женская голова в профиль с венком из колосьев пшеницы. Эта голова из Гробницы Орка, а выбрали именно ее, потому что в ней больше греко-римских мотивов, чем этрусских. На самом деле, в ней столько глупости, самовлюбленности — и она так современна! Но она отвечает классическим Условностям, а люди могут увидеть что-то лишь в рамках какой-нибудь Условности. Мы, конечно, не ослепли, глядя на подобное искусство, но три четверти зрения потеряли.

После Гробницы Тифона уже ничего не хочется смотреть. Ничего подлинно этрусского не осталось. Лучше вообще забыть о некрополе, а запомнить лишь, что почти все, что мы знаем об этрусках от классических авторов, сопоставимо с фресками в гробницах позднего периода. А живопись тех фресок создана этрусками, погранными римлянами, подавшимися их влиянию, — этрусками периода упадка.

Приятно спуститься с холма, на котором стоит современный город Тарквиния, и оказаться в долине, а потом подняться на противоположный холм, на котором был расположен город этрусков, Тарквинии. Тут много цветов, голубых гиацинтов и белых с розовато-лиловыми кисточками анемон, а на краю поля пшеницы растет огромная алая анемона, а за ней — стайка больших бледно-розовых анемон с ядовито-красной чашечкой и с крупными лепестками. Удивительно, сколько разных сортов анемон! Только в этом месте я увидел бледно-розовую анемону с ядовито-красной сердцевинкой. Но, может, это всего лишь случайность.

Город действительно заканчивается у стены. У ее подножия — полоса нетронутой земли, а на склоне холма только одна небольшая ферма и соломенная хижина. Крестьяне живут в городе.

Может быть, во времена этрусков все было так же, но, думаю, в полях работало больше людей и стояло больше соломенных хижин, маленьких времянок, среди зелени посевов, еще меж холмов было проложено много прекрасных дорог — этрусски научили строить такие же и римлян, — а вдоль хребта тянулись высокие черные стены с башнями.

Хотя среди этрусков было много богатых торговцев и ювелиров, в основном они жили за счет земли. Прекрасно развитое сельское хозяйство современных итальянцев — наследие этрусков. С другой стороны, римляне, а не этрусски строили большие виллы в сельской местности, с просторными подсобными помещениями, или «факториями» для рабов, которых запирали там на ночь, а днем выводили группами на работы в поля. Большие фермы, большие «fattorie» в Сицилии, Ломбардии и других областях Италии — наследие римлян. У этрусков была другая система: крестьяне были крепостными, а не рабами, у каждого был небольшой надел земли, который переходил от отца к сыну, его старательно обрабатывали, отдавая часть урожая хозяину, а остальное оставляя себе. Так что они были наполовину свободными, у них был свой уклад, подкрепленный религиозными установками, которым их учили хозяева.

Римляне все изменили коренным образом. Они не любили сельскую местность. В период расцвета они строили там большие виллы с бараками для своих рабов. Но тем не менее легче было

разбогатеть на торговле или войне. Так что римляне постепенно забросили сельское хозяйство, и в Средние века поля превратились в необработанную целину.

Ветер с юго-запада дул все сильнее и сильнее. Деревьев вокруг не было, но даже кустарник клонился под его порывами. А когда мы добрались до вершины высокого одинокого холма, на котором раньше стояли Тарквинии этрусков, ветер еще усилился и теперь сбивал с ног, так что нам пришлось присесть в густых кустах, ища от него защиты, — мы смотрели, как медленно спускаются черно-белые стада с холма к водопою, как резвятся молодые бычки. А на вершине нежные стебли пшеницы колыхались, будто мягкие волосы. Дальше от моря раскинулась зеленая, ничем не засеянная долина, лишь вдаль, на вершине холма, пристроился городишко, напоминавший призрак. На другом холме, ближе к морю, высились квадратные башни Тарквинии, правда, теперь они никому не были нужны.

А мы сидели в том месте, где раньше был центр исчезнувшего города. Где-то здесь авгуры размахивали своими изогнутыми жезлами, наблюдая, как над городом летят птицы. Мы можем тоже наблюдать за их полетом. Но ни единого камня не осталось от того города. Пустынное открытое пространство.

Назад в город можно вернуться другой дорогой и пройти через другие ворота. Под свирепыми порывами ветра мы быстро спустились вниз, туда, где было тихо. Дорога, тянувшаяся от небольшой долины, была длиннее, но здесь мы хотя бы были защищены от ветра. И вот мы прошли вдоль старой стены и попали в старые ворота, построенные еще в Средневековье. Дорога поворачивает сюда в Dazio, но домов здесь нет. Несколько мужчин увлеченно играют в тогга, азартно выкрикивают числа, причем так громко, что их крики сотрясают воздух, словно взрывы. Мужчины робко поглядывают на нас, но смеются вместе с нами.

Потом мы проходим через вторые ворота внутри второго кольца стены. Но мы все еще не в городе. Впереди третья стена и третьи массивные ворота. И вот наконец мы попадаем в старую часть города, где изящные средневековые дворцы превращены в конюшни, амбары и жилища для бедняков. У стен небольшого старого палаццо устроили кузницу, кузнец подковывает упрямого осла, который брыкается и пытается освободиться, а толпа зевак неистово кричит, наблюдая за этой сценой.

Грязные, почти безлюдные узкие улочки и перекрестки казались такими странными, заброшенными, словно принадлежали другому времени. На красивом каменном балконе сушится чье-то жалкое тряпье. В темных домах словно поселился воровской дух, люди снуют там, точно крысы. А потом перед нами возникла еще одна, высокая остроконечная башня, без бойниц, слепая. Эти остроконечные, суровые, слепые, бессмысленные башни придают всему городу какой-то странный облик; возвышаясь над домами, они тянутся в небо своими острыми зубцами — непонятно, зачем они здесь, а если смотреть издали, то кажется, что это современный городок с фабричными трубами.

Башни построили, когда сюда совершали набеги пираты, норманны, варвары, которые были в те времена в Средиземноморье сущим наказанием, — построили, чтобы укрываться и защищаться от врага. Позднее средневековая знать строила их просто так, это было своего рода шиком — построить самую высокую в городе башню, пока Болонья не ошетилилась своими башнями, словно обезумевший дикообраз, как Питсбург — множеством квадратных печных труб. Тогда власти запретили их строить, и башни, исцарапав небеса, рухнули на землю. Правда, кое-где, например в Тарквинии, они уцелели — там сошлись эпохи.

5. Вульчи

Древняя Этрурия представляла собой Лигу, или свободную религиозную конфедерацию двенадцати городов, у каждого города было еще несколько миль прилегающей к нему земли, так что можно говорить о двенадцати государствах, двенадцати городах-государствах, знаменитых *dodecapolis** античного мира, по-латыни — *duodecim populi Etruriae***. Из этих двенадцати городов-государств Тарквинии были самым древним и самым главным городом. Еще был город Цере, а чуть севернее — Вульчи.

Вульчи теперь называют Вольчи — хотя города там больше нет, только «охотничье хозяйство»: здесь охотятся за сокровищами этрусских гробниц. Этрусский город пришел в упадок с упадком Римской империи, или же его жителей скосила малярия, от которой все в этих местах умирали, или же он был окончательно разрушен, как полагает Дукати, сарацинами. Как бы то ни было, здесь теперь никто не живет.

Я расспросил юношу-немца об этрусских поселениях вдоль берега моря — о Вольчи, Ветулонии, Популонии. Он ответил, как обычно:

— Ничего! Ничего! Там ничего нет!

Тем не менее мы решили поехать в Вольчи. Он находится в дюжине миль к северу от Тарквинии. Мы сели в поезд, доехали до следующей остановки, Монтальто-ди-Кастро, и очутились в маленьком городке, пристроившемся на холме, недалеко от берега. Было раннее утро, к тому же субботнее. Но городок, или поселок на холме, был совсем тихий, полумертвый. Мы вышли из автобуса на маленькой, казавшейся необитаемой *piazza**** — у городка не было оживленного центра. Правда, там стояло кафе, мы вошли в него, заказали кофе и спросили, где нам нанять повозку, чтобы доехать до Вольчи.

Хозяин кафе — боязливый и медлительный, с тихой улыбкой крестьянин. Казалось, силы покинули его, и он смотрел на нас вяло, равнодушно. Может, он переболел малярией, хотя сейчас его, похоже, лихорадка не мучила. Но она подкосила его.

Он поинтересовался, не хотим ли мы посмотреть мост — *Ponte*. Я ответил утвердительно, сказал, что хотим посмотреть *Ponte dell'Abbadia**, я знал, что Вольчи находится возле этого знаменитого монастырского моста. Спросил, можно ли нанять повозку, чтобы нас отвезли туда. Он сказал, что вряд ли. Тогда, решил я, мы пойдем пешком, до моста только пять миль, восемь километров.

— Восемь километров! — протянул он медленно, больным голосом, поглядывая на меня с усмешкой своими темными глазами. — По меньшей мере двенадцать!

— А в путеводителе написано, что восемь! — упорно настаивал я. Тут всегда стараются увеличить расстояние в два раза, если вы собираетесь нанимать повозку.

Он наблюдал за мной какое-то время, потом покачал головой.

— Двенадцать! — произнес он.

— Значит, придется ехать.

— А вы иначе и не доберетесь, — добавил он.

— А есть повозка?

Он не знал. Одна вроде бы есть, но утром ее куда-то послали, раньше двух-трех часов дня назад она не будет. Обычная история.

Я упрямо продолжал спрашивать:

— Неужели нет маленькой коляски, или *barrocino***, или *carretto****?

Он медленно качал головой. Но я не отступал, не сводя с него взгляда, словно он должен был тут же ее смастерить. Наконец он вышел — поискать ее. Через какое-то время вернулся, покачивая головой. Потом посоветовался с женой. Потом снова ушел, на этот раз минут на десять.

Вошел обсыпанный мукой маленький пекарь, энергичный коротышка, типичный итальянец, и попросил вина. Присел на минутку, выпил стаканчик, повернул к нам испачканное мукой лицо и стал нас разглядывать. Потом поднялся и ушел. Тут же вернулся хозяин кафе и сказал, что вроде бы есть *carretto*. Я спросил, где она. Он ответил, что скоро придет человек.

До Понте без малого два часа — значит, путешествие у нас займет шесть часов. Надо купить с собой какой-нибудь снеди — там ничего не найдем.

В дверях появился паренек с маленьким, худым лицом — тоже малярия замучила! Похоже, нам удастся нанять повозку!

— Сколько?

— Семьдесят лир!

— Очень много! Пятьдесят или ничего.

Юноша в дверях побелел. Хозяин кафе со своей насмешливой ухмылкой велел ему пойти спросить. Тот ушел. Мы стали ждать. Потом он вернулся и сказал, что все уладил.

— А когда поедем?

— *Subito!*

«*Subito*» — значит немедленно, но лучше уточнить.

— Через десять минут? — спросил я.

— Может, через двадцать.

— Скажи прямо, что через двадцать минут! — сказал хозяин кафе, он был честный и приятный малый, хотя и молчаливый.

Мы пошли купить продукты, хозяин кафе — с нами. Магазины здесь напоминали какие-то норы. Мы направились в булочную. Возле нее стояла телега, парнишка и коротышка-живчик пекарь грузили на нее хлеб. Мы купили батон, несколько кусков колбасы, попросили сыра. Сыра не оказалось — но нам пообещали его достать. Мы снова довольно долго ждали. Я спросил у хозяина кафе, наблюдавшего за всем с явным интересом:

— Повозка, может, уже готова?

Он повернулся и мотнул головой в сторону высокой бойкой кобылки, стоявшей среди телег с хлебом.

— Вас на этой лошади повезут. Когда весь хлеб отвезут, ее запрягут в *carretto*, и мальчишка поедет с вами.

Оставалось покорно ждать, потому что кобыла пекаря и его помощник были последней нашей надеждой. Наконец принесли сыр. Мы отправились на поиски апельсинов. Возле дороги на низкой скамеечке женщина продавала апельсины, но у Б. к тому времени испортилось настроение, и они ему не понравились. Мы перешли дорогу и заглянули в другую лавчонку, в ней женщина тоже торговала апельсинами. Они были совсем мелкие, Б. презрительно забраковал и их. Женщина стала говорить, что они сладкие, сочные, как яблоки. Мы купили четыре штуки, еще я взял для салата *finocchio**. Она сказала правду. Апельсины оказались отличными, когда мы их попробовали, то пожалели, что не купили десять штук.

Мне кажется, жители Монтальто честные, приятные люди, просто почти все они медлительные и молчаливые. Видно, малярия их часто мучит.

Хозяин кафе поинтересовался, останемся ли мы на ночь. Мы спросили, есть ли тут гостиница.

— Да, несколько!

Я спросил, где они, он кивнул в сторону улицы.

— Но зачем вам несколько гостиниц?

— Агенты по закупке сельскохозяйственных продуктов приезжают. Монтальто — центр сельскохозяйственного производства, так что здесь очень много закупщиков бывает.

Однако я решил, что мы постараемся вечером уехать. В Монтальто ничто нас не удерживало.

Наконец *carretto* была готова — просторная, на двух колесах, довольно низкая. Мы сели позади темно-бурой лошади и помощника пекаря, который явно не умывался несколько дней, и тронулись в путь. Он до смерти боялся нас, от страха совсем отупел.

Из города мы выехали очень быстро. Зеленая земля, ряды темно-свинцовых оливок, посаженных вдоль железнодорожного полотна, бегущего у побережья параллельно с проложенной еще в давние времена *виа Аурелиа*. По другую сторону железной дороги — плоская прибрежная полоса и белесый пустой берег моря. Полное ощущение небытия. Море где-то внизу.

Темно-бурая кобыла, поджарая, даже тощая, взяла хороший темп. Но очень скоро мы съехали с дороги и затряслись на розоватой глинистой почве широкой тропы, она вся была в ухабах и бороздах. Местами — непролазная грязь, в ямах стоит вода. К счастью, дождя не было уже с неделю, почти все колдобины высохли, проехать можно, правда, мешают ухабы, которые то и дело попадают на этой тропе, широкой, словно нескончаемая пустынная дорога. Мы рисковали свернуть себе шеи — таким размашистым шагом двигалась вперед нетерпеливая кобыла.

Мальчишка справился со своей робостью, от быстрой езды он оживился и оказался говорливым и откровенным. Я сказал ему:

— Как нам повезло, что дорога сухая!

— Пятнадцать дней назад вы бы не смогли проехать.

А когда в конце дня мы возвращались назад и очутились на той же дороге, я сказал:

— В плохую дождливую погоду нам пришлось бы ехать верхом на лошади.

Он ответил:

— Даже в *carretto* можно проехать.

— Всегда?

— Всегда.

Вот такой парнишка нам попался. Возможность и невозможность зависели лишь от его настроения.

Наконец мы в Маремме, плоской широкой прибрежной долине, где никогда не просыхает вода, — в одной из самых заброшенных, необитаемых частей Италии. При этрусках, безусловно, это был очень плодородный край. Этрусски ведь были очень опытными инженерами дренажных систем, они осушили эти поля, превратили их в волнистое море пшеницы, которую выращивали

искусно, с присущим им умением. При римлянах вся эта сложная система дренажных каналов пришла в упадок, и постепенно вода стала заливать побережье, потом впитываться в землю, образовывая топи и неглубокие водоемы, в которых кишмя кишели комары, словно чертенята; в теплые майские дни появлялись тучи новых насекомых, а с комарами сюда пришла малярия, которую в старину называли болотной лихорадкой. В поздний период римского правления этот дьявол обрушился на этрусские поля и на римскую Кампанию. Потом, наверно, море отступило, земля поднялась, прибрежная полоса стала шире, но еще более пустынной, чем раньше, на болотах не осталось никакой живности, а люди покинули эти места, все было разрушено, лишь кое-где сохранились случайные островки жизни.

При этрусках, без сомнения, вдоль побережья росли сосны — на склонах гор, что возвышались в нескольких милях от моря, и на береговых участках, тянувшихся на север. Приятные pineta, или роши из стоящих поодаль друг от друга раскидистых сосен, где было очень светло, когда-то начали разрастаться, в них было много высоких земляничных деревьев, вереска, над этим высоким покровом поднимались редкие красноватые стволы сосен, как и из густых зарослей ползучего вереска, кустов земляники и раkitника. Дальше на север тоже тянутся сосновые леса, они по-прежнему красивы — молчаливые и заросшие кустарником, под зонтиками-крышами крон.

Но сосна не выживает в сырой почве. И когда этот край превратился в топи, болота и заводи, этрусские деревья погибли, появились огромные, поросшие непроходимым кустарником и тростником участки, они тянулись на мили, люди оттуда уехали. Вечнозеленое земляничное дерево, мирт, мастиковое дерево, вереск, раkitник и другие, хвойные, клейкие, грубые болотные растения буйно разрослись тут, вершины их клонились вниз или ломались под порывами жестокого морского ветра, так что получились в конце концов низкие, темные джунгли из низкорослого, ниже человеческого роста, кустарника, покрывшие землю от гор почти до самого моря. Здесь развелось сонмище кабанов, лисы и волки охотились за кроликами, зайцами, косулями, бесчисленные стаи дичи и фламинго ходили вдоль зловонных, распространяющих заразу берегов огромных водоемов и вдоль берега моря.

И такой была Маремма столетиями — с заброшенными землями и небольшими плодородными участками на возвышенности, но в основном — целина, на ней, где можно, пастухи пасли овец, бродили дикие буйволы. В 1828 году герцог Леопольд Тосканский подписал декрет о возврате ему Мареммы, а позднее итальянское правительство получило отличные плоды — к обширным возделываемым землям прибавились новые большие участки, на которых стали возникать фермерские хозяйства.

Но здесь все еще сохранились заболоченные места. Мы тряслись по заросшим травой ухабам, направляясь к горам, возвышающимся вдаль, поначалу мимо полей пшеницы, потом мимо заболоченных лугов, по которым расхаживали одинокие крупные черные вороны с серыми головами, потом мимо небольшой рошицы падуба, снова мимо поля пшеницы, мимо одиноко стоящей фермы, напоминавшей почему-то американское ранчо — унылое, затерявшееся среди голых прерий.

Юноша-немец сказал мне, что он два года был *guardiano*, то есть пастухом, в этих краях. Вокруг этой фермы за колючей проволокой пасся крупный рогатый скот. Висело объявление, что ферма закрыта из-за ящура. Наш возничий помахал женщине с двумя ребятишками, проезжая мимо.

Мы ехали в отличном темпе. Возничий, Луиджи, сказал мне, что его отец тоже был *guardiano*, пастухом, в этих местах, и пятеро его сыновей пошли по его стопам. Парнишка поглядел вдаль пронизательным, цепким взглядом человека, живущего в глуши и в одиночестве, знающего всю округу. Каждый куст. И он был очень рад, что выбрался сюда из Монтальто.

Его отец умер, один брат женился и живет теперь в родительском доме, а Луиджи подался в город, устроился в помощники к пекарю. Но он был несчастлив — попал в западню. А тут на

просторах Мареммы он ожил, держался начеку. Он почти всегда жил одиноко — ему исполнилось всего лишь восемнадцать, — и пустынные, безлюдные места были близки его душе, как болотной птице.

Крупные вороны в серых капюшонах бродили вокруг, с болота поднялась стая полевых жаворонков. И стояла тишина. Луиджи сказал, что сезон охоты закончился, но если бы у него было ружье, он бы пострелял по этим воронам. По всему было видно, что он привык держать ружье, когда в жаркие долгие малярийные дни садился на пони и пас стада в полях Мареммы. Скот не болеет малярией.

Я спросил его, какая тут водится живность. Он сказал, что у подножия холмов ее много. И кивнул в сторону гор, возвышавшихся в шести или восьми милях от нас. Сейчас почти вся Маремма осушена, возделана, так что охотиться стоит только в холмах. Его отец ходил проводником с охотниками зимой, они и сейчас приезжают сюда в это время года из Рима или Флоренции, со всем своим снаряжением, с собаками, с разным барахлом, шумят, галдят. Охотятся на вепря, лису, *sargiolo* — это скорее косуля, чем дикий козел. Но вепрь — это *piece de resistance**. На рынке во Флоренции зимой иногда продают его колючую, щетинистую тушу. Но, как все дикие животные на нашей земле, они постепенно исчезают. Скоро только домашние животные останутся, а самый прирученный из них — человек, привыкший жить огромными популяциями. Прости прощай даже Маремма!

— Вон! Вон монастырский мост! — сказал паренек.

Мы посмотрели на узкую зеленую ложбину и увидели маленькую черную башню, окруженную кустами, росшими среди безлюдной долины. Внизу тянулся длинный ров или канал, похоже, его продолжали рыть еще дальше. Это ирригационная правительственная программа.

Мы съехали с дороги и стали трястись по траве, через поле чахлого овса. Луиджи сказал, что овес идет на корм скоту. Мы увидели ветхий пастуший домик, новый проволочный забор вдоль большого канала. Для Луиджи это оказалось неожиданностью. Он повернул лошадь к холму, поднялся к домику и спросил у мальчишки, где ворота в ограде. Тот объяснил, Луиджи мгновенно понял. Он был сообразителен, как дикий зверь, снова попавший в родные места.

— Пять лет тому назад ничего этого не было, — сказал он и обвел рукой окрестности, — ни канала, ни ограды, ни овса, ни пшеницы. Все тут было *magemma*, болотом, никого, кроме ворон, скота и пастухов. Теперь скотина бродит по одиночке — стад уже нет. А фермеры бросили свои дома. — Он протянул руку в сторону большого дома, стоящего в нескольких милях отсюда у подножия ближайшего холма. — Скота почти не осталось, пастухов больше нет. Теперь здесь плуг и распаханная земля, машины сеют и собирают пшеницу и овес, а жителей в Маремме стало не больше, а еще меньше. Зерно можно с помощью машин выращивать.

Мы вернулись на тропу, поехали по пологому склону к низине, поросшей кустами, к старым черным развалинам с башней. Скоро мы увидели, что там был довольно глубокий овраг, заросший деревьями. А через овраг перекинут необычный мост, узкий, крутой и, на первый взгляд, довольно прочный. Он изогнулся над оврагом высокой дугой, каменная дорожка втиснулась в его полуразрушенный остов, будто желоб, и упиралась в развалины из черной лавы, что были напротив, — в развалины крепости, стоявшей на границе с соседней областью. Речушка в овраге, Фьора, раньше служила рубежом между папскими землями и Тосканой, так что крепость охраняла мост.

Мы решили спуститься, но Луиджи попросил нас подождать, пока он сходит и переговорит с новыми хозяевами. Он вернулся, поднялся на холм и поехал по узкому мосту. Повозка с трудом двигалась по нему. Казалось, мы задеваем его боковины. Такое впечатление, что мы пробираемся по глубокому желобу. Где-то внизу в густом кустарнике бежала Фьора, — то ли чистый ручей, то ли дождевые потоки воды.

Мы проехали мост, в конце его нам преградила путь монастырская стена из лавы, лошадь почти коснулась ее носом. Дорога, однако, повернула влево, нырнула под арку ворот. Луиджи вовремя придержал кобылу. Там едва хватило места развернуть ее вместе с *carretto*; съехав с моста и задев повозкой стену, мы попали в арку.

Наконец! Ворота позади, потом несколько ярдов мимо руин, и вот мы спустились на лужайку с высокой травой над оврагом. Удивительно романтическое место! Старинный мост, построенный еще этрусками Вульчи из блоков черного *tuffo*, вздымался словно черный пузырь, такой округлый и такой необычный. В ста футах внизу бежала речушка в овраге, поросшем кустами. А мост парил в небе, словно черный пузырь, удивительно необычный и одинокий, — щемящее напоминание о давно забытых прекрасных временах. Конечно же, потом его реставрировали римляне, потом — в Средние века. Но первыми его построили этруски, это прекрасное детище этрусков!

Черная крепость с одной стороны нависает над ним, она почти разрушилась, сверху на стенах и на черной башне растет трава. Как и мост, она была построена из красновато-черного пористого туфа, но ее блоки более правильной, квадратной формы.

А вокруг — странная пустота. Крепость все-таки не целиком разрушена. Теперь здесь что-то вроде фермерского хозяйства. Луиджи знает людей, которые тут живут. А по ту сторону речушки — поле овса, пасутся две-три коровы, играют ребятишки. С этой стороны до самых гор — вересковая пустошь, болота, через которые идет дорога к холмам и большому дому среди деревьев: мы его увидели издалека. Это и есть *Vadia*, монастырь, поэтому и мост так называется. Но монастырь уже давно превратили в жилой дом. Все здесь раньше принадлежало Люсьену Бонапарту, князю Канино, брату Наполеона. Он жил в этих местах после смерти брата, ему даже пожаловали титул итальянского князя. В 1828 году плуг, которым распахивали поле возле крепости, вдруг провалился, под землей оказалась гробница с черепками от разбитых ваз. И там сразу же начали вести раскопки.

То было время, когда в моду вошли «греческие урны». Люсьена Бонапарта несколько не интересовали вазы. Он нанял подрядчика, приказав сохранить все найденные фрагменты фресок, а все грубые поделки уничтожить — иначе рыночная цена на этрусские предметы может упасть. Таким варварским способом здесь проводились раскопки: собирали вазы и корзины, полные фрагментов и осколков; грубые черные этрусские керамические изделия уничтожались, как только их вытаскивали на свет божий, надсмотрщик следил за рабочими с винтовкой наизготовку. Денниз наблюдал это еще и в 1846 году. К тому времени Люсьен уже умер, но раскопки продолжались под присмотром княгини. И тщетно Денниз умолял подрядчика дать ему какой-нибудь черный керамический предмет. Не дал ни одного! Их уничтожали и бросали в землю, а надсмотрщик с винтовкой сидел рядом. Но кое-какие куски расписной керамики умельцам княгини удавалось сохранить и склеить, и она продавала патеру или амфору, восстановленную из глиняных черепков, за тысячу крон. Гробницы открывали, а потом снова засыпали землей. Все помещики в округе стали проводить раскопки и искать бесценные сокровища этрусков. За два месяца раскопок, начатых Люсьеном Бонапартом, из гробниц, что находились на участке в несколько акров, было извлечено более двух тысяч этрусских предметов искусства. Горькой иронией представляется тот факт, что этруски оставили несметные богатства Бонапартам, но это так. На самом деле, в Вульчи оказались несметные сокровища, но почти все расписные вазы, эти «невесты тишины», были похищены. В гробницах теперь практически ничего не осталось.

Мы перекусили, кобылка пощипала траву. И я стал наблюдать за стайкой подростков, которые на велосипедах спустились к мосту с противоположной стороны реки, словно вынырнув из пустоты, спустились, забрались на высокий мост, а потом исчезли в замке. С гор ехал верхом на осле симпатичный паренек в вельветовых штанах. Он ехал без седла. Перебросился несколькими словами с Луиджи тихим, таинственным, таким, как здесь принято переговариваться, голосом и направился к мосту. Потом два человека на мулах рысью пересекли мост, следом за ними крестьянин вел двух волов — их рога проткнули небо на самой верхней точке моста.

Для такого заброшенного места тут казалось даже людно. И все равно воздух был пропитан подозрительностью, настороженностью, отъединенностью от остального мира. Такое впечатление, что мы попали в Средневековье. Я попросил Луиджи пойти в дом и купить нам вина. Он сказал, что не уверен, сможет ли достать вина, но пошел с упрямым и испуганным видом, почти как дикарь, который боится приближаться к незнакомому месту.

Скоро он вернулся и сказал, что dispensa* закрыта, так что ему не удалось ничего достать.

— Тогда пойдем к гробницам, — предложил я. — Знаешь, где они?

Он махнул куда-то в сторону болот и сказал, что они там, но что надо найти свечи. В гробницах темно, там никого нет.

— Что ж, давай у крестьян попросим, — сказал я.

А он в ответ повторил, что dispensa закрыта. Ему было не по себе, он стал мрачным — люди в трудные минуты обычно становятся такими. Они боятся друг друга и никому не доверяют.

Мы вернулись назад к черным развалинам, прошли в темные решетчатые ворота в полуразрушенный, поразительно мрачный двор. На дворе собралось семь-восемь мужчин, кто сидел на корточках, кто ходил взад-вперед, они прислонили свои блестящие на солнце велосипеды к развалинам стен. Молодые парни странной внешности — некрупные, небритые, грязные — не крестьяне и не рабочие, такое впечатление, что они живут тут среди грязи и мусора. Луиджи явно занервничал при виде их — не сказать, что они смахивали на отпетых негодяев, просто были чужаками. Одного, правда, он знал — чудаковатого, лет двадцати, в обтягивающем синем свитере, с иссиня-черной бородой на нежном лице и странной улыбкой gamin*. Этот паренек, продолжая улыбаться, подошел к нам с тревожным, непонятым любопытством. Все парни держались настороженно, словно изгои, но в них было еще что-то необычное. На самом деле, они принадлежали к числу самых бедных и чудаковатых жителей Мареммы.

Двор крепости был темным и зловещим, но при этом притягивал внимание своими развалинами. Бросились в глаза убогие приметы крестьянского быта. Внешняя, когда-то великолепная лестница сейчас вела к жилому помещению — двум-трем комнатам, смотрящим окнами на мост.

Ощущение недоверия, даже враждебности, было столь сильным, что мы пошли на мост. Луиджи тоже стало не по себе, он разговаривал вполголоса с чернобородым парнем с ясными глазами — тут у всех удивительные, ясные, темные глаза, блестящие, как у мышей.

Наконец я напрямую спросил его:

— Кто все эти люди?

Он пробормотал, что они местные рабочие, землекопы. Меня это озадачило — зачем в такой глуши рабочие и землекопы? Они занимаются ирригацией, пришли в dispensa за зарплатой и за покупками — была суббота, но человек, который сидит в dispensa, продает вино и продукты, до сих пор не появился, так что и мы не смогли ничего купить.

Естественно, Луиджи всего этого не говорил. Только сказал, что эти люди работают на ирригации, до остального я додумался сам.

Наше желание раздобыть свечи было объяснимо. Я попросил Луиджи сходить за ними к крестьянам. Он сказал, что у них наверняка их нет. К счастью, в эту минуту наверху в одном из окон старого дома показалась неопрятная женщина. Я спросил ее, не продаст ли она нам свечу. Она исчезла, верно, решила обдумать услышанное, потом снова появилась и мрачно сказала, что за шестьдесят сантимов может продать. Я бросил ей лиру, а она мне свечу. Вот так!

Потом чернобородый парень, поблескивая глазами, сказал нам, что одной свечи нам не хватит. Я попросил женщину продать нам еще одну и бросил ей пятьдесят сантимов, поскольку она все еще решала, возвращать мне сдачу с лиры или нет. Она бросила другую свечу.

Мы с Б. пошли к *carretto*, Луиджи с нами. Но я видел его несчастное лицо.

— Ты знаешь, где гробницы? — спросил я у него. И получил невнятный ответ:

— Вон там.

— Если ты не знаешь дороги к гробницам достаточно хорошо, найди нам провожатого. — Он колебался, мучился тупой неуверенностью, свойственной обитателям этих мест. — Найди провожатого в любом случае, — сказал я, и он понуро побрел прочь.

Он вернулся, заметно повеселев — с ним шел крестьянин, низкорослый крепыш *magetmano**, лет сорока, небритый, но не чумазый. Звали его Марко, он надел выходной пиджак, чтобы сопровождать нас. Он был тихим, судя по виду решительным человеком, со светло-каштановыми волосами, не в пример этим странным черноволосым парням с округлыми, мягкими контурами фигуры. С ним пришел его сын, лет тринадцати, и они забрались на задок нашей *carretto*.

Марко показывал, куда ехать, и мы затряслись по дороге, потом — по тропе к поросшей вереском болотистой местности. Нас сопровождал на велосипеде невысокий черноглазый паренек. Проехали мимо нескольких времянок-хижин, построенных из тонких досок, нам вслед долго смотрели женщины, обитательницы этих хижин. У дороги стояли огромные мешки с углем, а возле них — угольщики, спустившиеся с гор на выходные. Они тоже смотрели нам вслед. Рядом с ними застыли, опустив морды, ослы и мулы.

Это был зимний лагерь углекопов. Марко сказал мне, что через неделю-другую они уедут отсюда, поднимутся в горы, подальше от малярии, которая в мае особенно свирепствует. Конечно, они представляли собой странное зрелище, если не сказать — дикое. Я спросил у Марко, сильно ли тут людей бьет лихорадка, имея в виду малярию.

— Не так чтобы очень.

Я еще спросил, болел ли он когда-нибудь малярией.

— Нет, не болел.

И правда, он был крепким и здоровым, в нем чувствовалась скрытая, взрывная энергия. И все-таки лицо у него было какое-то застывшее, измученное, напряженное, желтоватое: я принял это за симптомы малярии. Я спросил у нашего возничего Луиджи, болел ли он когда этой болезнью. Сначала он сказал, что не болел. А потом признался, что у него частенько случаются приступы лихорадки. Это было очевидно по его лицу — худому и желтоватому, малярия явно подтачивала его. И тем не менее в нем, как и в Марко, чувствовалась крепкая мужская сила, не в пример большинству итальянцев. В этих краях, наверно, не принято признаваться, что болел малярией.

Слева из-за зарослей вереска поднимались большие, слегка плоские курганы, — очень большие, куда крупнее, чем могильники Черветери. Я спросил у Марко, не гробницы ли это?

Он ответил, что это могильные курганы Коккумелла и Коккумеллетта, но сначала мы посмотрим гробницы у реки.

Мы спустились по каменистому склону к краю оврага, в котором, как и в давние времена, росло много деревьев. Справа вдаль, позади нас, возвышалась одинокая черная башня крепости, оттуда мы приехали сюда по болотам. По другую сторону оврага тянулся низкий холм, болотистый, поросший травой, а дальше, вниз по реке, тоже копали дренажные каналы. Места

были пустынные, давно заброшенные, однако тут ощущалась некая странная, даже зловещая значительность, как бывает в тех краях, где раньше кипела жизнь.

— А где раньше был Вульчи? — спросил я Марко.

Он показал через реку на длинное низкое плато. Я понял, что Вульчи был именно там, тем более что гробницы были расположены на этой стороне оврага. Но уж больно незащищенным и низким был этот участок — этруски не строили свои города на семи ветрах! Наверно, он был обнесен стенами, город ведь закладывали, сообразуясь с близостью моря и с наличием рвов и оврагов. Я спросил Марко, что здесь было раньше, потому что даже намек на крепостные стены не осталось.

— Ничего!

Этот город, очевидно, был небольшим, не в пример Цере или Тарквинии. Но это был один из городов Лиги, очень богатый, если судить по тысячам расписных ваз, которые нашли в гробницах.

Каменистый спуск был очень неровным. Мы вышли из повозки и стали спускаться пешком. Луиджи оставил кобылку, Марко вел нас вперед, к проволочной ограде. Он раздвинул проволоку, мы пробрались через отверстие и очутились на заросшем кустами каменистом склоне оврага. На берегу реки росли деревья, у некоторых листва была ослепительно-зеленой. Мы спустились по тропе позади гробницы, подошли к входу, закрытому железными воротами, могильник был оплетен колючей проволокой и напоминал термитник с буйной растительностью, которая поднялась, чтобы задушить обитателей.

Пробравшись по склону оврага сквозь заросли и обойдя камни, мы подошли с другой стороны вплотную к гробницам, которые были выдолблены прямо в каменистой породе горы и когда-то представляли собой ровную вереницу склепов, прямо как ряд каменных домов, с отличной дорогой, проложенной возле них вдоль оврага. А теперь это мрачные норы, в которые можно попасть только через груды вырытой во время раскопок земли. Спустившись вниз с тремя свечами — темнолицый паренек на велосипеде тоже захватил одну, — мы словно очутились в волчьей норе: тут были большие камеры, переходящие одна в другую, как в Черветери, сырые каменные ложа для саркофагов и вызывающие ужас огромные каменные гробы длиной в семь футов, лежавшие в беспорядке между валунами и булыжниками, в некоторых гробах — скелеты и прах, тоже сваленные в кучу. Сырые черные камеры, пустые или с огромными саркофагами, осколками ваз и камнями, следами раскопок, — и ничего больше не осталось в этой сырой зловещей тьме.

Иногда нам приходилось пробираться в гробницы ползком на животе, через груды камней, как крысам, а по лицу нас били крылья летучих мышей. Попав внутрь, мы карабкались в темноте через огромные валуны и кучи битого камня из камеры в камеру, а их было четыре, а может, даже пять, все выдолблены в скале и построены по всем правилам, как жилые дома — со сводами и балками. Здесь большими стаями жили светло-коричневые мохнатые летучие мыши, они свисали гроздьями, словно шишки гигантского дикого хмеля. Невозможно было поверить, что они живые, пока парнишка, что приехал с нами на велосипеде, не поднес зажженную свечу к одной кучке, подпалив им шерсть, они загорелись, замахали голыми крыльями и, полубезумные, полумертвые, посыпались на пол, потом расправили крылья и стали низко летать по камере, ища выхода. Темнолицый парнишка был в полном восторге. Но я остановил его, он испугался и оставил свое развлечение.

Станным он был — коротышка, полноватый, круглый, черноволосый, с припухшим лицом и глазами, как у летучей мыши, — как у всех местных. Ему, верно, было лет двадцать, он был похож на какого-то странного немого обитателя норы. Он, верно, очень забавно пробирался бы в нору, вертя своим круглым мягким задом, точь-в-точь как несмышленный зверек. Я заметил, что уши у него с внутренней стороны все в язвах и струпьях, то ли от грязи, то ли от какой-то болезни,

кто знает?! Он на вид был вполне здоров и бодр. Казалось, он и не подозревает, что уши у него в язвах — типично животное неведение.

Марко был более цивилизованным, знал дорогу и вел нас из гробницы в гробницу — мы пробирались ползком, продирались сквозь завалы, втискивались в сырые камеры в темноте, среди разрухи, летучих мышей, а потом выныривали наверх, к зарослям фенхеля и кустам, а потом спускались в очередную нору. Он показал нам гробницу, из которой только в прошлом году достали большую каменную статую, показал, где она стояла — в самой дальней камере, спиной к стене. Рассказал о вазах, разбитых вдребезги, которые он вытаскивал из грязи и ставил на каменные лежа.

А теперь тут ничего не осталось, я устал лазить в эти грязные норы, мокрые и забитые камнями. Ничего тут не сохранилось — ничего. Я обрадовался, когда мы дошли до конца раскопок, дальше тянулся берег оврага, поросший кустами, фенхелем и травами. Наверно, еще много ваз и каменных саркофагов лежит под землей — пусть себе лежит.

Мы пошли назад той же дорогой, потом стали взбираться вверх. Когда мы вышли на тропинку, ведущую к запертой гробнице, Марко сказал мне, что в ней сохранились фрески и предметы этрусского искусства. Может, это знаменитая Гробница Франсуа с фресками, копии которых хранятся в музее Ватикана? Их обнаружил археолог Франсуа в 1857 году, эта гробница одна из немногих в Вульчи, где были фрески.

Мы снова попытались войти туда, но тщетно. Сбивать замок мы не посмели. Конечно, отправляясь в такие экспедиции, надо запастись официальным разрешением властей. Но тогда бы чиновники таскались за нами повсюду.

Мы снова выбрались наверх, Луиджи заставил нас сесть в *carretto*. Кобылка повезла нас по кочкам к большим могильникам, которые мы хотели посмотреть. Они заросли травой и смахивают на круглые низкие холмы. Каменный цоколь, если он и был раньше, сейчас не виден.

Марко повел нас по узкой тропинке между кустами ежевики, которая привела на поляну перед могильниками. Тропинка почти заросла. Нам приходилось пробираться среди колючих веток, как кроликам.

Наконец мы у входа в могильник. Здесь еще в 1829 году стояли два загадочных каменных сфинкса, охраняя вход. Теперь их нет. А внутри вдоль коридора и по углам камер раньше находились изваяния львов. А что сейчас мы увидим, ступая по тускло освещенному свечами узкому кривому коридору? Такое впечатление, что находишься в шахте, кривые коридоры не кончались, тянулись из ниоткуда в никуда. Свечи почти сгорели — осталось четыре огарка. Марко поставил один на перекрестке, а мы все шли и шли из ниоткуда в никуда, немного согнувшись, задевая шапками летучих мышей, свисавших с потолка; мы шли гуськом, пленники узких каменных коридоров, ведущих неведомо куда. Иногда нам попадалась ниша в стене — и больше ничего.

Без сомнения, где-то должна быть центральная камера, к которой ведут все проходы. Но мы не нашли ее. А Марко сказал, что ее нет вообще, потому что в этом кургане только проходы, ничего больше. Но Денниз пишет, что когда в 1829 году этот курган обнаружили и спустились вниз, в самом центре были две маленькие камеры, от них поднимались две каменные колонны, они шли до самой вершины, наверно, на них и стояли большие монументы, не исключено, что фаллические *cipri*. На полу этой камеры валялись куски бронзы и золота. Но сейчас ничего подобного мы не увидели, без сомнения, центр кургана был разрушен.

У нас создалось такое ощущение, словно мы пробирались внутри какой-то древней пирамиды. Тут все было не так, как в тех гробницах, где мы побывали: и если в этом могильнике раньше была гробница, то в ней похоронен очень знатный этруск, а его склеп был вроде ореха внутри скорлупы, наверно, этот этруск был под стать фараону. Этрусски были необычным

народом, и этот могильник без прилегающих к нему гробниц, только с бесконечными кривыми проходами, построен в духе доисторических строений или египетских пирамид.

Набродившись по проходам, которые никуда не вели, мы выбрались на свет божий, продравшись сквозь кусты ежевики, и были счастливы, что снова увидели чистое небо. Мы забрались в *carretto*, и кобылка бережно повезла нас вверх, на дорогу. Темнолицый парень ехал молча впереди нас на своем велосипеде, чтобы открыть нам ворота. Мы снова окинули взглядом огромный курган Коккумелла, чьи странные мертвые руки давным-давно распростерлись в мягкой земле над двумя крошечными камерами смерти, да и сейчас он зловеще возвышается над плоской Мареммой. Какой странный орех, хранящий в своем ядре извечную тайну! А когда-то он величественно возвышался, как огромная грудь с торчащими из нее *cirri*! Все это для нас непостижимо. Курган остался позади нас, когда повозка запрыгала по изрытой могильниками земле. Вульчи — мрачное место, хотя и прекрасное.

Углекопы собрались в своем маленьком лагере умыться лица — в честь воскресного дня. Женщины улыбались нам вслед, пока мы ехали по болоту.

— Ну тебя и разнесло! — крикнул Луиджи какой-то толстухе, улыбавшейся ему.

— А тебя зато нет! — откликнулась она. — *Tu pure no!*

У моста мы попрощались с Марко и его сыном, снова проехали по каменному желобу. На другой стороне оврага Луиджи захотел пить. Мы спустились к ручью, журчащему тонкой струйкой, и попили прохладной водички. Река мчалась внизу, мост вздыбился, словно черная, парящая в высоте радуга, и мы слышали крики погонщиков мулов, гнавших их по мосту.

Когда-то этот мост был еще и акведуком, а сейчас лишь огромные сталактитовые массивы свисают, словно птицы, с моста со стороны гор. Но акведука теперь нет, сталактиты крошатся. Все проходит!

И вот мы поднялись, сели в *carretto*, и кобылка повезла нас прочь размашистым шагом. Мы проехали мимо парня в вельветовых штанах на осле — крестьянина с холмов, как сказал Луиджи. Навстречу нам скакал всадник, по направлению к холмам, прочь от Монтальто. Был субботний день, над Мареммой дул крепкий ветерок с моря, и люди возвращались с работы верхом — кто на лошади, кто на мулле, кто на осле. А кое-кто вел за собой вьючных ослов.

— Хорошо бы пожить здесь, — сказал я Луиджи, — в домике на холмах, поездить верхом — простор-то какой, — если бы не малярия.

Луиджи мне уже жаловался, что малярия здесь лютует, хотя детей пока что щадит, а взрослые болеют часто, лихорадка то и дело трясет их, в Монтальто малярия гораздо сильнее, чем на открытой местности, а в сезон дождей тут не проехать, местные бывают отрезаны от остального мира; Луиджи вдруг сменил тон и сказал, что теперь почти никто не болеет, дороги круглый год в порядке, жители Монтальто в хорошую погоду уезжают к морю, там у них тростниковые хижины, проехать в любое время года можно спокойно; что если сытно питаться, лихорадка вообще тебе не страшна, просто надо есть немного мяса и пить хорошее вино. Он очень хотел, чтобы я приехал сюда и поселился в каком-нибудь пустующем доме у подножия холмов, а он станет присматривать за моими лошадьми, и мы будем вместе ездить на охоту, даже не в сезон, потому что тут никто не ловит браконьеров.

Б. дремал, пока мы тряслись по кочкам и ухабам. И я раз мечтался. Мне очень хотелось поселиться здесь, если бы не малярия. И конечно же, я сговорился бы с Луиджи, чтобы он присматривал за моими лошадьми. Он с виду невзрачный, и такой одинокий, и мужественный, и, конечно же, честный, он куда более крепкий и мужественный, чем горожане или копающиеся в земле крестьяне.

Словом, мы увидели в Вульчи все, что можно было. Если захочется посмотреть то, что этруски закапывали тут в гробницах, надо поехать в музей Ватикана, или Флоренции, или в Британский музей в Лондоне, — там мы увидим вазы, статуи, изделия из бронзы, саркофаги и драгоценности. В Британском музее хранятся в основном все сокровища из Гробницы Изиды, в которой была похоронена знатная этруска. Денниз принял ее за египтянку, изучив ее скульптурное изображение — строгие, прямые линии фигуры, а также статуэтку «Изиды», шесть яиц страуса и другие предметы, захороненные вместе с ней, ибо после смерти у нее должно быть все так же, как и в жизни, насколько это возможно. Таково было кредо этрусков. Как могла египтянка очутиться в Вульчи, и как могли ее похоронить вместе со знатной этрусской? В этой части некрополя Вульчи, который теперь называют Полле-драра? Кто знает? Но все, что сохранилось от нее, теперь находится в Британском музее. В Вульчи ничего нет. Как бы то ни было, она, безусловно, не египтянка. Все архаичное на восточном побережье Средиземного моря Денниз считал египетским.

Вот так обстоят дела. Вульчи исчез с карты этого края в римские времена и вновь возник из небытия в 1828 году. Как только его обнаружили, тотчас его захватили помещики, все ценности расхитили, а гробницы или снова закрыли, или просто бросили. Где тысячи vaz, которые этруски собирали с такой любовью и клали в гробницы вместе со своими усопшими? Многое сохранилось. Где угодно, только не в Вульчи.

6. Вольтерра

Вольтерра — самый северный из легендарных западных этрусских городов. Она расположена в тридцати милях от моря, на высокой большой горе, обдуваемой со всех сторон ветрами, на которой возвышаются башни; перед ней, как на ладони, — весь мир, под ней — долина Чечина, идущая к морю, к югу, и высокогорье, простирающееся до самой Эльбы, а к северу нависают горы Каррара, потом предгорье Апеннин, тянущееся к сердцу Тосканы.

Вы выходите из поезда «Рим — Пиза» в Чечине и медленно двигаетесь по долине, тоже носящей это имя, — романтической, зеленой, таких теперь просто не бывает, она сохранилась вопреки развитию средств передвижения древних этрусков и римлян, жителей средневековой Вольтерры и Пизы, вопреки современному транспортному сообщению. Но движение здесь не очень оживленное. Вольтерра словно остров в глубине материка, она по сей день изолирована от внешнего мира и очень мрачная.

Маленький обшарпанный поезд останавливается в Салине-де-Вольтерра, здесь испокон века — соляные копи, которые нынче принадлежат Соединенным Штатам, соляной раствор выкачивают из глубоких скважин. Оставшихся в поезде пассажиров пересаживают в маленький вагон, ожидающий их возле платформы, и он начинает взбираться, подобно жуку, по рельсам, проложенным на склоне холма, а толкает его сзади моторчик. Мы двигаемся почти шагом вверх по крутому, но гладкому склону, мимо виноградников и оливковых рощ, вокруг нет ни одного цветка, иногда прохладный воздух доносит запах фасоли; взбираемся все выше и выше, над долиной, раскинувшейся внизу, и вот мы уже на одном уровне с высокими холмами, что к югу от нас, а впереди высокая гора с двумя-тремя башнями на вершине.

Несколько раз наш вагончик дает задний ход, меняет скорость, наконец останавливается возле подобия придорожной станции и замирает. Мир лежит внизу. Мы выходим из вагона, пересаживаемся в старый маленький автобус и трясемся в нем до города — конечной остановки, въезжаем на мрачную небольшую площадь, на которой стоит гостиница.

Гостиница простая, без особых удобств, но неожиданно вполне уютная и приятная. Более того, тут есть центральное отопление, поэтому в этот холодный, почти морозный апрельский день в ней тепло. Вольтерра лежит всего в 1800 футах над уровнем моря, но со всех сторон дует ветер, и холодно, как обычно в Альпах.

Было воскресенье, входили и выходили случайные важные постояльцы, словом, обстановка шумная и нервная, а все вместе создавало ощущение какого-то политического события. Официант принес нам чай, не очень-то крепкий, я поинтересовался, что происходит. Он ответил, что вечером состоится грандиозный банкет в честь нового *podesta**, приехавшего из Флоренции управлять городом при новом режиме. И он явно считал, что по сравнению с таким важным «приемом», мы, чужаки, тут ни для кого не представляем интереса.

День был серый, холодный, ветер дул во всех темных закоулках сурового средневекового города с узкими улочками, толпы маленьких крепких мужчин и псевдоэлегантных женщин в черном ходили и толкались по улицам, кругом слышались сдавленные смешки, колкости, угрозы — неперенные спутники публичного мероприятия, особенно политического, в большинстве провинциальных центров Италии. Такое впечатление, будто люди — строители и горстка крестьян — не поняли, чью сторону принять, а потому были готовы уничтожить любого противника. Эти качества — подспудная неуверенность в себе, тревога — самые примечательные черты итальянской души. Кажется, что люди никогда не бывают искренними, потому что они ничему и никому не доверяют. А эта неспособность верить — причина безумств и сумасбродства в политике. Они себе-то не доверяют, как же они поверят «лидеру» или «партии»?

Вольтерра, мрачный и холодный город, одиноко стоящий высоко в горах, с этрусских времен с особой ревностью относился к своей независимости. Особенно острыми были столкновения с флорентийской знатью. Так что, какие чувства терзал и горожан по отношению к этому новому, хотя и старому, тирану, *podesta*, в честь которого устраивали сегодня вечером банкет, они и сами, верно, не могли сказать. Впрочем, круглолицые девушки встречали гостей «римским» приветствием исключительно ради эпатажа, но ко мне это не имело никакого отношения, поэтому я им не ответил. Политика, какая бы она ни была, — проклятие. Но в этрусском городе, который так долго не сдавался Риму, по-моему, римское приветствие вещь крайне неуместная, а римский *imperiūm** просто неприемлем здесь.

Забавно видеть на стенах написанные мелом слова «Morte a Lenin!»**, хотя бедняга давно уже умер, так что даже в Вольтерре должны были бы об этом знать. Но еще забавнее лозунг-легенда, который постоянно выводят на стенах: «Mussolini ha sempre ragione!»*. Кто-то родится непогрешимым, кто-то становится таковым, а кто-то обрушивает свою непогрешимость на других.

Лично я никогда не притронусь к пирогу политики, даже мизинцем. Уверен, что каждая страна в послевоенный период сделала все, чтобы ее народ сам мог выбирать себе руководителей, без посягательств и советов чужаков. Пусть правят те, кто способен управлять.

Мы брели, немного подавленные, поглядывая на каменные дома средневекового города. Может, в теплый солнечный день здесь приятнее, когда тень манит к себе, а легкий ветерок желанен? Но холодным, пасмурным, ветреным апрельским воскресеньем тут совсем скверно — на улицах полно скучающих, беспокойных людей, а каменные дома кажутся особенно мрачными, суровыми и отчужденными, так что веселого мало. Мне не доставляет радости промозглая, открытая всем ветрам, средневековая площадь, мне безразлично, что на Palazzo Pubblico** висят разные интересные гербы, и в душе моей не вызывают отклика ни собор, хотя он очень красив, ни слабое пламя свечей, ни запах воскресного ладана; мне не нравится деревянная скульптура «Снятие Иисуса с креста», и барельефы мне безразличны. Словом, мне трудно угодить.

Современный город не очень большой. Мы спустились вниз по улице, вымощенной камнем, вышли из Porta dell' Arco***, знаменитых старых этрусских ворот. Это глубокие старинные ворота, образующие почти туннель, с внешней аркой, выходящей на пустырь, они построены на склоне горы под углом к дороге, пролежавшей здесь раньше, чтобы застать врага врасплох, напасть

на него справа, ибо с этой стороны он не защищен щитом. Красивая круглая арка вздымается вверх довольно высоко, в ней ощущается весомая сила античной постройки, на арке — три темные головы, и хотя черты лица стерлись, в них все еще можно угадать любопытство и настороженность, с которыми они всматриваются в крутой обрыв и в дальние поля: одна голова — с замкового камня арки, две другие — с опорных колонн.

Странные старые этрусские головы на городских воротах кажутся живыми, хотя черт лица уже не разобрать. Дукати пишет, что это головы убитых врагов, повешенных на городских воротах. Но ведь они не висят. Они смотрят вдаль с живостью и интересом. Чепуха, это не головы мертвецов. Это какие-то городские божества.

Археологи утверждают, что сохранились только вход во внешнюю арку и внутренние стены, — они этрусские. Римляне реставрировали арку и поставили головы туда, где они всегда стояли. (Как это непохоже на римлян — ставить что-нибудь на место!) А стена над аркой средневековой постройки.

Мы называем арку все-таки этрусской. Основание ворот и темные головы не дают нам забыть об этрусках. Головы по-прежнему несут дозор.

Через дорогу перед аркой крутой склон. Дорога идет на восток, тянется под стенами современного города, высоко над всем остальным миром, а вдоль нее, как обычно бывает за воротами, свалены огромные кучи мусора, извести, кучи белой пыли от извести, словом, городская свалка.

От стены бежит тропинка и ныряет вниз у подножия холма. Направо — башня церкви Сайта Кьяра, она стоит на небольшой платформе, потому что склон холма очень неровный. Мы идем туда. Ныряем вниз к церкви, идем дальше, а под нами чужой мир Данте. Здесь тропинка бежит вдоль развалин этрусской стены. Направо небольшие оливковые рощи и поле пшеницы. А дальше унылые коньки крыш современной Вольтерры. Мы идем мимо редких цветов, и густого плюща, и зарослей ежевики, и майорана, здесь раньше тоже была стена этрусков, далеко от теперешней городской стены. Налево — крутой, неровный, трудный спуск.

Высокая плоская вершина, или плато, на которой стояла этруская Вольтерра, Велатри, Влатри, — вся в зубриках и валунах, между ними в расселинах долины, — смутно виднеется на две-три мили вокруг. Она напоминает ладонь руки, которая рассечена кривой линией, идущей на восток и на юг, к морю, а неровные полуострова пальцев тянутся внутрь материка. И великая этруская стена окружает ее с юга и востока, бежит по кромке обрывов и утесов, поворачивает к северу и пересекает большой палец, или полуостров, потом взбирается на холм, опускается в долину, перебирается через остальные пальцы, ныряет вниз, — адский путь, ограниченный гребнем больших гор. Современный город занимает самую высокую часть этрусского города.

Когда вы добираетесь вниз, то понимаете, что в стенах ничего особенного нет. От них остались руины, огромные фрагменты скорее крепостного вала, чем стены, построенного из квадратного камня, не скрепленного цементом, мрачного, невзрачного камня. Почему-то испытываешь уныние, глядя на него. Зато приятно смотреть на молодых влюбленных, идущих прочь от города по гребню развалин, поросших оливами. Они, по крайней мере, живые, веселые и проворные.

Дорога от Сайта Кьяра привела нас к мрачной, унылой небольшой деревеньке Сан-Джусто, где улочка, проходящая по грязному открытому пустырю, упиралась в церковь Сан Джусто, напоминающую огромный уродливый сарай. Она была высоченной, верно, внутри весьма впечатляющая. Ничуть! Там ничто не радует глаз. Архитекторы были просто бездарные, хотя и построили такую громадину. Вокруг бегали, кричали в азарте ребятишки. Воскресный вечер, скоро закат, холодно.

За памятником христианской бездарности снова этруская стена, очевидно, раньше здесь находились ворота — проем в стене и русло старой дороги, ведшей к воротам.

Мы сели на камни и стали вглядываться в загадочные зияющие проемы, напоминающие огромные карьеры. Ласточки, повернувшись к нам голубыми спинками, летели от старых утесов над головокружительной пропастью в желтом свете вечера, уносились в сторону порывами ветра, словно потерянные сколки жизни; смотреть на них, скользящих над этими чудовищными пропастями, было в самом деле страшно. Внизу земля была темно-зеленой, пепельного оттенка, местами сырой, зрелище казалось непривычным, словно перед нами лежал огромный карьер, сползающий куда-то вниз.

Это место называется — Le Balze, обрыв. Видно, воды, падающие с вершин Вольтерры, частично собирались под холмом и вымывали в каких-то местах нижний слой породы, поэтому земля там проваливалась. По другую сторону обрыва, вдаль от города, стоит большое красивое одинокое здание, Badia, монастырь Камальдолеси, печальный, обреченный на смерть — в конце концов его поглотит Le Balze, старые стены уже пошли трещинами и осели.

Время от времени по пути назад мы подходили к краю стены и смотрели на безмерное золотое сияние заходящего солнца, зрелище поразительной красоты: глубокие овраги тонут в темноте, за ними — молчаливая, золотисто-зеленая долина и холмы, залитые солнцем, все это переходит в чистейшее золотое сияние раскинувшегося вдаль моря, на котором какая-то тень, наверное остров, трепещет, словно пятнышко жизни. И великаны-стражи, горы Каррары, вздымаются в небо, в чистом солнечном свете они кажутся обнаженными, и проступают зловещие хребты, кажется, что они наступают на нас, а весь необозримый простор на западе шумит в золотой дымке, будто настал последний час, боги вот-вот проглотят нас, и мы сольемся в единое, желтое, преобразившееся существо.

Но ничего не происходит. Мы отворачиваемся, немного испуганные, от нестерпимого сияния золота и видим, как по темным тесным улицам идет городской оркестр, что-то наигрывая, как обычно не попадая в такт, и к площади стекаются толпы, в которых выделяются девушки в белом. Как и оркестр, люди не попадают в такт, шумят, отпуская злые шутки, на которые тут же кто-то отвечает. Но они собираются вместе, чтобы процессией пройти по городу.

Мы пришли на площадь перед гостиницей и посмотрели на пустынные просторы, лежащие на западе. Красное марево заходящего солнца, чистое и яростное, горело над далеким, лежавшим где-то внизу морем, а пустынная даль уже погрузилась во тьму. Над миром разлилось красное сияние. Но городок с узкими улочками и электрическим светом был непроницаем.

Банкет, очевидно, начнется не раньше девяти вечера, стоит шум, все галдят. Мы с Б. пообедали в начале восьмого, словно две сиротки, о которых официанты удосуживались вспоминать лишь во время коротких передышек. Они дрожали от ужаса, извлекая сотни рюмок, бокалов, графинов из большого шкафа, занимавшего всю заднюю часть столовой, и унося груды сверкающих рюмок в банкетный зал, а тем временем молодые люди, не занятые в тот вечер на работе, заглядывали в зал — в черных шляпах, перекинув пальто через плечо, они смотрели с порога в комнату с таким жадным любопытством, словно ожидали увидеть воскресшего Лазаря, но не увидев его, удалялись в никуда, откуда пришли. Банкет это банкет, даже если его дают в честь самого дьявола, а может, *podesta* ангел света?! На улице было холодно и темно. Вдалеке слышались прерывистые звуки труб, словно в этот воскресный промозглый вечер оркестранты страдали одышкой. И мы пошли спать — ведь нас не пригласили на праздник. А потом далеко за полночь внезапно проснулись — нас разбудил резкий, оглушительный шум, может быть, аплодисменты, и громкий плач ребенка. Утро снова было серым и холодным, позади нас лежала замерзшая, заброшенная местность, с обрывами, ущельями, уходящая от нас куда-то вниз. Моря не было видно. Мы шли узкими холодными улицами, высокие, холодные, темные стены домов, казалось, сейчас сдвинутся вплотную; мы смотрели на мастерские, в которых рабочие в мрачном, отсутствующем состоянии, какое бывает в понедельник утром, мяти мягкий гипс, резали его, полировали.

Все знают шары Вольтерры — мрамор, как говорят сегодня, — просвечивающие шары, которые висят под электрическими лампочками, заменяя абажуры, в половине отелей по всему миру. Они просвечивают, почти как квасцы, и такие же мягкие в обработке. Гипс очищают, потом добавляют в него немного краски — розовой, голубой или желтой, и лепят из него никому не нужные вещи — раскрашенные гипсовые абажуры, шары на лампы, статуэтки, расписные и простые вазы, чаши с голубями или виноградными листьями по краю и с прочей ерундой. Торговля идет вроде бы бойко. Может быть, благодаря электрическому свету произошла вспышка интереса к «статуарным» предметам. Как бы то ни было, местный рабочий утратил любовь к бледной земле Вольтерры, теперь он превращает ее в ходовой товар. И увы, богиня скульптурных форм тоже покинула здешние края.

Мы хотели увидеть старые гипсовые кувшины, именно старые, а не новые. Пока мы шли по улице, мощенной камнем, начался дождь — холодный, как лед. Мы вошли в стеклянные двери музея, который только что открылся, там был жуткий холод, словно гипсовые изделия можно хранить исключительно при низкой температуре.

В музее было холодно, тихо, пусто, неудобно. Наконец появился заспанный старик в форме и испуганно поинтересовался, что нам нужно.

— Посмотреть музей!

— А! А! Ah si-si! — До него наконец дошло, что музей существует именно для того, чтобы смотреть его экспонаты. — Ah si, si, Signori!

Мы купили билеты и вошли. Это в самом деле очень хороший, даже приятный музей, но мы до того продрогли тем морозным апрельским утром под ледяным дождем, что мне показалось, что мы попали снова в гробницу. И все-таки очень скоро в залах, где стояли сотни маленьких саркофагов, сосудов с прахом, то есть урн, как их называют здесь, энергия старой жизни стала согревать нас.

«Урна» не очень красивое слово, потому что оно подразумевает, во всяком случае мне так кажется, вазу, амфору, круглый, красивой формы кувшин — наверное, по ассоциации с «Одой греческой вазе» Китса, в ней речь идет, безусловно, не об урне, а о кувшине для вина или «сосуде для чая», который подают на детских праздниках. Урны Вольтерры — хотя их использовали по назначению: хранили прах усопших — не круглые, это не кувшины, а маленькие гипсовые саркофаги. Такие делали именно в Вольтерре. Может, потому, что у жителей Вольтерры гипс был всегда под рукой.

Во всяком случае здесь их были сотни, они удивительно красивы и словно живые. Их невысоко ценили как «произведения искусства». Один из поздних авторов книг об этрусских предметах, Дукати, пишет: «Пусть они не очень интересны с эстетической точки зрения, но они чрезвычайно ценны мифологическими сценами и отражением представлений этрусков о загробной жизни».

Джордж Денниз тем не менее, хотя он тоже не видит особых высот «искусства» в этрусских предметах, говорит об урнах Вольтерры следующее: «Дыхание Природы на этрусских урнах, столь просто, но изящно выраженное, притягивает всех, — на эти звуки откликается сердце любого из нас, и я не завидую тому, кто, пройдя по залам этого музея, способен остаться равнодушным, у кого не навернется слеза».

Мы можем ощутить, как нынче и всегда

Дыхание природы освежает нам сердца.

Дыхание природы теперь уже не вызывает у вас слезы, по крайней мере такие же искренние, как прежде, но Денниз более эмоционально, чем Дукати, реагирует на то, что и по сей день живо. Трудно сказать, что теперь подразумевается под словом «искусство». Даже Денниз считает, что этруски никогда не достигали той чистой, сублимированной, совершенной красоты, какой достиг Флэксмен. Сегодня подобное суждение вызывает у нас смех — ведь речь идет об иллюстраторе «Гомера» Попа, стилизовавшем свой живописный почерк под древнегреческий! Но тот же самый принцип определяет понятие «искусства» по сей день. Искусство для нас некое отлично приготовленное блюдо — как тарелка спагетти. Колос зерна еще не произведение искусства. Подождите, подождите, пока его превратят в превосходные макароны.

Я лично получаю гораздо больше удовольствия от этих ящичков с прахом, чем от... я чуть было не сказал: «от парфенонских фриз». Эстетическое качество утомляет — то самое качество, которое доводит все до крайней точки кипения, в результате предмет принимает форму «переваренного» блюда. В образчике чистой греческой красоты присутствует этот эффект. Он слишком «хорошо приготовлен», «переварен» воображением художника.

Во времена Денниза разбитая греческая или стилизованная под греческую амфора стояла на рынке тысячи крон, если она относилась к какому-то определенному «периоду» и отвечала еще каким-то условиям. А урны из Вольтерры вряд ли что-нибудь стоили. И слава богу, иначе их разбросало бы по всему белу свету.

Они прекрасны, как открытая книга жизни, не устаешь любоваться ими, хотя их так много. Они согревают вас, вы чувствуете себя в гуще жизни.

В нижних залах, отведенных для ящичков с пеплом, хранятся урны с типично этрусскими мотивами: морские чудовища, моряки с рыбьими хвостами и крыльями, морские женщины тоже с рыбьими хвостами и крыльями, мужчины с ногами-змеями и крыльями, такие же женщины. На самом деле этруски, а вовсе не греки, дали этим существам крылья.

Если мы вспомним, что в Древнем мире центр мощи и силы находился в земных недрах и в морских глубинах, а солнце было лишь второстепенным,двигающимся по небосводу телом, если мы вспомним, что не только вулканы и землетрясения, но и змеи были символом живых сил земных недр, ибо змея олицетворяла животворящую энергию, бегущую от корней молодого побега и помогающую древу жизни вырасти и набрать силу, бегущую по ногам человека и вливающуюся в его сердце, в то время как рыба была символом морских глубин, колыбели света, то мы поймем, какое определяющее влияние эти символы оказали на воображение жителей Вольтерры. Они жили возле моря, в вулканических краях.

И силы земли, и силы моря забирают жизнь точно так же, как они ее даруют. Они не только плодотворны, но и губительны.

Кто-нибудь может сказать, что крылья водных божеств олицетворяют воспарение к солнцу, а изогнутые хвосты дельфинов — стремительные потоки. Но это лишь часть великой, всеобъемлющей идеи древних о приходе и уходе жизненных сил: прилив — в трепете листвы, в дрожании крыльев, отлив — в потоках воды, в волнах, в вечном ливне смерти.

Другие распространенные символические существа в Вольтерре — грифоны с большими клювами, которые несут в себе мощные страсти, раздирающие их на части; в то же самое время они — стражи сокровищ. В грифоне живет одновременно лев и орел, это символ неба и земли с пещерами. Он не позволяет вора украсть сокровище жизни, золото, — а под золотом мы можем понимать наше сознание. Он страж сокровища и одновременно мучитель человека, стоящего на пороге смерти.

Эти твари, твари стихий, уносят людей в загробную жизнь, по ту сторону границы, что разделяет стихии. Иногда подобная роль выпадает дельфину, или бегемоту, или морскому коньку, или кентавру.

Конь всегда был символом сильной, вольной жизни мужчины, иногда морской конек поднимается из волн океана, а иногда он обитает на земле в образе получеловека-полуконя. Таким же мы видим его в гробницах, когда страсти в человеке успокаиваются и погружаются на дно морское, а душа переселяется в водные глубины загробного мира; он принимает облик кентавра, иногда — женщины-кентавра, иногда льва, чтобы подчеркнуть его способность вызывать ужас, когда он отбирает душу и уносит ее далеко-далеко в иные пределы.

Очень бы хотелось узнать, есть ли какая-то связь между ящичком с пеплом и покойником, превратившимся в пепел. Когда морской бог с рыбьим хвостом заманивает человека в ловушку и уносит с собой, означает ли это, что тот тонет в море? А когда Медуза или крылатая змея ловит человека своими ногами-змеями, значит ли это, что человек падает на землю и находит там свою смерть — от удара, падения со скалы, укуса змеи? А когда крылатый кентавр уносит душу, значит ли это, что человек стал жертвой своих страстей?

Но еще интереснее, чем символические сцены, эпизоды из повседневной жизни — охота на кабана, военные игры в цирке, процессии, отъезд в крытых повозках, отплытие кораблей, атака на городские ворота, жертвоприношение, девушки с развернутыми свитками, словно они на уроке в школе, бесконечные сцены пиршеств, мужчины и женщины на праздничных ложах, рабы с музыкальными инструментами, дети. Очень много истинно нежных сцен прощания: покойник прощается со своей супругой, отправляясь в дальнейшее путешествие пешком, или в колеснице, или верхом на лошади, и вот уже перед нами только душа, духи смерти с молотами стоят рядом, готовясь нанести удар. Как сказал Деннис, «дыхание Природы освежает нам сердца». Я спросил милого старика, знает ли он что-нибудь об урнах. Ничего! Он ничего не знал. Он только что пришел сюда работать. Он тут никто. Так он выражал свой протест. Он был, как многие робкие, милые итальянцы, таким боязливым, что не решался даже взглянуть на урны, которые стерег. Но когда я ему рассказал, что, по моему мнению, означают некоторые сцены, он, как ребенок, стал слушать меня с восторгом, затаив дыхание. И снова я подумал, насколько в современных итальянцах больше от этрусков, чем от римлян — они эмоциональные, робкие, жаждут символов и чудес, способны восхищаться по незначительному поводу, дикие и напрочь лишены властолюбия, они от рождения не стремятся к власти и с годами не приобретают этого качества. Властолюбие для итальянца — вещь второстепенная, но эта черта, характерная для германских народов, повлияла на его судьбу, ибо германцы практически поглотили его.

Охота на кабана — любимое занятие итальянцев, самый главный вид спорта в Италии. И этруски должны были любить его, потому что в гробницах очень много сцен охоты на кабана. Трудно сказать, что именно кабан символизировал для них. Часто он находится в центре сцены, там, где должен быть покойник или бык, которого приносят в жертву. И часто на него нападают, но не мужчины, а крылатые юноши, духи. Вокруг него — деревья, на которые лезут псы, а над ним занесли топор с двумя лезвиями, и вепрь задрал вверх клыки в безумной ярости. Археологи говорят, что это Мелеагр и калидонский вепрь или же Геркулес и яростный зверь Эриманфа. Но это не все. Это символическая сцена — кажется, что на этот раз кабан сам стал жертвой, псы и враги гонятся за этим яростным диким зверем. Ибо он должен погибнуть, он, в отличие от львов и грифонов, не нападает на врага. Он, отец жизни, бежит по лесу, и ему суждено умереть. Еще говорят, что он символизирует зиму, ту ее пору, когда устраиваются поминальные пиршества. А на очень старых вазах часто рисовали льва и кабана, смотрящих друг на друга — ведь они противники.

Удивительно красивы сцены отъезда, путешествия в крытых повозках, запряженных двумя или более лошадьми, на облучке — возничий, рядом верхом на коне скачет друг, бегут собаки, а навстречу едут всадники. Под просмоленной парусиной верха повозки лежит мужчина или женщина, или целая семья, и очень медленно все движутся вперед по дороге. И на всех фресках, что я видел, карету везут лошади, а не волы. Безусловно, это путешествие души. Говорят, что это изображение похоронной процессии, урну с прахом везут на кладбище, чтобы положить в гробницу. Но память видит в картине гораздо больше. Так и представляешь себе кочевников в повозках, они кочуют с места на место, вспоминаешь буров и мормонов.

Говорят, что картины путешествия в крытых повозках можно увидеть только в Вольтерре, и нигде больше в Этрурии. Они производят ни с чем не сравнимое впечатление. В них какая-то особая атмосфера путешествия — перед вами люди, которые помнят свои поездки по суше и по морю. И ощущение какого-то необычного волнения, беспокойства, в отличие от уверенной в себе, танцующей южной Этрурии — это влияние готики.

На верхних этажах еще больше урн, но на них изображены уже греческие сюжеты, так называемые греческие. Елена и Диоскуры, Пелоп, Минотавр, Ясон, Медея, убегающая из Коринфа, Эдип, Сфинкс, Улисс, Сирены, Этеокл, Полифем, Кентавр, Лапифы, жертвоприношение Ифигении — они все здесь, и их легко узнать. Тут так много греческих сюжетов, что один археолог предположил, что эти урны сделаны греческим колонистом, жившим в Вольтерре после завоевания Этрурии римлянами.

Можно с таким же успехом сказать, что «Тимон Афинский» был написан греческим колонистом, осевшим в Англии после того, как католическая Церковь была здесь низвергнута. Эти «греческие» урны такие же греческие, как «Тимон Афинский». Греки сделали бы их куда «лучше».

«Греческих» сцен здесь несметное количество, но можно лишь догадываться, что именно на них изображено. Кто бы ни вырезал эти ящички, он мало знал о легендах, с которыми он имел дело, а легенды для этрусских ремесленников тех дней были тем же, что и для итальянских ремесленников наших дней. История использовалась просто как стержень, на который местный житель нанизывал плоды своей фантазии, так елизаветинцы использовали греческие мифы для своих стихотворений. Не исключено, что мастера-резчики по гипсу опирались в своей работе на какие-нибудь старые модели или воспоминания о них. Во всяком случае эти сцены не имеют никакого отношения к эллинам.

Гораздо более любопытны «классические» сюжеты — они такие неклассические! Мне они напоминают готику, которая для этрусков из Вольтерры была устремлена в будущее гораздо больше, чем в эллинистическое прошлое. Хотя, безусловно, все эти урны относятся к позднему периоду, после четвертого века до Рождества Христова. Христианские саркофаги пятого века после Рождества Христова больше похожи на урны Вольтерры, чем на современные романские гробы: словно христианство в Италии возникло из этрусской души, а не из греко-романской. И первые вспышки этого раннего радостного христианского искусства, свободное дыхание готики в классическом искусстве мы видим в этрусских сценах. Греческое и римское «переваренное» искусство привнесло резкие контуры, контрастные сочетания света и тени, предвосхитив позднюю готику, которая при этом подпитывалась мрачным мистицизмом Востока.

Совсем ранние урны Вольтерры представляли собой простые каменные или терракотовые изделия. Без сомнения, Вольтерра была построена раньше, чем там появились этруски, и не исключено, что она никогда не меняла своего облика и уклада коренным образом. В поздний период в Вольтерре стали сжигать покойников — практически нет саркофагов лукомонов. И находясь тут, понимаешь, что народ Вольтерры, или Велатри, не был восточным народом, не походил на обитателей Тарквинии, определивших ее облик. Безусловно, здесь осело другое племя, более дикое, грубое и менее подверженное античному Эгейскому влиянию. В Цере и Тарквинии местные жители попали под очень сильное влияние Востока. А здесь нет! Здесь по соседству жили дикие, неприрученные лигурийцы, может, они были им родней, и город ветра и камня сохранял и по сей день хранит свои северные черты.

Так что эти урны — открытая книга, которую любой может читать, опираясь на свою фантазию. Они не больше двух футов, поэтому фигура, изображенная на крышке, странная и тщедушная. Классические греческие или азиатские каноны не допустили бы подобного. Это само по себе признак варварской традиции. Северный дух оказался сильнее эллинского, или восточного, или средиземноморского инстинкта. Лукомон и его дама должны были стать

короче на своем посмертном портрете. А голова почти нормального, прижизненного размера. Тело совсем крохотное.

Вот он перед нами — портрет-изображение. Очень часто крышка не от того ящика, на котором она лежит. Предполагается, что крышку делали при жизни заказчика, пытаясь правдиво воспроизвести его облик, а ящик покупали отдельно, уже готовый. Может быть, и так. Может быть, в этрусские времена были мастерские по гипсу, как в наши дни, только там продавались урны с живыми, разнообразными сценами, которыми мы любуемся по сей день, и, может быть, вы сами могли выбрать урну с той сценой, которая вам больше по душе. Но более вероятно, что там были мастерские, урны с различными сценами тоже, но вы ничего не выбирали, потому что не знали, какой смертью вам суждено умереть. Может быть, на крышке вырезали ваше изображение, а остальное оставляли на волю здравствующих.

А потому не исключено, — и это наиболее вероятно, — что скорбящие родственники торопливо заказывали крышку с изображением новопреставленного, а потом подбирали к ней подходящий ящик. Случалось, крышка была от другой урны, в которой был чужой прах, так их потом и откапывали.

Но давайте верить, что фигура на крышке, гротескно уменьшенное изображение покойного, — попытка создать его портрет. В нем нет отличий, как у южно-этрусских фигур. Властный поворот головы, как у лукомона, здесь приобрел почти гротескный вид. Покойник на крышке может быть с украшениями, знаками его духовного сана, в руках может держать священную патеру или блюдо, символ свободы, но его никогда не изображали в ритуальной наготе до самого пупка, как это делали южные этруски, — на их фигурах рубаха натянута до шеи, а в руке покойник держит кубок с вином, а не патеру, в другой даже иногда держит кувшин с вином, словно он на веселой пирушке. В целом, особая «святость», глубоко укоренившийся символизм южных этрусков тут отсутствует. Религиозный дух уничтожен.

Особенно это видно на портретах женщин, а их тут очень много. Они богато одеты, но мистический дух в их облике отсутствует. Они держат в руках кубки с вином, или веера, или зеркала, или гранаты, или флакончики духов, или необычные небольшие книжки, наверно, восковые дощечки для записей. Иногда у них в руках даже старый символ секса и смерти — сосновая шишка. Но сила этого символа полностью утрачена. Готическая актуальность и идеализм уже начинают вытеснять глубинную физическую религию южных этрусков, подлинный античный мир.

В музее выставлены также кувшины и бронзовые изделия, патеры с полой древесной почкой в середине. Вы можете положить в патеру два средних пальца и так держать, чтобы сделать последний глоток жизни, первый глоток смерти — согласно этрусской традиции. Но вы не станете, как многие из запечатленных на урнах, держать символическое блюдо перевернутым, уперев два пальца в «mundus». Опущенный книзу факел символизирует уходящее в загробный мир пламя. Перевернутая патера — кощунство. Это означает, что жители Вольтерры, Велатри, очень плохо разбирались в древних таинствах.

Наконец ледяной дождь прекратился, на дворе музея было тихо, вышло солнце. Мы увидели все, что можно было увидеть за один день. И вышли, надеясь согреться под подобревшими к нам небесами.

Еще можно было попасть в две-три гробницы, в те, что возле Порта-а-Сельчи. Но убежден, что они не представляют никакого интереса, хотя я и не был там. Почти все гробницы, открытые в Вольтерре, были разграблены, а потом их снова засыпали, чтобы у крестьян не пропало ни пяди плодородной почвы. Там было много могильных курганов, но почти все сровняли с землей. А под некоторыми — круглые гробницы, построенные из неотесанного камня, — в южной Этрурии таких нет. Впрочем, Вольтерра вообще не похожа на южную Этрурию.

Одну гробницу целиком перенесли во двор Флорентийского музея — в ней хотя бы сохранилось ее содержимое. Ее заново восстановили точно такой же, какой она была обнаружена в Вольтерре в 1861 году, и, говорят, на прежние места поставили все урны. Ее назвали Гробницей Ингирами, в честь известного археолога, работавшего в Вольтерре.

Несколько шагов вниз — и вы в круглой камере, ее поддерживает квадратная колонна, очевидно, ее вырубили прямо в скале. На низком каменном ложе, которое по кругу идет вдоль стен гробницы, стоят урны в два ряда — великий круг, окаймляющий тень.

Гробница принадлежала одной семье, там около шестидесяти гипсовых урн, на которых уже хорошо известные нам сцены. И если эта гробница восстановлена точно такой, какой она была в оригинале, и если, как нам сказали, урны в ней расставлены против часовой стрелки, — от самой ранней до самой поздней, — то перед посетителем предстают урны Вольтерры в своей эволюции на протяжении века или двух.

Но посетитель мучается сомнениями и недоверием. Почему, почему гробницу не оставили нетронутой там, где нашли? Парк Флорентийского музея преподает весьма наглядные уроки по поводу этрусков. Но кому нужны эти бесстрастные уроки по истории исчезнувших народов?! Человеку нужен момент приобщения. Этрусски ведь не теория и не тезис. Если они представляют собой какую-то ценность, то ценность эта в опыте.

А опыт всегда искажают. Музеи, музеи, музеи, равнодушные уроки, на которых комментируются необоснованные теории археологов, безумные попытки систематизировать и разместить в строго определенном порядке то, что никогда не поддавалось упорядочению и никогда нельзя систематизировать! Это чудовищно! Почему надо систематизировать любые опыты? Почему даже исчезнувших этрусков надо загнать в некую систему? Никогда это никому не удастся. Вы просто все смешаете в кучу, у вас не получится картина этрусков, римлян, италийцев, или хеттов, или еще кого-нибудь, у вас получится упорядоченная вами странная смесь. Почему нельзя оставить несовместимые вещи в покое? Вы можете сделать омлет из куриных яиц, яиц страуса или ржанки, но вы не сможете сделать нечто единое, объединить в одно целое курицу, ржанку и страуса, в нечто, что вы назовете «яйцерождением». Получите просто бесформенный предмет. Омлет.

Так и здесь. Если вы попытаетесь создать мешанину из Черветери и Тарквинии, Вульчи, Ветулонии, Вольтерры, Чизи, Вейи, вы получите в результате не этрусков, а лишь варево, не имеющее никакого жизненно важного смысла. Музей не заменит непосредственного контакта, это лишь лекция с примерами. А человек стремится к живому контакту. Не надо меня «инструктировать», и многие не хотят этого.

Они могут перенести в музеи еще уйму «бездомных» экспонатов, а те, что лежат на своих местах, оставить в покое — к примеру, в Гробнице Ингирами в Вольтерре.

Но бесполезно. Мы поднялись по холму, вышли к Флорентийским воротам, укрылись под стенами огромного средневекового замка, в котором теперь находится государственная тюрьма. Там, под массивными стенами, — прогулочная дорога, клочок солнца, заслон от свирепого ветра. Даже сейчас там гуляют несколько горожан. А внизу раскинулась пустынная зеленая долина — кое-где вздымающаяся волнами, кое-где острыми вершинами, она похожа на покрытое рябью море, если смотреть на него с палубы высокого корабля. Здесь, в Вольтерре, мы парим надо всем миром.

А позади нас в крепости — узники. Один человек, теперь уже старик, написал в этой тюрьме оперу. Он очень любил играть на рояле, тридцать лет кряду жена бранила его, когда он садился за рояль. Так что однажды он без лишних слов убил ее. Ворчанье, длившееся тридцать лет, прекратилось, его посадили в тюрьму на тридцать лет и не разрешают играть на рояле. Как странно...

Там еще было два узника, которым удалось сбежать. Они лепили потрясающе похожие на себя фигуры из огромных ломтей хлеба, которым кормили в тюрьме, лепили молча и втайне от всех. Они вылепили точные копии себя — с волосами и всем прочим. Положили их на нары, так, чтобы, когда дежурный осветит их фонарем, он мог бы подумать: «А эти черти дрыхнут».

Они осуществили задуманное и выбрались на свободу. Начальника тюрьмы, который так любил свою обитель негодяев, прогнали с должности. Выкинули в два счета. Странно. Его должны были бы наградить за то, что он воспитал таких замечательных подопечных — скульпторов, работавших с хлебом.

Утро в Мексике

1. Корасмин и попугаи

Говорят — Мексика, а, в сущности, имеют в виду городок на юге республики, в нем — покосившийся домик из необожженного кирпича, садик-ratio, заключенный между стенами домика, на большой затененной веранде, смотрящей на деревья, — стол из оникса, три кресла-качалки и небольшой деревянный стул, а еще — ваза с гвоздикой и человек с авторучкой в руке. Мы торжественно возвещаем: «Утро в Мексике», начертав эти слова прописными буквами. А всего-то человек, поглядев на клочок неба, проступающего сквозь листву, опускает глаза и принимается писать.

Обидно, что мы редко об этом помним. Когда в свет выходят книги с громкими названиями, вроде «Будущее Америки» или «Положение в Европе», обидно, что в нашем воображении тотчас же не возникает худой или плотный человек, на стуле или в постели, диктующий что-то стенографистке с короткой стрижкой или сам делающий какие-то пометки авторучкой.

И все-таки — утро, Мексика. Светит солнце. Зима, но здесь оно и зимой постоянно светит. Приятно сидеть на открытом воздухе и писать, погода в меру прохладная и в меру теплая. На следующей неделе Рождество, так что все должно быть хорошо.

Легкий запах гвоздики — ваза стоит совсем рядом. Смолистый запах дерева, запах кофе, листьев, утра, даже запах Мексики. Ведь, что ни говори, у Мексики свой слабый, но осязаемый аромат, — как и у каждого человека. И этот аромат — удивительный, невыразимый, впитавший запах смолы, и пота, и выжженной солнцем земли, а к тому же еще мочи.

Петухи продолжают кричать. Лениво пытит маленькая мельница, на которой местные жители мелют зерно. На дороге, ведущей к дому, о чем-то судачат женщины, поэтому два ручных попугая, пристроившись на ветвях, начинают вторить им свистом.

Попугаи, даже если я их не слушаю, действуют на меня завораживающе. В груди начинает клочкотать смех, диафрагма вибрирует сама собой. Это парочка обыкновенных зеленых птичек, с голубыми и красными пятнышками, с круглыми глазками, полными разочарования, с тяжелыми, свисающими вниз клювами. Но они внимательно ко всем прислушиваются. И все повторяют. Они сейчас передразнивают Розалино, который насвистывает, подметая ratio метлой из прутьев. Когда кто-нибудь из нас поблизости, он свистит не так громко, поэтому сейчас все озираются, ища его взглядом. А заметив его черную голову, склонившуюся над метлой, дружно хохочут.

Попугаи свистят точь-в-точь как Розалино, только немного более отчетливо. И это «немного-более-отчетливо» потрясающе смешно. Они передразнивают Розалино, и хотя свистят «немного-более-отчетливо», их печальные головки на шейках с отвисшим зобом совершенно неподвижны, а в безжизненных глазах застыло разочарование. Розалино, подметая patio метлой из прутьев, сгребая в мелкие кучки шуршащие листья, постепенно исчезает в облаке пыли, поднятым им самим. Он не возмущается. Он бессилён в этой ситуации. Утро прорезает дикий, переливчатый индейский свист, мощный, заряженный нечеловеческой энергией, придающей ему такую силу. И всегда, всегда чуть более реальный, чем сама реальность.

Потом попугаи вдруг начинают увлеченно болтать, вероятно, они поднимают свои неуклюжие лапки, может, висят на ветках, ухватившись клювиком за нижнюю, вцепившись холодными негнушимися когтями в ту, что повыше, — словно лохматые красновато-зеленые бутоны, тянущиеся к солнцу. И внезапно раздаются их пронзительные, демонические, издевательские голоса:

— Perro! Perro! Perro! O, Perro!

Это они передразнивают кого-то, кто кличет собаку. Perro — по-испански означает «собака». Но не укладывается в голове, что кто-нибудь мог звать собаку таким голосом, полным почтительного, вежливо-ядовитого сарказма. Снова диафрагма начинает дрожать от приступов смеха. И думаешь: «Неужели? Неужели мы так бесконечно, так ab ovo* смешны?»

Более того, это очевидно. И мы прячем лицо от смущения.

Теперь попугаи лают по-собачьи — точь-в-точь как Корасмин. Корасмин — маленький, толстенький, лохматый белый песик, только что он грелся на солнышке, а теперь перебрался на веранду в тени, шел медленно, понуро, а потом лег у стены возле моего стула.

— Ав-ав-ав! Вуф! Вуф! А-а-ав! — заливаются лаем попугаи, точь-в-точь как Корасмин, когда какой-нибудь незнакомец приходит в zaguan**, только «немного-более-отчетливо».

Я с усмешкой смотрю на Корасмина. А Корасмин смотрит на меня своими желтыми глазами с молчаливой, смущенной покорностью и легкой тенью упрека. У него маленький белый носик, под глазами — темные отметины, как у существа, много повидавшего на своем веку. Весь день он только и делает, что прячется от солнца, когда оно начинает палить, и уходит из тени, когда там становится слишком прохладно. И без всякого результата покусывает блох.

Старый, бедный Корасмин, ему всего лишь шесть лет, но он сдал, безнадежно сдал. Хотя не выглядит жалким. Он не покорился своей участи. Хоть он и растянулся на земле, его дух высок.

— Perro! O, Perro! Per-ro! Per-ro! — кричат попугаи с таким необъяснимым, пронзительным старческим злорадством, что кажется, даже деревья затыкают себе уши. Этот звук пронзает грудь, которая имела у нас испокон века, задолго до того, как придумали, что у нас есть еще и мозги. И Корасмин снова прячет острый маленький носик под хвостом, закрывая глаза, чтобы не видеть мою ухмылку, начинает дремать, а потом с остервенением принимается кусать себя там, где его заели блохи.

— Perro! Perro! — и покорный, затихающий лай. Дьявольское, раскатистое «г» злорадно вырывается из глубины жестоких исчезнувших веков. Следом — тихий лай маленькой лохматой собачки. Попугаи умеют лаять потрясающе тихо и безобидно, прямо как маленькая лохматая собачонка. А потом сопровождать свой лай звенящим, раскатистым испанским «г», рвущимся вверх по лестнице солнечных лучей и улетающим к звездам.

Корасмин медленно уходит с веранды, опустив голову, и перемещается на солнце. Нет! Он снова поднимается, из последних сил сохраняя контроль над собой, легонько скребет землю, чтобы удобнее устроиться. И снова плюхается вниз.

Invictus!* Непокоренный Корасмин! Грустный маленький белый лохматый маятник все медленнее раскачивается между тенью и солнцем.

В когтях судьбы-злодейки
Не плачу я и не рыдаю,
Пусть кровью весь я истекаю,
Но головы пред нею не склоняю.

Эти высокопарные слова — слишком несправедливая насмешка над Корасмином. Ясные желтые глаза бедняги старика Корасмина! Он остается хозяином положения, не поддаваясь насмешкам, которыми попугаи осыпают его. Он не собирается пыжиться, жалея самого себя. Это удел следующего этапа эволюции.

Я жду того дня, когда попугаи начнут обстреливать нас английскими фразами, целясь прямоком в пупок. Они, подняв головы, уже прислушиваются к нашей болтовне. Но пока что они не усвоили нашу речь. Она озадачивает их. Кастильское наречие, язык Корасмина и Розалино им доступнее.

Я-то лично не верю в эволюцию, которая, словно длиннющая леска, тянет на своем крючке Первопричину по бурному потоку времени. Я предпочитаю верить в то, что ацтеки называют Солнцами, то есть в то, что разные миры были сначала один за другим сотворены, а потом уничтожены. Солнце бьет дрожь, и миры угасают как свечи, когда кто-то рядом с ними начинает кашлять. Потом мистическим образом Солнце снова бьет дрожь, и тогда возникают и мерцают новые миры.

Такое объяснение больше подходит моему воображению, чем долгая, утомительная, извивающаяся леска Времени и Эволюции, которая держит на крючке Первопричину. Мне больше нравится представлять себе зрелище целиком: бах! — и ничего, кроме хаоса, и все разлетается в клочья. А потом из тьмы восстают крошечные новые огоньки, неведомо откуда, неведомо как.

Мне по душе идея, что мир словно выстрелил, потому что ящеры выросли до необъятных размеров и надо было их прикончить парой снарядов. Потом маленькие щебечущие птички засверкали в темноте, и из темных недр выпорхнул сонм птиц: фламинго, будто занимающаяся заря, встали на одной ноге, в полдень закричали попугаи, готовые вот-вот заговорить, потом павлины раскрыли хвосты, словно ночь — свое звездное опахало. Но кроме этих маленьких чистых птах появилось множество огромных, с голыми шеями монстров, они были крупнее крокодилов и стали пробираться сквозь мхи, пока не пробил час остановить их. Тогда кто-то таинственным образом дотронулся до кнопки, Солнце взорвалось, и осколки птиц полетели врассыпную. А яйца попугаев, павлинов и фламинго были спрятаны в безопасном месте, и вот на следующий День, когда пробудились все твари, из этих яиц проклюнулся новый выводок.

Слон затрубил, сбрасывая со спины лепешку грязи. Птицы наблюдали за ним в полнейшем оцепенении. Что это? Что это за старик-пришелец такой — без крыльев и без клюва?!

Не к добру это, птицы! Лохматый маленький белый Корасмин с лаем выскочил из кустов, теперь это были новые кусты, а попугаи испугались и улетели в свои самые старые укромные места. Потом впервые послышалось ужасающее ржание дикой лошади в сумерках и рев львов в ночи.

А птицы погрустнели. «Что это?» — спрашивали они. Оглушающий шум новых звуков. Вселенная новых голосов.

Потом птицы, притаившиеся в листве, свесив вниз головы, просто онемели.

— Не стоит нам петь, — сказали они. — Ведь нас изгнали.

Огромные, страшные, полуголые птицы-чудища погибли, разбившись вдребезги. И лишь маленькие птички, одетые в перья, снова появились на белый свет. Это служило утешением. Жаворонки и прочие певчие птички повеселели и начали тихонько щебетать, перелетев из страны старого Солнца, приветствуя новое Солнце. Но павлин, индюк, ворон и прежде всего попугай не смогли смириться со случившимся. Потому что в прежние времена Солнца Птиц они были главными. И попугай был вожаком стаи. Ведь он такой умник!

А теперь его загнали на дерево. Он не смел спуститься вниз — там ковылял старый маленький лохматый Корасмин, бродили ему подобные. Этот бескрылый, бесклювый, без перьев уродец Корасмин захватил землю и теперь разгуливал повсюду, а Его Сиятельство, старый Граф с массивным клювом, должен был прятаться на дереве — у него все отобрали.

И, подобно черни, сбившейся на галерке в театре, он начал свистеть и шикать сверху, из райских куц исчезнувшего Солнца.

— Ав-ав! — твякнул его новый властелин, маленький Корасмин.

— Господи! — вскричал попугай. — Послушайте его! Он твякает «Ав-ав!» О Солнце Птиц, послушай его! «Ав-ав!» Perro! Perro! O, Per-ro-o-o!

Попугай нашел выход. Старый Граф с твердым клювом, с массивным клювом, он ни за что не уступит и не запоет новую песенку, подобно этим глупым коричневым дроздам и соловьям. Пусть они верещат и заливаются трелями. Попугай — джентльмен, он воспитан в старых традициях. Он будет издеваться над всеми! Как истинный, старый, хотя и лишившийся власти аристократ!

— Perro! O, Perro-g-o!

Ацтеки говорят, что всего было четыре Солнца, а наше — пятое. Первое Солнце исчезло: тигр или ягуар — чудовище с темными пятнами, воплощение ярости, возникший ниоткуда, поглотило Солнце вместе с огромными, теперь уже, к счастью, преданными забвению, насекомыми. Второе Солнце появилось в порывах ветра, это произошло, когда погибали огромные ящеры. Третье Солнце возникло во время Потопа и утопило многих животных, тех, кого сочло нужным утопить, а заодно свело к нулю первые достижения доисторического человека.

Из Потопа восстали наше Солнце и немощный нагой человек.

— Привет! — сказал старый слон. — Что за шум? — и поднял уши, прислушиваясь к новым звукам земли. К звукам человека и его словам — в первый раз в жизни. А потом, поджав хвост, слон умчался в глубину джунглей и затаился там, опустив хобот.

Но маленький белый лохматый Корасмин был в восторге.

— Ко мне! Perro! Perro! — скомандовал нагой двуногий.

И охваченный восторгом Корасмин сказал сам себе: «Перед этим именем невозможно устоять. Я должен идти!» — и подскочил к ногам нагого. А потом подошла лошадь, потом слон, замороженные тем, что им тоже дали имена. Другие звери в страхе разбежались кто куда, им предстояло бороться за свою жизнь в одиночку.

Тем временем в сумерках Змей, самый старый царь всех живых существ, лишившийся трона, в очередной раз укусив себя за хвост, сказал сам себе: «Еще один пожаловал! Несть конца этим самозванцам — повелителям земли! Но я-то укушу его в пятку! Туда ему и дорога, следом за яйцами попугая, которые я проглотил, и щенками Корасмина, которых я тоже сцапал».

А попугай, притаившись в кустах, сказал сам себе: «Ого! Это что еще за новая полуптица?! Гляди-ка, Корасмин вертится у него под ногами! Небось, новый властелин. Надо послушать, что он там говорит, глядишь, я смогу его перехитрить».

— Perro! Per-ro! O, Perro!

И попугай перехитрил его.

Обезьянка, самая умная из всех тварей, взорвалась от ярости, услышав человеческую речь.

— А почему же я не умею? — запричитала она.

Но что поделаешь — она принадлежала Старому Солнцу. Тогда она присела и перескочила через невидимый поток времени, попав в «другое измерение», о котором умники любят потрещаться, называя его «четвертым измерением», будто его можно измерить линейкой, равно как и три другие.

Если вы задумаетесь над этим, наблюдая за обезьянкой, вы как раз увидите в ней воплощение другого измерения. Длина, ширина и высота у нее обыкновенные, и она находится в том же Пространстве и в том же Времени, что и вы. Но все равно она из иного измерения. И сама она иная. Вас с обезьяной не соединяет одна эволюционная цепочка, подобная леске. Нет! Между нею и вами — катаклизм и иное измерение. И это плохо. Вы не сможете соединиться с ней. Никогда не сможете. Иное измерение.

Она смеется над вами, издевается, передразнивает вас. Порой она даже больше похожа на вас, чем вы сами. Это забавно, и вы посмеиваетесь, глядя на свою копию. Но это же иное измерение.

Она — в одном Солнце, а вы в другом. Она машет своим хвостом в один день, а вы вертите головой — в другой. Она смеется над вами и боится вас. Вы смеетесь над ней и боитесь ее.

— Какие длина и ширина, высота и глубина разделяют тебя и меня? — спрашивает обезьянка.

Вы достаете линейку, а она начинает издеваться над вами.

— Тут иное измерение. Убирай свою линейку, она не поможет.

— Perro! O, Per-ro! — кричит попугай.

Корасмин смотрит на меня, словно хочет сказать: «Это иное измерение. Ничего не поделаешь. Надо смириться».

А я заглядываю в его желтые глаза и говорю:

— Ты абсолютно прав, Корасмин, это иное измерение. Мы с тобой понимаем это. Но попугай не хочет понимать, и обезьянка не хочет, и крокодил, и ухвертка. Они боятся и мечутся в своей клетке другого измерения и ненавидят ее. Кто может кричать — кричит, у кого есть пасть — кусается, а у насекомых ведь даже пасти нет, так они поднимают хвост и машут им, или жалят вас. Словом, ведут себя по законам своего измерения, я считаю, что такое их поведение именно этим и объясняется — иным измерением.

Корасмин повилял легонько хвостом и посмотрел на меня с неподдельной мудростью. Мы с ним понимаем друг друга, потому что мы обязаны своей мудростью иному измерению.

Но у попугая с плоскими и круглыми, как блюдца, глазами, нет мудрости иного измерения.

— O, Perro! Per-ro! Per-ro-ooo! Ав-ав-ав!

Розалино, индеец-тозо*, смотрит на меня глазами с темной поволокой. Мы не понимаем друг друга, он тоже не обладает мудростью, поэтому прячется и отказывается смириться с этим.

Между нами поток иного измерения, а он собирается преодолеть его с помощью линейки для измерения трехмерного пространства. Хотя знает, что это невозможно. И я знаю. И каждый из нас знает, что другой знает.

Но он умеет подражать мне, у него получается «немного-более-отчетливо». А попугай подражает ему. Ну а мне остается смеяться над самим собой в исполнении Розалино, над моим немного другим лицом, когда я ловлю его взгляд, направленный на попугая, когда тот передразнивает его. С улыбкой, со смехом мы платим дань иному измерению. Но Корасмин умнее нас. В его ясных желтых глазах светится полное понимание и приятие происходящего.

Ацтеки говорят, что мир, наше Солнце, когда-нибудь взорвется изнутри, потому что земные толчки погубят его. А что же тогда будет в новом измерении, после того как нам на смену придут другие?

2. Прогулка в Хуайапа

Психология воскресного дня — забавный феномен. Развлекающееся человечество, в сущности, скучное зрелище, а праздники куда более тоскливы, чем нудная, однообразная работа. Решено: по воскресеньям и во время fiestas* я остаюсь дома, в уединении patio с попугаями, и Корасмином, и спящими кофейными зернами. Не хочу видеть, как народ «веселится» — попытаюсь не видеть, правда, вряд ли мне это удастся.

И вот наступает воскресное утро, с необычным, расслабляющим солнечным светом. И даже если ты помалкиваешь, лучшая твоя половина говорит:

— Давай пойдем куда-нибудь.

Но — слава Тебе, Господи! — в Мексике по крайней мере нельзя сесть и «покатить на машине». Надо выбирать между тощей кобылкой, запряженной в тележку, ослом и тем, что вслед за детьми мы называем «своими двоими»: это пренебрежительное название наших ног.

Мы пойдем за город.

— Розалино, мы собираемся на прогулку в Сан-Фелипе-де-лас-Агуас. Хочешь с нами пойти? Поможешь нести корзинку?

— Come no, Senor?

Это неизменный ответ Розалино, как у попугая неизменное «Perro!». «Come no, Senor?» — «Почему нет, сеньор?»

Прошлой ночью дул Norte, северный ветер, гремя изъеденными червями оконными рамами.

— Розалино, боюсь, ты замерзнешь ночью.

— Come no, Senor?

— Дать тебе одеяло?

— Come no, Senor?

— Тебе под ним будет теплее.

— Come no, Senor?

Но утро великолепно, и мы не успеваем оглянуться, как оказываемся за городом. Почти все города в Мексике, за исключением столицы, заканчиваются неожиданно, резко. Словно они спустились с небес, как инопланетяне, на ковче-самолете, посреди дикой равнины. И мы, миновав

церковь и ограду монастыря, в котором сейчас казармы для солдат-новобранцев, мгновенно оказались под холмами.

«Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя...» По крайней мере один человек постоянно волен уповать на помощь в Мексике. Буквально один шаг — и город кончается. Перед нами простирается сияющая розовато-коричневая плоская равнина, дикая, взбудораженная солнечным светом. Слева, совсем близко, тянутся приземистые складчатые горы, они совсем низкие, их краски сливаются с красками саванны. Они утопают в зеленой дымке сосны, *osote* и, подобно женщине в *guaze gebozo**, кутаются в облако ярко-голубого цвета, в расселинах переходящего в васильково-синий. А на вершинах он переходит в темно-синий. Он словно великолепная ящерица с густо-синим гребешком вдоль хребта, бледным брюшком и мягкими розовато-желтыми когтями.

Между этими бледными когтями — темное пятно деревьев, белые отметины церкви с башнями-близнецами. Дальше, у подножия гор, виднеются группки деревьев, белый мазок *hacienda*** и зеленый-зеленый квадрат сахарного тростника. А еще дальше, в устье каньона, — густо-зеленый лоскут деревьев и два пятна гордо стоящей церквушки.

— Розалино, где тут Сан-Фелипе?

— *Quien sabe, Senor?**** — спрашивает Розалино, глядя на деревушки по ту стороны солнечной саванны своими темными, ничего не видящими глазами. В его голосе — неизменный отголосок равнодушия с налетом покорности, словно он хочет сказать: не следует человеку знать это, потому что индейцы не должны ничего знать, даже своего имени.

Розалино — мальчик с гор, индеец из деревни, что находится в двух днях ходьбы отсюда. Он прожил уже два года в городе и научился немного говорить по-испански.

— Ты никогда не был ни в одной из этих деревень?

— Нет, сеньор, никогда.

— А хотел?

— *Come no, Senor?*

Американцы назвали бы его болваном. Мы решили дойти до дальнего пятна, там деревня прячется в темном лоскуте леса. Она кажется такой таинственной, такой уединенной, приютившейся на розовато-желтом склоне, и напоминает темно-зеленый платок с несколькими крошечными белыми домиками, сброшенный с небес туда, к подножию гор, а заслоняет ее тенистая роща на склоне каньона, спускающегося позади нее. Такой одинокий лоскуток, такой изолированный от всего мира.

В Мексике, как нигде, человек живет уединенно, не сливаясь с окружающим его миром, отрезанный от всего прочего. Даже когда вы, пройдя низину, попадете в большой город типа Гуадалаиары и увидите башни-близнецы кафедрального собора, одиноко торчащие в небе, словно две заблудившиеся птицы, сидящие рядом на вересковом поле, подняв свои белые головы и вглядываясь вдаль, ваше сердце неровно забьется при виде тщетности усилий человека и его одиночества. Никому не придет в голову построить собор с одной башней. Должно быть непременно две, чтобы они поддерживали друг друга в этом диком мире.

Еще раннее утро, солнце не слишком печет. Завтра самый короткий день в году. В долине — ни тени, лишь колючие ветки мескитовых кустов отбрасывают небольшие пятна. Внизу у тропки — тощая рощица, растущая на дерне, почва здесь каменистая, порой нам навстречу бредут ослики, а на одном из них едет молчаливая женщина в голубом чепце, за ними тянется дрожащая тень. Женщины везут свой небогатый урожай на базар. Почти не видно мужчин. Сегодня воскресенье.

Розалино, ковыляя за нами с корзиной, собравшись с духом, заговаривает с женщиной, которая едет верхом на осле.

— Эта дорога в Сан-Фелипе?

— Нет, не в Сан-Фелипе.

— А куда?

— В Хуайапа.

— А где же Сан-Фелипе?

— Вон там, — и она машет вправо.

Они говорили друг с другом почти неслышно, приглушенными голосами, это их обычная манера, потом женщина на осле и та, что шла пешком, повернули в сторону от Розалино с корзиной. Они все спешат от нас уйти, словно мы — страшные разбойники. Мы вынуждаем их быть начеку. Присутствие среди нас сеньоры лишь отчасти успокаивает их. Потому что сеньора в простой шляпке из голубовато-зеленой соломки, в белом полотняном платье с черными квадратами — для них форменное чудовище. «Пророк зловещий, птица ты или демон вещий?» — словно вопрошают женщины, глядя на нее своими темными глазами. По-моему, они склоняются к последнему.

Женщины смотрят на женщину, мужчины — на мужчину. И всегда с подозрительностью, вопросительным, удивленным взглядом — таким же, верно, Эдгар По смотрел на чудище-Ворона.

— Пророк зловещий, птица ты или демон вещий?

— Демон, если это вам больше нравится! — так и хочется сказать тоном, каким говорил Ворон свое «Никогда».

Десять часов. Солнце начинает палить нещадно. Ни клочка тени отсюда до Хуайапа. Голубизна в горах становится прозрачнее, и какая-то невнятная, неразличимая не-определенность бескрайнего света спускается на долину.

Дорога внезапно ныряет в небольшую расселину, а там течет ручей! Что тоже характерно для этой части Америки. Вода прячется от глаз. Даже самые крупные реки, даже самые мелкие ручейки. Смотришь в долину, залитую светом, и думаешь: «Воды нет! Воды нет! Ни капли!» Бредешь дальше, вдруг натыкаешься на трещину в земле и видишь маленький ручей, бегущий по мелкому руслу вдоль долины, там, на расстоянии в пол-ярда, растет зеленый мох, растут кусты, palo-blanco* в листве и в больших белых цветах, словно выкроенных из чистого белого мятого батиста. Или же можешь идти к реке, бегущей в тысяче футов от тебя, а тебе будет казаться, что она блестит под ногами. Но не в этой саванне. Здесь только ручей.

— Тень! — восклицает сеньора, спускаясь по крутому бережку.

— Mucho calor!* — говорит Розалино, снимает свою модную соломенную шляпу и идет с корзиной вниз.

Со склона на осликах едут две женщины. При виде людей-чудищ, сидящих на берегу, они тут же взбираются вверх.

— Adios!** — говорю я, и эхо отвечает мне.

— Adios! — робко говорит сеньора.

— Adios! — говорит немногословный Розалино в унисон нам.

— Adios! Adios! Adios! — говорят женщины сдавленными голосами, сворачивают в сторону и едут мимо нас с невозмутимыми лицами на послушных ослах, прядяющих ушами.

И вот они миновали нас, и Розалино смотрит на меня — смеюсь я или нет. Я усмехаюсь, он тоже громко ухмыляется, широко открывает рот, высовывает мягкий розовый язык, поглядывает в сторону своими темными глазами ящерицы, заливаясь farouche*** смехом.

Огромный ястреб, словно орел, с двумя белыми линиями по краям крыльев, опускается низко над нами — ищет змей. Слышен шелест его крыльев.

— Gabilan!**** — говорит Розалино.

— А как на местном?

— Psia! — согласные вырываются со взрывом и шипеньем.

— Верно, — говорит сеньора. — У них так крылья шелестят. Пся!

— Ага! — кивает Розалино, хотя в его темных глазах — непонимание.

Вниз по ручью два местных мальчугана, пастухи, купаются, зайдя по колено в воду, они брызгаются, прыгают, а их мокрые красно-коричневые тела блестят на солнце. Они очень смуглые, мокрые головы до того черны, что кажется, от них исходит голубоватый, магический, похожий на электрический, свет.

Стадо коров медленно продвигается сквозь кусты по направлению к ручью. Там, где тропинка упирается в ручей, огромный бык склонился к воде и пьет. За ним коровы, телята и молодой бычок. Все осторожно пьют из ручья, нежно касаясь носами воды. А потом молодой бычок, вскинув рога, останавливает свой пристальный, точно такой же, как у индейцев, удивленный и подозрительный взгляд на нас, сидящих на берегу.

Сеньора вскакивает, поднимается вверх по склону, стараясь не подать виду, что испугалась. Бычок медленно наклоняется и идет через ручей, точно снявшийся с якоря корабль. Один из купающихся мальчишек выскакивает на берег и быстро застегивает на темно-красной талии хлопчатые штаны. Индейцы очень сильные, даже этот мальчуган. Он короткими прыжками бежит вдоль ручья, что-то щелкает по-птичьи, его темные волосы отсвечивают синевой. Он наклоняется, берет камень, бежит наперерез быку и целится ему в бок. Слышится звук удара, бык-тяжеловес, искатель приключений, покорно разворачивается навстречу течению.

— Veserro!* — кричит птичьим, пронзительным голосом мальчишка, снова подбирает камень, чтобы бросить в быка.

Мы идем под палящим солнцем вверх по склону. Под деревьями белеет лента. Смахивает на реку, бегущую через плотину. Отсюда берут воду для города. Может, это водоем. Водная гладь! Как же было бы здорово, если бы здесь оказалась вода, и отсюда вытекал бы ручей! А дальше растут густые деревья Хуайапа.

— Что там такое белеет? Вода?

— El blanco? Si, aqua, Sen□ora, — отвечает этот олух. Не исключено, спроси его сеньора: «Это молоко?», он ответил бы точно тем же тоном: «Si, es leche, Sen□ora» — «Да, сеньора, молоко».

Изнывающие от жары, молчаливые, мы бредем под тяжестью солнечного света, надеясь избавиться от него, карабкаемся по острым камням к тенистым деревьям. А когда подходим поближе, пятно медленно превращается в разрушенную, побеленную известкой стену.

— Господи! — восклицает с досадой сеньора. — Это не вода, а стена!

— Si, Sen□ora. Es panteon. — (Местные называют кладбище пантеоном.) — Это кладбище, — произнес Розалино с убедительной, веселой уверенностью, ни на секунду не задумавшись. Но когда я рассмеялся, услышав эту нелепицу, он тоже расхохотался. Индейцы

смеются словно против воли, словно смех причиняет им боль, и они хотят от него поскорее отделаться.

Приближается полдень. Наконец мы добираемся до тенистой лужайки, на которой стоят лужицы после полива. К деревне вела неровная, узкая, заросшая травой дорога между голых стволов деревьев, усыпанных остроконечными алыми цветами, и кустов в крупных желтых цветах, едва державшихся на ножках.

Мы входим в Хуайапа. «I Galle de las Minas» — значилось на старенькой табличке. «I Galle de las Minas» — подтверждала новая, висевшая рядом. «1-я Рудничная улица». И на каждой улице было по две таблички — старая и новая: «1-я улица Магнолии». «4-я улица Энрикеса Гонзалеса». Замечательно!

Первая Рудничная улица представляла собой проход между плотным забором из живых кактусов-органов, пуансетий, поднявших кверху алые охапки цветов, и манговых деревьев, высоких и черных, с тяжело провисшими плетями незрелых плодов. Улица Магнолии оказалась каменистым руслом высохшего ручья, она возникла из ниоткуда и исчезала в никуда, меж кактусами и кустарником. Улица Васкеса тоже была раньше каменистым руслом ручья, он брал начало из зарослей высокого, непомерно высокого тростника.

Вокруг ни души. Сквозь изгородь видны плохо ухоженные сады, там растут деревья и бананы, на каждом участке в кустах прячется лачуга из черного самана, покрытая старой черепицей, иногда с пристройкой из веток, судя по всему, появившейся позже. Все скрыто, тайно, окутано тишиной. Меж молчаливыми деревьями манго — темнота, здесь царят настороженность и безразличие. Потом все-таки из-за большого ветвистого сука, загораживающего вход в куриный загончик, несмело залаяли дворняжки. Оказалось, улицу с гордым названием «5-я улица Независимости» переходил мужчина.

В местных деревеньках взгляд останавливается лишь на церквях, сами деревеньки безлики и неприметны. Гиблое место, окруженное живой изгородью из немого, отвратительного кактуса. Но испанцы посреди этих черных мазанок, конечно же, построили белую, с двумя близнецами-башнями церковь — большую, неприютную, от которой веет безысходностью, а там, где церковь — там plaza, площадь. А plaza — это zocalo*, центр местной жизни. И хотя колесо здесь не вертится, центр по-прежнему центр. Подобно старому Форуму.

Мы неуверенно брели по лабиринту улочек, которые представляют собой всего лишь проходы между рядами кактусов, пока не увидели улицу Reforma**, а в конце нее — большую церковь. Перед церковью — plaza, вымощенная булыжниками с проросшей меж ними травой, и две большие овальные каменные чаши, куда лилась вода. Церковь стояла довольно сиротливо, в какой-то напряженной беспомощности, она напоминала огромное белое существо в лохмотьях и была отдана на растерзание яростным муравьям.

На противоположной стороне plaza, что поднималась по склону холма, виднелось длинное низкое белое здание с навесом, под которым копошились низкорослые мужчины из pueblo*** в белой хлопчатой одежде и больших шляпах. Они что-то слушали, вокруг стояла тяжелая, тягостная, таинственная тишина. Они копошились, точно насекомые в белых одеждах. Розалино глянул на них и повернул в сторону. Даже мы заговорили тише, спрашивая, что происходит. Розалино отвечал sotto voce****, что они заняты asuntos*****. А что это такое? — допытывались мы. Маленькие человечки повернули к нам свои настороженные темные лица, прятавшиеся под полями больших шляп, — точно появились черные дыры. Чужаки в этой безлюдной деревне все равно что барабанная дробь на церковном дворе. Розалино что-то промямлил. Мы прошли по пустому двору в церковь.

Четверг — День Святой Девы Соледадской, церковь украшена цветами, полевыми желтыми цветами выстелили пол. Огромная, как из «Путешествия Гулливера», фреска изображает ангела, скачущего на Голиафе. Слева, ближе к алтарю, — статуя Христа в человеческий рост, может, чуть

меньше, — он сидит, склонившись, на маленьком столике, в женских панталонах с оборками, в короткой накидке пурпурного шелка, ниспадающей с Его спины, и словно тупо разглядывает свое голое колено, просвечивающее сквозь оборки панталон. Напротив него за колонной спряталась женщина, живая женщина, она что-то чинит или шьет.

Мы сидим молча, недвижно в церкви с белеными стенами, украшенными орнаментом ярко-голубого цвета, кое-где с позолотой. Высоко подняв голову, вошел босой индеец и встал на колени, тесно сдвинув ноги, выпрямив спину, одновременно жалкий и непреклонный. На нем хлопчатый пиджак и брюки — потрепанные и грязные, цвета высохшей земли, местами рваные, так что видна гладкая смуглая кожа бедра и спины. Он с минуту постоял на коленях, целиком отдавшись молитве, потом встал и, словно ребенок или дурачок, начал соскребать остатки воска с подсвечников. Он церковный служитель.

А на дворе под навесом продолжали копошиться человечки. Нам очень хотелось узнать, что происходит. Розалино, искоса поглядывая на них, набрался храбрости и пояснил — два человека за столом собирают голоса избирателей: за правительство, за государство, за губернатора, за кого-то там еще. Голоса! Голоса! Голоса! Комедия! А на стене низкого здания, на котором было написано слово *Justizia**, уже появились новые политические плакаты с объявлениями:

«Голосуешь “за” — поставь +».

«Голосуешь “против” — поставь -».

Друг мой, это тот самый случай, когда демократия выглядит просто смешно. Вы голосуете за один красный кружок внутри другого красного кружка — получаете Хулио Эчегарая. Голосуете за голубое пятнышко внутри голубого кружка — получаете Сократа Езекиля Тоса. Один Господь знает, что вы получите, если выберете два маленьких красных кружка, расположенных один над другим. Вот так: оо. А если и мы попытаем счастья? В мешке удачи уйма вариантов. Может, выскочит некто по имени Перегрино Зенон Кокотилла.

Независимость! Правительство, избранное Народом, народное правительство, правительство для народа! Мы все живем на *Galle de la Reforma* в Мексике.

В конце plaza магазин. Мы хотим купить фрукты.

— *Hay frutas?* Апельсины или бананы?

— Нет, сеньор.

— Нет фруктов?

— *No hay!*

— А чашка есть?

— *No hay!*

— *Ajicara*, кожура от тыквы, чтобы мы могли из нее попить?

— *No hay!*

«*No hay*» означает «нет», этот ответ ты слышишь чаще всего в этой дурацкой стране.

— А что же у вас есть?

Кислая ухмылка. Оказывается, есть свечи, мыло, сухие, сморщенные *chiles**, несколько высохших кузнечиков, пыль, пустые деревянные ящики для бумаг. Ничего, абсолютно ничего. Рядом еще одна лавка.

— *Hay frutas?*

- No hay.
- Que hay?
- Hay terache!
- Para borracharse**, — усмехаясь, произносит Розалино.

Terache — напиток из кожуры ананасов и коричневого сахара. Можно выпить, поясняет Розалино. Но сразу опьянеешь. Верно, у них и mescal* продается, тогда мертвецки пьяным будешь.

В деревушке никаких продуктов не было. Но нам нужны фрукты. Где же все-таки, где я могу купить апельсины и бананы? Я ведь видел апельсиновые и банановые деревья.

- Вон там! — Женщина взмахивает рукой, словно разрезает ею воздух.
- Там?
- Да.

Мы поднимаемся по улице Независимости. Продавцы с plaza отделались от нас.

Еще одна темная лачуга с двориком, в глубине растут апельсины.

- Hay frutas?
- No hay.
- Ни апельсинов, ни бананов?
- No hay.

Мы идем дальше. И тут отделались от нас. Спускаемся по темным каменным ступеням к ручью, по одну сторону растет высокий тростник. Перед ним дворик со стогом маиса под навесом и волы на привязи, а рядом — чернобровая, с обнаженной грудью девушка.

- Hay frutas?
- No hay.
- Да есть они, вон сколько!

Она поворачивается, смотрит на апельсиновые деревья и тупо отвечает:

- No hay.

Нам остается либо убить ее, либо поскорее уходить прочь.

Мы слышим барабанную дробь и чей-то свист. Внизу, на каменистой черной дороге, которая называется улицей Бенито Хуареса, все тот же старик агитирует явно за Реформу и призывает голосовать за О.

Дворик весь в тени. Женщина месит из маисовой муки masa* для tortillas**. Рядом сидит мужчина. Неподалеку малыш бьет в барабан, а мужчина-здоровяк играет на маленькой тростниковой дудочке, быстро, безостановочно выводя мелодию «Кукарачи». Индейцы всегда меняют мелодию на свой вкус практически до неузнаваемости.

- Hay frutas?
- No hay.
- А что здесь происходит?

Робкий взгляд, ответа — нет.

— А почему вы играете на дудочке?

— Fiesta.

Господи! Фиеста! Эта унылая masa, в животе от нее словно камни. Тяжелая, темно-серая, неудобоваримая масса словно необожженный кирпич. Паренек пялит на нас огромные индейские глаза, продолжая барабанить, но видно, что он страшно испуган. Мужчина с дудочкой посмотрел на него тоже испуганно, но с возмущением, и мальчишка принялся еще энергичнее бить по барабану. Отдыхавший мужчина встает, подходит к Розалино и шепчет ему что-то на ухо, тот бормочет ему в ответ какие-то слова.

— Розалино, на каком языке здесь говорят?

— На местном.

— Ты их понимаешь? Это zapotec, у них тот же, что и у тебя язык?

— Да, сеньор.

— А почему ты говоришь с ними всегда по-испански?

— Потому что они не говорят на языке моей деревни.

Очевидно, он хочет сказать, что в этих краях говорят на разных диалектах сапотекского. Как бы то ни было, он немного владеет испанским и спрашивает: «*Hay frutas?*»

Это смахивало на *posada****. Святая Дева в сочельник бродила от дома к дому в поисках укромного угла, где она могла бы разрешиться от бремени: «У вас не найдется местечка?» — «*No hay*».

Так и мы. «*Hay frutas?*» — «*No hay*». Мы пошли вниз, по муравьиной тропе этой благословенной деревни. Наконец мы набрали на добросердечную женщину.

— Скажите, где мы можем купить апельсинов? Мы видим, что они всюду растут. Нам надо всего несколько, мы проголодались.

— Ступайте к Валентино Руису, — сказала она. — У него есть апельсины. Да, есть, и он продает их. — И она рассекла рукой воздух.

Мы побрели от одной темной хижины к другой, пока не дошли до домика Валентино Руиса. До того самого, где была фиеста. Тот же самый мужчина поглядел на нас в проем забора — ворот тут нет.

— Да мы уже здесь были! — воскликнул Розалино и рассмеялся смущенно и печально. — Это дом Валентино Руиса? *Hay naranjas?**

Мы так долго бродили, что *masa* превратилась в *tortillas*, их испекли, теперь на земле в круг сидели люди и ели их. Ведь была *fiesta*.

Услышав мой вопрос, юноша и женщина вскочили как ужаленные.

— О, сеньор, — сказала женщина. — У нас есть несколько апельсиновых деревьев, но они еще не успели, вам такие не подойдут. Идите по этой дорожке.

Мы прошли в сад мимо розовых роз, подошли к маленькому апельсиновому деревцу, на котором зрели желтовато-зеленые плоды.

— Видите, они еще не созрели, они вам не подойдут, — сказал юноша.

— Подойдут. — Тропические апельсины всегда зеленые. А эти, как мы позднее убедились, были почти сладкими, хотя и довольно безвкусными.

Но мне удалось заполучить лишь три больших толстокожих зеленоватых апельсина. Зато я углядел сладкие зеленые лимончики и выпросил штук пять-шесть.

Он взял с меня по три цента за апельсин — рыночная цена от двух до пяти центов, а limas — цент за штуку.

— У меня в деревне, — бурчал Розалино, когда мы ушли, — за один цент дают пять апельсинов.

Какая разница! Час дня, пора выбираться из деревни, сесть возле воды — там все-таки спокойнее, — и перекусить.

Plaza опустела, группа людей спускалась с холма. Они наблюдали за нами, словно по улице шли койот, zapilote* и белая медведица.

— Adios!

— Adios! — прокатилось гулко в ответ, будто пушечный выстрел прогремел.

Вдоль дороги по холму в каменном желобе текла вода. В одном месте ручеек, не скованный каменными берегами, пересекал дорогу, мы перешагнули через него и двинулись дальше. Отсюда местные берут воду для питья.

На перекрестке — еще одна молчаливая горстка людей в белом. И снова: «Adios!», и снова низкое, музыкальное гулкое эхо: «Adios!»

Вверх, из последних сил вверх. Нам надо подняться выше деревни, чтобы напиться не зараженной бактериями воды.

Наконец-то позади последний дом. Дальше — только холмы. Мы идем вдоль ручья по выжженному маисовому полю, потом снова вверх по бережку. Внизу довольно глубокий овраг. На другой стороне — фруктовый сад и женщина с корзинами плодов.

— ¿Hay frutas? — кричит негромко Розалино. Он осмелел.

— Нау, — отвечает старая женщина, тоже почему-то вполголоса. — Только они не поспели.

Может, нам спуститься в овраг, в тень? Нет, кто-то возле тростника купается, а вода для водопровода бежит по желобу здесь. Идем дальше, пока не замечаем дерево дикой гуавы, растущее на другой стороне ручья. Наконец-то можно сесть, поесть, попить — на бережку с высокой травой. Под дикой гуавой.

Мы опускаем бутылку лимонада в желоб, чтобы охладить ее. Я вытаскиваю мякоть из половинки толстокожего большого апельсина, получается чашка.

— Гляди, Розалино! Чашка!

— Lataza! — восклицает он, мягко произнося согласные, со смехом и восторгом.

Пью мягкую, какую-то неживую, тепловатую мексиканскую воду. Зато она чистая.

Через ручей — овраг, оттуда слышится: чок! чок! Я иду посмотреть, что там. Женщина, голая до бедер, стирает белье — шлепая им о камень. У нее красивая спина, густо-апельсинового цвета, мокрые волосы разделены на пробор и собраны сзади в узел. А в нескольких ярдах повыше в воде сидят голые мужчины, их смугло-оранжевые тела блестят на солнце, они тоже стирают одежду. Черные волосы отливают синевой. Над ними что-то вроде мостика, с того места ручей раздваивается, одно русло — то, что в желобе, — впадает здесь в речушку и течет спокойно вдоль песчаных берегов.

Мы сидим под дикой гуавой и едим. Старая женщина из фруктового сада — с голой грудью и коричневыми, как кофе, руками (нижняя сорочка держится на одной бретельке), в старом полосатом *sagare** вокруг талии вместо юбки, в накрученном на голову голубом *rebozo* от солнца, идет вдоль желоба, ступая черными босыми ногами, прижав к груди три-четыре *chirimoyas*. *Chirimoyas* — зеленые сладкие плоды, похожие на яблоки.

Она объясняет нам по-испански, говорит медленно, с трудом:

— Здесь вода питьевая. Внизу для стирки и мытья. Воду здесь можете пить, но мыть ничего в ней нельзя. А ту, в которой будете мыть, не пейте. — И она напряженно уставилась на бутылку лимонада, которая охлаждалась в воде.

— Очень хорошо. Мы поняли.

Потом она протянула нам *chirimoyas*. Я прошу ее разменять мне *peso* — у меня нет мелких монет.

— Нет, сеньор, — говорит она, — не надо мне платить. Я принесла это вам, хочу угостить. Но *chirimoyas* еще не спелые, они созреют через три-четыре дня. А сейчас пока неспелые. Пока их есть нельзя. Но я дарю их вам, угощайтесь. Прощайте. Да поможет вам Господь!

И она быстро пошла прочь вдоль воды.

Розалино искал мой взгляд. Потом открыл рот, высунул розовый язык и надул шею, будто кобра, давась смехом вслед уходящей старой женщине.

— Но эти *chirimoyas*, — сказал он тихо, — не очень хорошие.

И снова шея у него надулась от неслышного, восторженного, язвительного смеха.

Он оказался прав. Когда спустя три дня мы решили попробовать их, они были изъедены червяками, нетронутой мякоти в них почти не осталось.

— Старая женщина из Хуайапа, — вспомнил Розалино.

Однако она тогда получила свою бутылку. Мы выпили лимонад и послали Розалино к ней с пустой бутылкой, а она произнесла ему еще один монолог-нравоучение. Но бутылка для нее была целым сокровищем.

А я, обойдя маленький пригорок, чтобы выбросить бумагу, оставшуюся после завтрака, увидел золотисто-коричневого юношу, он прикрыл голову рубашкой, свисавшей на плечи и грудь, правда, больше ничего на нем не было. Я поспешно удалился, в очередной раз подумав, какая у местных людей гладкая красивая кожа, просто праздник плоти. Верно, то, что мы называем духом, у них полностью отсутствует.

Мы посидели еще немного, разглядывая крошечные плоды гуавы и великолепное, ласковое, светло-голубое небо, в котором парили ястребы, удаляясь от нас и уменьшаясь в размере. Долгий путь домой по нестерпимой жаре. Завтра наступит новый день. Правда, в Мексике даже следующие пять минут — далекое будущее.

3. Mozo

Розалино действительно стал членом нашей семьи, хотя работает у нас всего два месяца. Помню, когда мы пришли посмотреть дом и сад, то наткнулись на него — он прятался в *ratio*, украдкой сверкая глазами из-под бровей. Он не похож на бодрых, низкорослых, живых индейцев,

взирающих на мир темными, тупыми и вместе с тем дерзкими глазами. Может, в Розалино течет кровь каких-то иных индейцев, а не zapotec? А может, просто он немного другой. Он обидчивый и какой-то неприкаянный, словно маменькин сынок. То, как он опускает голову и искоса смотрит из-под черных ресниц — понимающе, оценивающе, относясь ко всему по-своему, — подтверждает мою мысль. Совсем не так глядят на мир индейцы — смело, по-мужски, словно у них от роду не было матерей.

Боги и богини ацтеков, насколько нам известно, не любили и не были любимы. В мифах о них нет благородства, очарования, поэзии. Все постоянно завидуют друг другу: одно божество завидует другому, боги — человеку и его судьбе, люди — животным. Богиня любви — богиня продажной любви, грязи, пожирательница грязи, чудовище без тени нежности. Если бог хочет заняться с ней любовью, она тут же расплывается перед ним, вульгарная и доступная.

А потом, когда она понесет от него и, наконец, родит, кем она разрешится? Какого божественного младенца она подарит миру? Угадайте, люди, возрадуйтесь и ликуя!

Нипочем не угадаете!

Каменный нож.

Нож, с острым, как бритва, лезвием, из черно-зеленого кремня, нож ножей, настоящий Заступник ножей. Это сакральный нож, который жрец вонзает в грудь жертвы, перед тем как вырвать у нее сердце, потом он протягивает его к солнцу, пока оно, это сердце, не начнет дымиться. А Солнце, Солнце всех Солнц, должно быть, жадно и ненасытно высасывает кровь из дымящегося сердца.

Был христианский сочельник. И богиня отправилась спать с младенцем во чреве. Внимание, люди! Ждите рождения спасителя, супруга бога готовится стать матерью.

Трам-тара-ра! Трам-тара-ра! — трубят трубы. Младенец родился! Нам во благо появился бог-сын. Пестуй его, положи на мягкую подушку. Покажи его всем! Смотрите! Смотрите! Смотрите, как он лежит на подушке, нежный малыш, он отдыхает. Que \square bonito!* Ах, какой красивый, черноватый, гладкий, острый каменный нож!

Казалось, что к этому дню почти все мексиканки разрешились каменными ножами. Смотрите на них, этих сыновей ничего не ведающих матерей, на их черные, точно кремь, глаза, на их плотные крохотные тельца, такие же крепкие и острые, как нож из обсидиана. Будьте начеку, не то они вспорют вам брюхо!

Наш Розалино исключение. Плечи чуть опущены. К тому же он немного крупнее, чем обычный местный индеец. Он ростом около пяти футов и четырех дюймов. И у него нет огромных, цвета обсидиана, сверкающих глаз. Глаза у него поменьше, почернее, словно черные быстрые глазки ящерицы. Они не впиваются в человека, подобно обсидиановым, жгуче-черным глазам. В его взгляде сквозит понимание, он осознает, что перед ним другой человек, незнакомец. И потому он склоняет голову, он кое-что понимает и сторонится пришельцев — ведь его так легко обидеть или ранить!

Обычно индейцы ни с кем себя не сравнивают и не соотносят. Для них белый мужчина или белая женщина — отдельное явление, как, к примеру, обезьяна, — это нечто, зачем можно наблюдать, чему можно удивляться, над чем можно смеяться, но в свой мир пускать нельзя.

Белый человек — это такая странная белая обезьяна, которая с помощью хитроумных познаний проникла в полумистические тайны Вселенной и стала хозяином всего. Представьте себе племя белых обезьян в фантастических одеждах, способных убить человека, стоит им зашипеть на него, способных передвигаться огромными, в миллю длиной, прыжками, способных, сосредоточившись, передавать свои мысли на расстояние в тысячу миль другой белой обезьяне, самцу или самке, — и вы представите себе, какими нас воспринимает индеец.

Белая обезьяна умеет делать несколько забавных трюков. К примеру, она составила себе представление о времени. Для мексиканца и индейца понятие времени — материя смутная, туманная. Для них существуют лишь три категории времени: *en la manana*, *en la tarde*, *en la noche* — утром, днем и ночью. У них нет даже понятия «полдень» и «вечер».

А у белой обезьяны, страшно сказать, существуют конкретные отрезки времени: пять часов, восемь часов тридцать минут. День — чудовищная головоломка из таких отрезков времени.

То же самое и с расстоянием: пугающие, невидимые отрезки пространства, называемые две мили, десять миль. У индейцев есть понятие «далеко» и «близко», а еще — «очень далеко» и «очень близко». Существует понятие «два дня» или «один день». Но две мили для него все равно, что двадцать, ибо он идет, полагаясь исключительно на свою интуицию.

Если расстояние в две мили покажется ему далеким, значит, это далеко, это *muuy lejos!** А если расстояние в двадцать миль кажется ему близким и знакомым, значит, это недалеко. Да что вы, туда рукой подать! И он отпустит вас вечером с легким сердцем, и ночь застигнет вас где-нибудь в глуши. Ведь это близко!

А у белого человека чудовищная, поистине чудовищная, обезьянья страсть к невидимым, точным измерениям. *Manana* для туземца может означать следующий день, три дня спустя, шесть месяцев спустя или никогда. У них не существует фиксированных точек в жизни — кроме рождения, смерти и *fiestas*. Фиксированные точки рождения и смерти спонтанно улетучиваются в туманное никуда. А священники внесли еще в их жизнь *fiestas*. С незапамятных времен священники отмечали *fiestas*, праздники богов, а сами люди и не должны были думать о каком-то ином времени. Да и какое им дело до этого времени?

То же самое касается денег. Эти *centavos* и *pesos*, что они в конечном счете значат? Маленькие кружочки, совсем не красивые. Туземцы предпочитают вести счет на невидимые монеты. Монеты, которых здесь и не бывает, вроде *reales* и *pesetas*** . Если вы покупаете два яйца за *real*, вы должны платить 12,5 *centavos*. Хотя пол-*centavo* не существует, вы или продавец расплачиваетесь несуществующей монеткой.

То же самое с честностью — *meum* и *tuum** . У белого человека чудовищная способность все помнить, до *centavo*, до глотка *mescal*. Ужасно! Индеец, как мне кажется, от природы не лжив. И не жаден, у него нет даже природной алчности. В этом он не похож на народ, населявший раньше берега Средиземного моря, для которого обладание имело мистический смысл, а серебряная монета была мистическим белым ореолом, *lueur*** магии.

Для настоящего мексиканца все не так! Ему это не важно. Он даже не стремится копить деньги. В нем заложен инстинкт поскорее истратить их, поэтому они ему не нужны. Он не старается удержать при себе ровным счетом ничего, в том числе жену и детей. Ничего, за что придется нести ответственность. Сбросить, сбросить, сбросить прошлое и будущее, оставить лишь чистый момент настоящего, ни с чем не связанного. Избавиться от воспоминаний, избавиться от мыслей и забот, оставить лишь мгновение, неосознанное, застывшее, твердое и острое, как нож из обсидиана. Прошлое и будущее — удел совести. Настоящее мгновение — острое, как нож жертвоприношения, благодаря забвению всего прочего.

Великая белая обезьяна завладела ключами от мира, а черноглазый мексиканец должен служить великой белой обезьяне, чтобы выжить. Он должен выучить трюки этой обезьяны: освоить время дня, монеты, машины, которые можно завести в одну секунду, научиться работать, пусть работа тупа и бессмысленна, но зато за нее аккуратно платят осязаемой, конкретной монетой. Должен выучить механизм трюков обезьяны, а еще разобраться в ее добродетелях. К примеру, есть такая непонятная добродетель — помощь ближнему, белые обезьяны постоянно кричат: «Помогите! Помогите! Спасите!» Можно ли придумать более дурацкий трюк?! И тем не менее это один из трюков великой белой обезьяны.

Если индеец беден, он говорит другому: «Мне нечего есть, накорми меня». И тот дает голодному пару *tortillas*. И это обычное дело. Но когда приходит белая обезьяна, она начинает заглядывать к тебе домой, рассматривать твою жену, твоих детей. Спрашивает:

- У тебя болен ребенок?
- Да, сеньор.
- А что ты сделал?
- Ничего. А что надо?
- Надо сделать компресс. Я тебя научу.

Это очень забавно — замесить горячее тесто и мазать им малыша. Точно глиной обмазываешь стены дома. Но зачем это делать дважды? Что в этом толку? Ребенок ведь все равно умрет. И попадет в Рай. Как это чудесно! На то воля Господня, чтобы веселый маленький ангел летал меж райских роз. Что может быть лучше?

До чего же скучный трюк придумала обезьяна — трюк со спасением: втереть в младенца масло, потом облепить компрессами, потом давать ему ложку лекарства утром, днем и вечером. А почему утром, днем и вечером? Почему не в любое время и не в любом месте? Завтра он умрет, если ты это не сделаешь сегодня! Но завтра будет другой день, а он не умер сейчас, значит, если он умрет в другое время, получается, что другое время нам не подвластно.

Ох уж эти занудные, пунктуальные белые обезьяны со своими вчера, сегодня и завтра! Завтра — всегда другой день, а вчера — часть замыкающего нас в круг вечности никогда. Зачем же думать о том, что не происходит в этот миг? Правда, и в этот миг никто ни о чем не думает. Так зачем притворяться, что ты думаешь? Это еще один трюк белой обезьяны. Она умная обезьяна. Но уродливая, с отвратительной белой плотью. Мы-то не уродливые, у нас умные лица, и плоть у нас замечательная, горячая, смуглая. Если приходится работать на белую обезьяну, мы особенно не горюем. Некоторые ее фокусы даже забавны. И можно ими забавляться, так или иначе. Пока есть охота.

Пока в нас не пробуждается дьявол, пока нам хватает сил терпеть этих белых обезьян, их тупые команды, их однообразную, нудную работу... Терпеть, как они командуют нами, заставляют работать на них до седьмого пота, терпеть, что они отбирают у нас наши деньги, а потом — нашу землю, и из ее недр — нефть и металл.

Да, они делают это! Постоянно! Потому что не могут остановиться. Потому что кузнечики не могут не прыгать, а муравьи — не тащить веточки, а белая обезьяна — не топтать по земле «тик-так-тик-так», «делай это — делай то, время работать — время есть, время пить — время спать — время гулять, время скакать на лошадях — время мыться — время ходить грязным — тик-так-тик-так, время, время, время!». Господи, да образумь ты их, наконец!

Но это мгновение — неизменно, как нож из обсидиана, а сердце индейца — постоянно, как это мгновение, отделяющее прошлое от будущего и приносящее их в жертву.

Розалино тоже забавляли фокусы белой обезьяны. Он готов работать на белую обезьяну, учиться ее фокусам, ее обезьяньему испанскому языку, ее размеренному, в такт тиканию, образу жизни. Он работает за четыре *pesos* в месяц и за еду — несколько *tortillas*. Четыре *pesos* — это два американских доллара, около девяти шиллингов. У него есть две хлопчатые рубашки, две пары панталон, две верхние рубашки — одна из розового хлопка, другая из темной фланели, пара сандалий. А еще — соломенная шляпа, поля которой он загибает, и вид у него получается очень задиристый. Старая, фабричная, дешевая накидка, вернее плед, изношенный до лохмотьев. *Et praeterea nihil**.

В его обязанности входит утром вымести улицу перед домом и полить ее, потом подмести и полить широкие, выложенные кирпичом веранды, отряхнуть пыль со стульев метелкой из пушистых кисточек. Потом надо помогать кухарке — она очень важная персона, дед у нее испанец, Розалино должен обращаться к ней почтительно, говорить: «сеньора», когда несет корзину на рынок. Вернувшись с рынка, он снова метет patio, собирает листья и мусор, набивает ими корзину, ставит ее на плечи, перехватывает лентой, которая держится на лбу, и идет, точно ишак, к узкой дорожке, ведущей из города, чтобы выбросить ее содержимое у обочины. Каждая узкая дорога — в кучах мусора, это авеню мусора, сияющего на солнце.

Вернувшись, Розалино поливает сад и patio из лейки. На это уходит большая часть утра. Днем ему делать почти нечего, он сидит. Если дует ветер или стоит жара, он снова около трех часов дня начинает собирать листья, поливать все из старой лейки.

Потом он уходит в zagua, в переднюю, там большие двери, мощеный коридор, он такой просторный, что могла бы поместиться повозка, запряженная быками. Zagua — его дом, он живет в передней. В углу стоит низкая деревянная скамейка, четыре фута в длину, восемнадцать дюймов — в ширину. Он устраивается на ней и спит, свернувшись клубочком, не раздеваясь, закрывшись старым сагаре.

Но это — потом. В полумраке zagua он зубрит, зубрит, зубрит школьный учебник, учится читать и писать. Он умеет немного читать и немного писать. Пишет на листах писчей бумаги, и получается у него красиво. Но я обнаружил, что он переписал какую-то испанскую поэму о любви со словами «no puedo olvidar»* и «voy a cortar»** — розу, естественно. Он переписал текст, не разделив его на строки, без заглавных букв и знаков препинания, получилась просто длинная цепочка слов, которой он заполнил весь лист. Когда я прочитал несколько строк вслух, он сжался, застигнутый врасплох, и засмеялся. Он мало, очень мало что понял из переписанного, совсем мало, просто повторил все, как попугай, сидевший над его головой. Для него эта поэма представляла лишь слова, звуки, шумы, шум под названием castellano, кастильский. Точь-в-точь как попугай.

С 7 до 8 часов он учится в вечерней школе, там он каждый раз еще что-нибудь пишет на своих листах бумаги. Он уже два года ходит в школу. Еще два года походит, может, все-таки сможет прочитать и написать хотя бы шесть вразумительных предложений, но только по-испански, который для него такой же чужой язык, как хинди для английского деревенского мальчугана. А если научится немного говорить, читать и писать по-испански, он вернется в родную деревню, что в горах, туда надо два дня идти, а со временем, может, даже станет alcalde, деревенским старостой, чиновником. Если бы он стал alcalde, он получал бы небольшую зарплату. Но для него куда важнее другое — стать начальником.

У него есть друг из деревни, paisano*, тот спит вместе с ним в zaguan, это наш сторож. Любой, кто приходит в дом или в patio, должен пройти через большие двери. Другого входа нет, даже крошечной калитки или лаза в сад нет. Окна, выходящие на улицу, зарешечены. Каждый дом — маленькая крепость. Наш дом представляет собой двойной квадрат, в первом — деревья, цветы, два крыла дома. Во втором — patio, цыплята, голуби, морские свинки, большой, массивный глиняный таз (или корыто), его называют araste, в нем моются слуги, как цыплята — в блюде.

В полдесятого Розалино укладывается клубочком на своей скамейке, накрывается накидкой, оставив на полу сандалии — huaraches. Он скидывает их, когда ложится спать. Вот и все его приготовления ко сну. В другом углу, закутавшись, как мумия, с головой в тонкую, старую простыню, спит на холодных камнях paisano, паренек лет двадцати. А на высоте пяти тысяч футов ночи бывают холодные.

Обычно в полдесятого вечера в нашем тихом доме все уже в сборе. А если вы припозднились, нужно громко стучать в большие двери. Разбудить Розалино трудно. Надо близко подойти к нему и позвать. Тогда он проснется. Но ни в коем случае не трогайте его. Он ужасно

этого боится. Тут никто ни к кому не прикасается без предупреждения — только воры и убийцы так делают.

— Розалино, *están tocando!* Розалино! Стучат!

Наконец поднимается смурной, растерянный, тупо глядящий на вас Розалино. Не исключено, что он соберется с мыслями и откинёт щеколду. Смотришь на него и удивляешься — где он был в своих снах, кем он там был, таким смурным, диким и растерянным он выглядит.

Первый раз его позвали помочь, когда в наш новый дом приехал грузовик с кое-какой мебелью.

Были Аурелио — карлик, *mozo* наших друзей, — Розалино и водитель. Но предстояло еще найти *cargador*, носильщика.

— Помоги им, — сказал я Розалино. — Надо помочь.

А он отошел в сторону, бормоча:

— *No guiero!* Не хочу!

Парень дурак, подумал я про себя. Он считает, что это в его обязанности не входит, а может, боится поцарапать мебель. Пришлось оставить его в покое.

Мы устроились в доме, и Розалино, казалось, понравилось помогать нам. Нравилось учиться фокусам белой обезьяны у белых обезьян. А поскольку мы кормили его тем же, что ели сами, и впервые в жизни он попробовал суп, жареное мясо, яичницу, ему понравилось помогать на кухне. Он приходил, сверкая темными глазами:

— *Na! comido el caldo! Gracias!* (Я ел суп! Спасибо!) — И смеялся своим странным, взволнованным, немного лающим смехом.

Однажды в воскресенье мы пошли пешком в Хуайапа, он был очень возбужден. Но когда вечером мы вернулись, он молча лег на скамейку, хотя сильно и не устал. На него навалилось мрачное, словно черная болотная мгла, настроение, — такими мрачными бывают только индейцы. Он не встал и не пошел за водой, пришлось мне принести.

Утром в понедельник — такое же мрачное, гадкое настроение и ненависть. Он всех ненавидел. Это поразило нас — ведь накануне он был такой оживленный и счастливый! Но сейчас его будто подменили. Он не мог простить себе, что был с нами счастлив и свободен. Он ел то же, что и мы, — сваренные вкрутую яйца, сэндвичи с сардинами и сыр, пил из *taza*, которую мы сделали из половинки апельсина, ему это так понравилось! Он купил себе бутылку *gaseosa*, газированной воды, в Сент-Фелипе по дороге домой.

А теперь наступила реакция. Нож из кремня. Раз он был счастлив с нами, значит, мы замысливаем какой-то коварный план против него. Мы проделали с ним дьявольский трюк белой обезьяны, мы хотим поработить его душу, — он не сомневался в этом, — и сделать это, как обычно делает белая обезьяна, нанеся душе непоправимый вред.

Мы решили добраться до его сердца, ведь так? Но сердце его стало твердым, как обсидиановый нож.

Он ненавидел нас, извергая черные потоки ненависти, затопившие *patio*, мы просто заболели от нее. Он не показывался на кухне, не носил воду. Бросил нас на произвол судьбы.

Во время ланча в понедельник он сказал, что решил уйти. Почему? Сказал, что хочет вернуться в свою деревню.

Отлично, только пусть подождет несколько дней, пока мы найдем другого *mozo*.

На эти слова — животная, неистребимая ненависть в темных глазах.

Он просидел недвижно на своей скамейке весь день, в ступоре мрачного настроения и глубочайшей ненависти, какие только у индейцев бывают, однако к вечеру немного повеселел и сказал, что останется, по крайней мере до Пасхи.

Утро вторника. Снова ступор, мрак и ненависть. Он сию же секунду уходит домой. Хорошо! Никто не собирается держать его насильно. Мы быстро найдем другого *mozo*.

Снова глубочайший немой ступор, мрак и ненависть, очень сильная ненависть, способная любого довести до обморока.

Вторник, день. Он думает, что пока останется.

Утро среды. Решил уйти.

Отлично. Мы дали объявление, в пятницу утром придет другой *mozo*. Все улажено.

В четверг *fiesta*. Поэтому в среду мы с *pina* — хозяйкой — идем на рынок, а с нами Розалино с корзиной. Он любит ходить на рынок с *patrones**. Мы даем ему денег и посылаем торговаться с продавцами, купить апельсины, *pitahayas***, картошку, яйца, цыплят и прочее. Он это просто обожает. Он выходит из себя, когда видит, что мы покупаем товар, не торгуясь, и переплачиваем.

Он торгуется почти молча, едва слышно что-то бормоча. Он убил уйму времени, но добился даже большего успеха, чем кухарка Нативидад. И вернулся — ликующий, с полной корзиной продуктов, потратив мало денег.

И в этот день он снова остался. Порча отступала.

У индейцев, живущих в горах, какая-то тяжелая, неодолимая привязанность к своей деревне. Розалино два года не покидал городок. А очутившись в Хуайапа, настоящей индейской горной деревне, впал в черную индейскую тоску. Но по дороге домой он был очень весел — слишком даже весел.

И сеньорита стала его фотографировать. Индейцы очень любят фотографироваться. Я дал ему конверт с маркой, чтобы он отослал фотографии матери. В деревне живут его овдовевшая мать, брат и замужняя сестра. У них небольшой участок земли с апельсиновыми деревьями. Самые вкусные апельсины растут в горах, там прохладнее. Получив фотографии, мать, к тому времени совсем забывшая сына, — так уж устроена память, — вдруг дрогнула и захотела, чтобы он сию же минуту вернулся домой. И она послала гонца.

Итак, среда. Пришел парнишка в белой одежде, с неприятной улыбкой. Это был его брат с гор. Теперь, решили мы, у Розалино есть попутчик на обратную дорогу. В пятницу после *fiesta* он уйдет.

В четверг он пошел с нами за покупками для *фиесты*. Торговался из-за цветов, из-за *sagare*, которую так и не купил, из-за резной *јисага*, которую купил, из-за игрушек. Они с *pina* и сеньоритой съели огромный вафельный торт со сладкой начинкой. Корзина изрядно потяжелела. Появился брат, понес курицу и еще кое-что. Блеск!

Он снова был счастлив. Он уже не собирался уходить в пятницу, он вообще не собирался уходить. Он хотел остаться с нами и поехать с нами в Англию, когда мы решим возвращаться домой.

Потом мы заглянули к приятелю-мексиканцу, который нашел нам другого *mozo*. Отказались от очередного мальчика, но что поделаешь, они тут все одинаковые.

А мексиканец, впервые увидевший Розалино, когда тот только спустился с гор и не знал по-испански ни слова, рассказал нам еще кое-что о нем.

Во время последней революции, той, что была в прошлом году, революционеры-победители решили набрать солдат из парней, живших в горных деревнях. Alcalde горной деревни велено было собрать парней и прислать их к городским казармам. Розалино был в их числе.

Но Розалино отказался, сказал свое обычное: «No guiero!» Он совсем как я: меня охватывает ужас при мысли, что я должен служить чему-то, да просто находиться в людской толпе. Он наотрез отказался. Тогда солдаты, занимавшиеся новобранцами, избили его прикладами до потери сознания, и он рухнул замертво.

А поскольку он был нужен сейчас или никогда, а в ту минуту он не годился для строевой службы — вся спина в ранах, — его бросили и пошли сражаться за революцию без него.

Теперь ясно, почему он боялся носить мебель, боялся, что его поймают.

Но малыш Аурелио, тозо наших приятелей, коротышка, не выше четырех футов шести дюймов, боялся всего еще больше. Он тоже спустился с гор. Его родственник из одной с ним деревни донес неприятелю, сообщив важную информацию о революционерах. Потом родственник благоразумно исчез. Но в городе победители схватили Аурелио: ведь он был родственником предателя и дезертира. Несмотря на то, что он был преданным тозо иностранца, его бросили в тюрьму. Заключенных в тюрьмах не кормят. Им приносят еду друзья или родственники, а если не приносят — то они совсем тощат. У Аурелио в городе жила замужняя сестра, но она боялась идти в тюрьму, боялась, что их с мужем тоже схватят. Его хозяин посылал два раза в неделю своего нового тозо с корзиной в тюрьму. Огромную для городка в несколько тысяч человек.

А хозяин Аурелио тем временем продолжал сражаться с властями, заступниками народа, требуя освободить парнишку. Бесполезно.

Однажды новый тозо пришел в тюрьму с корзиной, а Аурелио там не оказалось. Солдатик передал ему записку от Аурелио. «Adios ami patron. Me llevan». Страшные слова: «Me llevan» — «Они меня увозят». Хозяин помчался на станцию, но поезд уже ушел, увозя отважного коротышку тозо в неизвестность.

Спустя месяцы Аурелио появился. В лохмотьях, изможденный, смуглая шея распухла. Его увезли за двести миль в штат Вера Крус. Его повесили, но петлю до конца не затянули и так оставили висеть несколько часов. Зачем? Хотели заставить родственника прийти его спасать и самому сунуть голову в петлю?! Заставить невинного парня сознаться в преступлении, которого он не совершал? В каком? Все знали, что он ни в чем не виноват. Во всяком случае, они решили таким образом проучить других. О, какая братская наука!

Аурелио сбежал и решил пробираться в горы. Упорный мужественный коротышка, он шел от одной деревушки к другой, выпрашивая там tortillas, пока наконец не вернулся к своему хозяину — измученный, с распухшей шеей. «Партия» была еще у власти. И в ней стало еще больше народных заступников.

Завтра настанет новый день. Хозяин выходил Аурелио, парень теперь крепкий, хоть по-прежнему коротышка, с огромными сияющими темными глазами, он верит сейчас только иностранцу, никому из своих соплеменников не верит. Он низкорослый, зато прекрасно сложен и очень силен. И очень смысленый, куда смысленее и расторопнее, чем Розалино.

И неудивительно, что Аурелио и Розалино при виде солдат с винтовками за плечами, препровождающих в тюрьму какого-нибудь бледного от страха заключенного, — а видят они это частенько, — застывают в ужасе и смотрят на patron, прося защиты!

Только бы не поймали! Только бы не поймали! Это, должно быть, основной страх, мучивший мексиканцев и индейцев задолго до того, как Монтесума вел своих пленников на казнь.

4. Базарный день

Последняя суббота перед Рождеством. Следующий год будет важным, это чувствуется. А старый год вот-вот кончится. Рассвет был ветреным, с деревьев летели листья, солнце светило сквозь желтое облако. Но его лучи касались желтых цветов, растущих над оградой *ratio*, трепещущей ослепительно-красной россыпью бугенвиллеи, ярко-красных огоньков пуансетий. Пуансетии очень красивы, с крупными, алыми, ровной окраски цветами. Их зовут здесь *poshe buenos*, цветами сочельника. Они выбрасывают пучки алых стрел, будто красные птицы мечутся на ветреном восходе, купаясь в потоках света и испуганно топорща перышки. Они распустились к Рождеству вместо остролиста. Рождество достойно алого предвестника.

Юкка — высоченная, выше нашего дома. Она тоже вся в цветах, свисающих на длину руки мягкими кремовыми колокольчиками, будто покрывшими пеной виноградных гроздьев весь двор. И ветер ломает стебельки восковых колокольчиков, а они бесшумно падают, отделяясь от кремовой пены, чуть-чуть дрожа.

Краснеют кофейные ягоды. Розовые цветы гибискуса раскачиваются на тонких веточках, каждый — в светло-красной чашечке.

Во втором *ratio* растет высокое дерево хрупкой акации. Она тянет кверху, к голубому небу, беловатые пальцы-цветы. А на ветру эти пальцы-цветы на фоне чистого голубого неба раскачиваются в такт круговому движению крон.

Беспокойное утро, тучи все ниже, они тоже движутся по кругу. Все движется. Лучше всего выйти и начать медленно кружить, подобно ястребу.

Кажется, что все движется по кругу и стремится к одной центральной точке — тучи, горы на краю долины, пыль, большие, красивые, с белой подпушкой ястребы — *gabilanes*, даже белоснежные хлопья цветов на дымчатом *palo-blanco*. Даже кактусы-органы, вздымающие вверх свои наросты, и кактусы-канделябры вращаются рядом с центром по замкнутому кругу.

Странно, что наша мысль развивается линейно, ведь в природе нет прямых линий, мы говорим о конкретных однозначных делах, тогда как каждое дело рано или поздно постарается выйти на кривую, начать двигаться по кругу, стремясь к центру. Космос изогнут, представляет собой сферу в сфере, а путь от одной точки к другой непременно должен обогнуть препятствия: так края широких крыльев ястреба устремляются вперед, они парят в воздухе, опираясь на него, словно на невидимую половину эллипса. А если мне надо пойти куда-то, моя дорога непременно обогнет препятствие, стремящееся к центру. Славное, ясное дело выживает, преодолевая сопротивление мира, но на нем остаются рубцы ран.

Пыль движется, будто призрак, по дороге, бегущей в долине. Высохшее торфяное ложе долины сверкает, словно мягкая кожа цвета розоватой охры; залитая солнцем, она раздольно раскинулась меж гор, которые будто излучают тьму, темно-синюю прозрачность дымки, прячущей их от горбатых вершин предгорья. Молчаливые, в бесчисленных складках, горы Мексики.

А поодаль, у подножия гор, в озере деревьев просвечивают белые пятна Хуайапа. Суббота, и белые точки людей ползут по голым склонам вниз, в долину, за ними крохотными пятнышками мелькают ослы, а среди них — темная, склоненная, ритмично покачивающаяся в такт движению голова женщины: она едет верхом на осле, подвесив к его бокам две корзины. Суббота, базарный день, утро, поэтому белые пятна людей, точно чайки на пашне, плывут, поблескивая на солнце, спускаясь на желтовато-коричневый, волнистый простор долины.

Они одеты в белоснежные хлопчатые одежды, идут за ослом, на котором сидит женщина с двумя огромными корзинами, а на ее смуглой груди — младенец, надежно и туго стянутый

rebozo*. Мужчины идут, высоко поднимая колени, как все индейцы. Рядом торопливо семят девочки в длинных, перепачканных хлопчатых юбках, они то подбегают, то отбегают, как вода во время отлива, едва поспевая за неровной поступью осла. Люди спускаются семьями, группками, в одиночку, спешат, катясь будто волна, бегом, босоногие, бесшумно плывут к городку, раздуваемому пузырями церковных колоколов над вялой зеленью деревьев, лежащему вдали, под желтовато-коричневыми горами.

Внизу, посередине долины, пролегла большая, почти прямая дорога. Вы угадаете ее по высокому облаку пыли, оно тоже спешит в город, обгоняя, оставляя позади себя всех и вся. Обгоняя маленькие темные фигурки и белые пятна, что медленно ползут, точно карлики в подземном мире, устремляясь к городку.

Из деревень, разбросанных по долине и в горах, идут крестьяне и индейцы со своей поклажей, дорога напоминает путь паломников, окутанных пылью, спешащих, торопящихся в город. Темноухие ослы, бегущие мужчины, бегущие женщины, бегущие девушки, бегущие парни, иноходь осликов, легко ступающих красивыми изящными ножками, навьюченных корзинами-близнецами с помидорами и тыквами, большими сетками с пузатыми кувшинами, парой аккуратных, ровных, как пачка сигарет, вязанок дров, двумя мешками угля. Ослы и мулы движутся вперед, а большие корзины ритмично подрагивают под сидящей верхом женщиной, и огромные вязанки бьют по бокам тонконогого ослика. Малыш-ослик трусит за грузной маткой, за ним торопится молчаливый, как все индейцы, мужчина в белой одежде и в сандалиях, а рядом бежит резвая девчушка.

Вперед устремлен этот странный торопливый поток. А среди пеших паломников медленно катит повозка, запряженная быками, мерно крутятся большие высокие колеса. Медлительные быки, низко опустив голову, так, что мордой достают до земли, качают, качают своими огромными рогами, напоминающими извивающихся змей, а оглобли из крепкого дерева, в форме лопаты, давят им на шею. Вперед, вперед, между выжженным торфяником и мощной, победоносной зеленью кактусов-органов. Мимо скал и плавающих цветов palo-blanco, мимо тянувшейся следом, как судно на буксире, пыли с мескитовых кустов. А пыль, спеша вперед быстрее всех, вновь поднимается вверх, потом мгновенно покрывает дорогу, обволакивая маленькие фигурки людей, — словно смерч в пустыне.

Мужчины, почти все коротышки, из племени zapotec, низкорослые, грудь колесом, энергично поднимая колени, шагают вперед в облаке пыли. И тихие маленькие круглоголовые женщины бегут рядом босиком, обмотав голубое rebozo вокруг плеч, часто привязав им и младенца. Хлопчатые одежды мужчин такие белые, что их лица, темные пятна под полями больших шляп, почти не различимы. Тьма на белом, лики ночи. Молча, быстро, с неукротимой энергией приближаются они к городку.

А многие segnanos, индейцы с гор, — в маленьких черных фетровых шапочках, словно на голову им спустилась ночь, пристроившись на их прямые белые плечи. Кое-кто идет издалека, проведя в дороге весь вчерашний день, в маленьких черных шапках и черных сандалиях. Завтра они двинутся в обратный путь. А глаза их на темных лицах будут такими же — темными, яркими и дикими. У них нет цели, как ее нет у ястребов в небе, нет причины куда-то бежать, как и у облаков.

Базар — огромное сооружение под навесом. Самое поразительное здесь — шум, который несется с базара, пока вы приближаетесь к нему по переулку. Назойливый, но на него можно и не обратить внимания. Такое впечатление, что привидения сбежали со всего света и во тьме о чем-то судачат друг с другом. Шум базара напоминает шепот дождя, шелест банановых листьев на ветру. Он заполнен индейцами — темнолицыми, неслышно ступающими, тихо переговаривающимися, зажатыми в толпе. Непривычные шипящие звуки наречия племени zapotec, вплетающиеся в испанскую речь, спокойные голоса mixtecas в стороне.

Купить и продать, но прежде всего — встретиться, собраться вместе. В Старом Свете люди придумывают себе серьезные причины, побуждающие их собраться вместе где-нибудь в центре и свободно перемещаться в разношерстной, не внушающей опасения толпе. Базар и религия. Лишь эти два стимула собирают их вместе без оружия, собирают со времен Сотворения Мира. Вязанка дров, тканое одеяло, несколько яиц и помидоров — вот и все, ради чего мужчины, женщины и дети идут пешком долгие мили по долинам и горам. Купить, продать, обменять. И прежде всего — обменяться приветствиями и пообщаться с ближними. Поэтому люди так любят торговаться, даже если речь идет об одном centavo. В центре крытого рынка устроен небольшой водоем, а в нем цветы: красные, розовые, белые розы, разноцветные маленькие гвоздики, маки, шпорник, лимонного и апельсинового цвета бархатцы, белые лилии, анютины глазки, незабудки. Сюда не приносят тропических цветов. Только дикие лилии с гор и фиолетово-красные орхидеи.

— Сколько стоит этот букет гелиотропов?

— Пятнадцать centavos.

— Десять.

— Пятнадцать.

Вы кладете назад гелиотропы и отходите. Но женщина довольна. Общение, пусть и совсем краткое, поднимает ей настроение.

— Гвоздики?

— Красные, сеньорита? Тридцать centavos.

— Нет, я не хочу одни красные. Мне нужны разные.

— Ага! — женщина берет охапку разноцветных гвоздик, бережно складывает их в букет. — Посмотрите, сеньорита. Еще?

— Нет, достаточно. Сколько с меня?

— Столько же. Тридцать centavos.

— Дорого.

— Да не дорого, сеньорита. Посмотрите на маленький букетик. Он стоит восемь centavos. — Протягивает жалкий букетик. — Ну ладно. Двадцать пять.

— Нет, двадцать два.

— Посмотрите! — она берет три-четыре цветка и подкладывает их в букет. — Два reales, сеньорита.

Это торг. И вы отходите с букетом разноцветных гвоздик, а женщине выпали мгновения общения с незнакомцем, чужаком из далеких краев. Гул голосов, смешение желаний. Это жизнь. Centavos лишь предлог.

Прилавки идут ровными рядами: направо — к роскошным овощам, налево — к хлебу и сладостям. В конце одного ряда — сыр, масло, яйца, цыплята, индюшки, мясо. В конце другого — мексиканские одеяла, *rebozo*, юбки, рубашки, носовые платки. В самом дальнем углу — сандалии и изделия из кожи.

Мужчины в *sapate* следят за вами, свистят, точно хищные птицы, кричат:

— Сеньор! Сеньор! Посмотрите!

Потом кто-нибудь из них с воодушевлением раскидывает перед вами одеяло, а другой свистит еще резче и громче, чтобы заставить вас взглянуть на его одеяло. Пятачок, где мужчины

в сагаре торгуют сложенными в стопки прямо на земле одеялами. Словно в логове львов и тигров. Вы качаете головой и уходите.

И тут же оказываетесь в ряду, где торгуют кожаными изделиями.

— Сеньор! Сеньор! Посмотрите! Huagaches! Отлично, отлично сделано! Посмотрите, сеньор!

Толстый продавец кожи подсакивает к вам, прижав к груди пару сандалий. Они из тонких плетеных полосок кожи, последний писк парижской моды, а для местных — древний, как мир, фасон. Вы берете их, рассматриваете с любопытством, а толстуха-жена продавца сандалий приговаривает:

— Очень хорошая работа. Очень. Много работы!

Продавцы кожи обычно всегда приходят на базар с женами.

— Сколько стоит?

— Двадцать reales.

— Двадцать?! — произносите с удивлением, обидой и возмущением.

— А сколько вы дадите?

Вы не отвечаете. Подносите сандалии к носу. Мужчина, продавец сандалий, смотрит на жену, потом начинает громко смеяться.

— Они пахнут, — говорите вы.

— Нет, сеньор, не пахнут! — и оба заходятся от смеха.

— Да пахнут же. Это не американская кожа.

— Американская, сеньор. И они не пахнут, сеньор. Нет, не пахнут, — убеждает он вас, пока вы не начинаете сомневаться.

— Нет, пахнут.

— Сколько дадите?

— Ничего не дам, потому что они пахнут.

Вы снова принюхиваетесь, хотя в этом нет никакой необходимости. И не обращая внимания на ваш отказ продолжать торговаться, мужчина с женщиной снова смеются, наблюдая, как вы усердно принюхиваетесь.

Потом вы кладете сандалии на прилавок и отрицательно качаете головой.

— Сколько дадите? — весело спрашивает мужчина.

Вы мрачно качаете головой и отходите. Продавец кожи переглядывается с женой, и они снова начинают хохотать, потому что вы нюхали huagaches и сказали, что они дурно пахнут.

Они и в самом деле воняли. Туземцы используют экскременты человека, чтобы кожа задубела. Когда Бернал Диас приехал с Кортесом на большой рынок в Мехико-сити, в день памяти Монтесумы, он увидел на прилавках маленькие глиняные горшки с экскрементами человека — их продавали, а кожевенники ходили вокруг и принюхивались, выбирая то, что получше. Это даже в XV веке изумило испанцев. А мой продавец кожи с женой сочли чудовищно забавным, что я нюхаю huagaches, прежде чем купить их. У всех вещей свой запах, а естественный запах сандалий — такой. С таким же успехом можно ссориться из-за того, что лук пахнет луком.

Несусветная давка, вокруг множество тихих туземцев, кое-кто в чистой яркой одежде, многие в старых лохмотьях, сквозь дырки в грязной материи проглядывает коричневое тело. Много горцев в маленьких фетровых шапках, с дикими, пристально смотрящими на вас глазами. Они в нерешительности толпятся возле прилавка с головными уборами, скованные робостью, — никак не могут попросить примерить шапку. Темные, иссиня-черные, блестящие волосы падают густыми прядями на лоб, точно сверкающие сине-черные перья. И вспоминаешь Будду с синими волосами и лотосом в пупке.

Кажется, под одежду уже забрались блохи. Базар длится весь день. Постоялые дворы в здешних местах — большие грязные площадки с небольшими навесами и конурами-комнатками по краям их. Кое-кто — один или с семьей, те, что пришли издалека, — останется на ночь в этих напоминающих стойла комнатках. Многие заснут на камнях, на земле, возле рынка, — словом, где придется. Зато здесь, на постоянных дворах, полно ослов, они прядают ушами с вечным терпением животного, знающего лучше любого другого, что всякая дорога поворачивает вспять, а значит, придется возвращаться в ту же самую точку, а ходьба туда-сюда — пустое занятие.

И к вечеру пыльная дорога снова запружена смуглыми людьми, и порожними ослиами, и мулами с новой поклажей, они молча, торопливо вышагивают к себе в деревню, повернувшись спиной к городу, радуясь, что уходят отсюда и увидят кактусы, и складчатые горы, и деревья — а значит, деревню. В какой-нибудь деревушке они устроятся под деревом или под стеной чьего-нибудь дома и уснут. А на следующий день вернутся к себе.

То, ради чего они шли на базар, они сделали. Продали и купили. Но важнее для них другое — они общались друг с другом, попав в центростремительный поток. Они очутились в плотной людской толпе, стремившейся к центру, к водовороту людей, пришедших на базар. И там они почувствовали себя в гуще жизни, их зажали мягкие горячие тела незнакомых людей, пришедших издалека, они услышали голоса этих незнакомцев, к ним обращались, а они отвечали им — как-то по-иному.

Тут нет конечной цели, это не постоянное место, тут ничего не строят на века, даже башни собора, которые медленно наклоняются, словно высматривают дорогу назад. Так и туземцев сначала кружит и затягивает в мощный поток, вливающийся в водоворот рынка. А потом сильный толчок выбрасывает их наружу, они поворачивают и устремляются прочь, в открытое пространство.

Просто прикосновение, больше ничего, вспышка встречи. Пусть она и мимолетна, но это единственное бесценное сокровище. Приход, уход, поиск пути.

Правда, под рубашкой лежат завернутые в носовой платок медные centavos, а может, и несколько pesos. Но они тоже исчезнут, как с восходом солнца исчезают звезды, они и должны исчезнуть. Все исчезнет. Каждая кривая в конце концов переходит в спираль, в водоворот, пропадает в нем, а потом возникает вновь — явно и зримо, чтобы устремиться в открытое пространство, в космос, и исчезнуть там.

И только это движение, пусть и неуловимое, имеет значение. Контакт, вспышка встречи. И ее, эту искру встречи, никогда, во веки веков, не удержать и не погасить.

Как вечернюю звезду, когда еще не настала ночь и не истек день. Как вечернюю звезду, меж солнцем и луной, не подвластную ни солнцу, ни луне. Вспышка переходного мгновения, вечерняя звезда, которая появляется лишь на разломе дня и ночи, но она самая красивая.

5. Индейцы и развлечения

Мы ходим в театр, чтобы немного развлечься. Посмотреть «Гончаров», или Макса Рейнхардта, или «Короля Лира», или «Электру». Чтобы развлечься.

Хотим отвлечься от самих себя. Не совсем так. Хотим стать зрителями собственного представления. Мы смотрим сверху вниз, подобно божкам, восседающим на демократических небесах, удобно устроившись на обитых бархатом креслах, и видим самих себя там, на сцене, в ярком искусственном освещении, мы ведем себя комически глупо, как папаша Гончар, но нам удается выбраться сухими из воды или трагически глупо, как король Лир, и нам не удается выбраться сухими из воды, чем мы безмерно гордимся.

Мы видим самих себя, наблюдаем за собой, смеемся над собой, оплакиваем себя, мы — боги, поднявшиеся над собственной судьбой. И это весьма забавно.

Секрет всего этого кроется в том, что мы смотрим со стороны на мучительные и мерзкие превратности реальной жизни, становимся существами, в которые память и сознание, просветленные духом, вдохнули жизнь. Мы — боги, а там, под нами, на сцене — машина. Внизу, на сцене, наше механическое, приземленное «я» запинается и беснуется, становясь папашей Гончаром или королем Лиром. Но как бы мы ни походили на Гончара или Лиру, пока мы парим в своих бархатных креслах, мы — создания чистого разума, чистого духа, наблюдающие за нашими «я» во плоти, такими глупыми и трагическими, стоящими на подмостках, там, внизу.

Даже соседская девчушка в длинной юбке представляет себе, что она миссис Парадизо, и испытывает те же самые чувства. С помощью детского воображения она рисует себе образ миссис Парадизо, рисует таким, какой ей подсказывает ее воображение. И в данное мгновение воображение одной личности управляет всем, возвышаясь над скучным и недвижимым миром реальности. Миссис Парадизо собственной персоной вызывает страх. Но если я могу изображать миссис Парадизо, то в таком случае — я Всемогущий Бог, а миссис Парадизо — плод моего ума.

Зритель в театре — демократическая модель идеалистического воображения. Они сидят в зале, боги идеалистического ума, со смехом и со слезами следя за тем, что происходит в царстве реальности.

И это убедительно, правдиво и вполне вас устраивает, покуда вы верите, что идеальный разум — подлинный судья. Покуда вы интуитивно чувствуете, что есть некий высший, Универсальный Идеальный Разум, распоряжающийся судьбой.

Но вот вам становится не по себе, и вы начинаете ерзать в своем бархатном кресле.

На самом деле никто не верит, что Судьба — это случай. Тот факт, что день сменяет ночь, лето зиму, укрепляет вашу веру во всеобщий закон, из которой неизбежно проистекает вера в некий Великий Разум, скрытый от нас во Вселенной.

Горстка так называемых продвинутых людей теряет покой при мысли об Универсальном Разуме. Но в массе своей все абсолютно в это верят. И каждая единица этой массы убеждена, что он или она — неделимая частица Универсального Разума. Отсюда любовь зрителя к театру. Еще большая — к кино.

В кинотеатре он гораздо выше парит над землей. Там, в кино, люди превращаются в тени: тени-картины — это мысли, возникающие в голове кинозрителя. Они существуют в калейдоскопе образов абстрактного мира, быстро сменяющих друг друга. И зритель, наблюдая за этим спектаклем теней, чувствует себя богом, наслаждающимся оргией абстрактного, он одержим восторгом и, не отрываясь, следит за всем. А если рядом сидит любимая девушка, она трепещет в том же порыве страсти и наслаждается той же оргией абстрактного мира. Неудивительно, что эта страсть к драматическим абстракциям превращается в похоть.

Таково наше представление об абстрактном.

А спросите индейца об этом. У него нет ответа.

Индейцы танцуют и поют под барабан. У них есть великолепные танцы — представления — Танец орла, Танец зерна. Они танцуют и поют на Рождество, собираясь большими группами возле костров. Еще они проводят ритуальные забеги по большим дорогам.

Белые люди всегда, или почти всегда, пишут об индейцах с сентиментальным чувством. Даже Адольф Бандельер. А он отнюдь не сентиментален. Напротив. И все-таки сентиментальные нотки прокрадываются в его рассказ о том, о ком он знает больше всех — об индейце.

То же самое можно найти у антропологов, собирателей мифов и тому подобных знатоков. Их работы пронизаны сентиментальностью, что вызывает удивление, и возникает желание послать к чертям этих индейцев, а заодно и ту чушь, что о них пишут.

Вам предстоит избавиться от этой чуши и небылиц об индейцах, а заодно и о ковбоях. Просто после того, как вы скажете чистую правду о ковбое, от него ничего и не останется. Но индеец не сам придумал эти небылицы о себе. Это мы придумали.

Белый человек практически не способен думать об индейце без сентиментальности или отвращения. Обычный, простой белый человек испытывает естественное отвращение к этим аборигенам, бьющим в барабаны. А интеллигент неизбежно впадает в сентиментальность, она преследует его, как запах тухлых яиц.

Почему? Оба эти чувства объясняются тем, что белый человек убежден: индеец не такой, как мы, белые. И он не идет с нами по нашему пути. Его жизнь протекает совсем в ином русле. И в ту минуту, когда вы смотрите на него, вы это осознаете.

Но выбор у вас невелик. Вы можете ненавидеть коварного дьявола за то, что он выбрал свой, совсем иной путь, а не наш, великий путь. Или же с помощью некоего внутреннего усилия обмануть себя и других, будто вы верите, что человек в перьях и в грязи, гораздо ближе к идеальным, истинным богам, чем мы.

Последнее — чепуха и бред. Но помогает сохранить хорошую мину при плохой игре. Чувство, которое испытывают простые люди, фермеры, владельцы ранчо, жители Запада, чувство инстинктивного, хотя и неагрессивного отвращения — вполне естественное, надо честно признать это.

Образ мыслей индейца отличается от нашего и губителен для нас. А наш образ мыслей отличается от его и губителен для него. Два пути, два потока никогда не соединятся. И не смогут сосуществовать. Меж ними нет моста, нет связи.

Чем раньше мы поймем и согласимся с этим, тем лучше, — нам следует оставить наши попытки, окрашенные сентиментальным чувством, переделать индейцев на свой лад.

Признать великий парадокс, коим является мироощущение каждого человека, — первый шаг к совершенству.

Образ мысли представителей одной ветви человечества уничтожает образ мысли представителей другой ветви. Другими словами, индеец и его образ мысли губительны для белого человека. Мы будем в состоянии постичь мироощущение индейца лишь тогда, когда наше собственное начнет гибнуть.

И будем надеяться, что это соображение не станет поводом для нового всплеска сентиментальности. Потому что тот же самый парадокс разделяет белого и индуса, полинезийца, банту. Это парадокс человеческого сознания. Притворяться, что все мыслят одинаково, — ввергнуть себя в хаос и небытие. Попытка один поток сознания выразить с помощью понятий и терминов другого, с тем чтобы разобраться в том и другом, поведет вас по ложному и при этом сентиментальному пути. Единственное, что вам остается, — поселить в своей душе маленький Призрак, который различает оба потока или даже много потоков. Ибо человек не может иметь разные мироощущения. Каждый принадлежит к одному определенному типу. Он даже может

менять его. Но ему не дано идти одновременно двумя путями, быть обладателем двух типов сознания. Это невозможно.

Одним словом, чтобы понять, что представляет собой развлечение для индейца, мы должны разрушить свое представление о развлечении.

Наверно, самое распространенное развлечение у индейцев — пение вокруг барабана вечером, на исходе дня. Европейские крестьяне тоже сидят у костра и поют. Но поют баллады или лирические песни, повествующие о пережитом несколькими людьми или одним человеком. И каждый соизмеряет собственные переживания с тем, что звучит в песне.

Рыбаки-туземцы с Гебридских островов тоже поют у костра напряженно и сосредоточенно. И у их песен есть слова. А иногда нет. Иногда лишь звуки и волшебная мелодия. Словно тюлень, плывущий по волнам к берегу, или самка-тюлень, поющая тихо и загадочно, отплывающая от берега, где обитают самцы, по волнам, назад, в царство других морских тварей, качающихся на воде и поблескивающих веселыми, ничего не выражающими глазами.

Это пение напоминает пение индейца. Но оно более ярко, в нем больше мыслей, чем в песнях индейца. Житель Гебрид ощущает себя полноценным человеком и вне мощных влияний окружающего мира, которые делают его жизнь столь опасной.

В пении индейца нет слов и образов. Лицо поднято к небу, глаза ничего не видят и не выражают, рот открыт и нем, звуки рождаются у него в груди, возникая где-то внутри, в душе. Он скажет вам, что это песня вернувшегося с охоты на медведя человека или песня-заклинание, чтобы пролился дождь, чтобы проросло зерно или — совсем современная песня — о колокольном звоне воскресным утром.

Но человек, вернувшийся с охоты на медведя, — это любой индеец, все мужчины, а медведь — любой медведь, все медведи. Нет личности, нет личного опыта. Охота, изнурительный, торжествующий демон человечества, побеждающий злого демона всех медведей. Опыт родовой, а не личный. Это опыт голоса крови, а не ума или духа. А потому это слабый, непрекращающийся, непрерывный ритм барабанной дроби, пульсирующий, как сердце — без души, но от него никуда не деться. Поэтому голоса индейцев звучат странно, безжизненно. Их опыт — это племенной, кровавый опыт. Поэтому нам кажется, что в их пении нет мелодии. Мелодию рождает глубоко личное переживание, так же как оркестровая музыка сливается в гармоничное целое из многих отдельных мелодий чувств и воспоминаний. Настоящая песня индейца — не индивидуальна и немелодична. Странные, хлопающие, каркающие горловые звуки и едва уловимый ритм, ритм страдающего сердца — они льются из широко открытого рта, из мощной свободной груди, из нутра, где великий поток крови струится во тьме и вздымается под напором родового опыта.

Все это, возможно, ни о чем вам не говорит. Для уха белого человека пение индейца просто неприятные звуки, напоминающие собачий лай под бой там-тама. Но даже если оно не вызывает в вас никаких чувств, страх и враждебность оно пробуждает непременно. Каким бы ни был дух человека, кровь — первооснова всего!

Или возьмем песню-заклинание, чтобы проросло зерно. Темные — непривычно темные — лица индейцев наклонены вперед. Ресницы слегка опущены, темные, беззащитные лица, не то старые, не то молодые. Барабан бьет подобно сердцу — непрерывно и упорно. И рвется наружу темперамент этих людей, расходится волнами от жаркой, темной, упорной крови в поисках животворящего начала, извечно парящего в небесах, повинувшись мистическому ритму созидательного пульса, проникает в глубь земли, в глубь прорастающего зерна пульсирующий, булькающий, хлопающий ритм, рожденный темной, животворящей кровью человека и вдыхающий жизнь в дрожащую, пульсирующую протоплазму зерна, пока оно не выльется ритмом своей животворящей энергии и не прорежется наружу листом и стеблем.

Или танцы в кругу, танцы вокруг барабана. Они бывают с названиями, а бывают и без названий. Танец для индейца прежде всего песня. Все мужчины поют хором, пока ступают мягким, но тяжелым птичьим шагом, поют на протяжении всего танца. В нем нет никакого действия. Тела немного наклонены, плечи и грудь расслаблены, налиты тяжестью, шаг мощный, но беззвучный, мужчины словно вбивают ритм в центр земли. Барабаны гремят пульсирующей, как удары сердца, дробью. Мужчины поют хором, хотя некоторые замолкают на мгновение, а то и на несколько минут. И так продолжается часами — танец по кругу.

У него нет названия. В песне нет слов. Это все ничего не означает, это не представление, у него нет зрителя.

Хотя не исключено, что это самое впечатляющее зрелище в мире: темнота, костер, бьют барабаны, вокруг застывшие сосны, вокруг кромешная тьма, и странные — то высокие, то низкие, накатывающие волнами, каркающие, гортанные звуки мужских голосов, — аах-х-хинг!

Что они делают? Кто знает! Может, они отдают себя во власть пульсирующего, неизбывного потока крови, который испокон века жаждет излиться в центр земли, а сердце, словно планета, пульсирует на орбите, поддерживая странное, одинокое существование какого-нибудь человека.

Но то, что мы подсознательно ищем во сне, индейцы, верно, сознательно ищут в своем танце по кругу. Это бесконечное возвращение крови домой. А нога тем временем тяжело, но тихо, выбивает ритм. Темная кровь падает вниз, возвращаясь от головы — мозга, зрения, речи, знаний — к великому главному источнику, колыбели неизреченного обновления. Мы, белые люди, дети духа, способны лишь видеть сны, которые кажутся нам отражением того, чем был забит наш день, просто осколками катастрофы, которое наше сознание пережило днем. Мы не способны осмыслить странное возвращение темной крови в недра земли в ритме чистого забвения и чистого обновления.

Или танцы вокруг костра, пантомимы, во время которых двое мужчин, украсив себя перьями орла, заслонившись щитом, исполняют боевой танец, танец копья. На самом деле, ритм тот же самый, барабаны отбивают пульсирующую дробь, ноги ступают птичьим шагом, тихим, но тяжелым птичьим шагом, они ступают так, словно пробиваются к центру земли. А еще мужчины слегка склоняются друг к другу — два обнаженных тела, защищенных лишь щитом и колышущимися могучими перьями. Они склонились друг к другу, подходят близко, кружат, осторожно, украдкой обходя противника и отступая от него, ритм барабанной дроби не нарушается, равно как и ритм тяжелой, но тихой поступи ног в мокасинах. Это танец нагого существа, в котором течет жаркая кровь, защищающего свою неприкосновенность в ритме Вселенной. Этот танец безыскусен, в нем нет мощи, героизма. Нет поединка двух мужчин. Существо со своим, отдельным, обособленным от всего прочего потоком крови, танцующее, рискующее в танце потерять свою неповторимость, придающее слишком большое значение своей независимости. Слава в силе человека, живущего своей независимой жизнью. Опасность, грозящая человеку, чье сердце, словно одинокая алая звезда в необъятной и сложной Вселенной, выбрало одинокий путь вокруг невидимого солнца нашего бытия, среди множества блуждающих других сердец.

За танцем наблюдают мужчины. Иногда они поют, иногда не поют. И они узнают себя в человеке с сильным и не страшщимся опасностей одиноким сердцем, в котором пульсирует свой, отдельный поток крови. И еще они наблюдают за искусством воина, его быстротой, устрашающей энергией натиска. В этом танце повседневная жизнь и мистика.

Или же возьмем мощное, красочное зрелище, например танец оленей или танец прорастающего зерна. Танец оленей исполняют на Новый год. Люди забираются на крыши — женщины, дети, старики — и наблюдают за происходящим. Две вереницы мужчин-охотников стоят лицом друг к другу. А вдали у ручья, резво бегущего меж деревьев, — зрители, захваченные происходящим. И наконец на бревенчатом мостике появляются две девушки, они ведут оленей: две девушки, в черных шалях и просторных, белых, из оленьих шкур ботинках, танцуют

в медленном ритме, едва слышно отбивая его ногой, они выглядывают из-под шалей, потом снова прячут лица, легонько трясут трещоткой из тыквы в такт ритму барабанной дроби. За девушками идут животные: два ряда мужчин, каждый изображает оленя — он укутан в оленью шкуру и идет, опираясь на тонкие палочки, заменяющие ему передние ноги, с головы свисают рога; или бизона в засаде — из засады высовывается лишь лохматая голова; или черного медведя, или волка. Так они, эти дикие звери, и идут двумя колоннами: олень, бизон, медведь, волк, койот, и — позади, замыкая шествие, — маленькие мальчишки, изображающие лис, они мягко, тихо ступают на носках, в полной тишине двигаются по кругу, освещенные зимним солнцем, следом за покачивающейся в танце парой девушек.

Все очень мягко, нежно, изящно. В их исполнении нет и тени суровости. Они ничего не изображают, даже не играют. Это мягкое, нежное существование в иной ипостаси.

И одновременно это игра, очень драматичный, наивный спектакль. Старики легко семянят рядом, смеются от души. Они испытывают острый, первобытный восторг, участвуя в такой безыскусной, естественной мистерии. Дразнят мальчишек в лисьих шкурах, а мальчишки стреляют своими круглыми темными глазами во все стороны, робея и конфузясь. Но они держатся все вместе, торжественно продвигаясь меж двух рядов диких охотников. Глаза — круглые от любопытства и восторга: ведь они участвуют в чем-то очень таинственном! И еще их забавляет, что на самом-то деле они — люди. То, что в развлечении этой буффонадой и некоторая доля веселья, нисколько не умаляет тонкого, пульсирующего чуда торжественности, коей преисполнены участники этого действия.

Тут все слилось воедино — пантомима, буффонада, комедийность. И в то же время они испытывают светлый трепет, глаза их распахнуты, сияют неизменным восторгом, который вызван этой торжественностью, словом, вы принимаете участие в безыскусном, естественном чуде. Мистерия, таинство этих первобытных существ заключены в их проворных движениях, в том, как они прячутся в зимние берлоги и норы, в том, как они покорно поддаются обаянию милых и грустных девушек, которые вышли на охоту за ними, чтобы запастись провиантом на зиму, а девушки идут за ними, идут по следу дикого, робкого и алчного зверя, идут в плену нежного колдовства — прямоком к приворожившим их мужчинам, в лагерь, к охотникам. Две длинные вереницы диких животных робко и медленно ступают за двумя медленно кружащимися девушками под темной бахромой шалей, а те гремят трещотками — в робком, быстром ритме со счетом на три и не поднимают своих больших темных глаз, спрятанных под темной шалью. Это торжество иной победы, торжество магической грусти женщины, мощи ее поиска, ее страстного желания найти зверя, желания, способного даже выманить из берлоги медведя.

Нам говорят, что драма родилась из этих ритуальных танцев. Греческая драма тоже.

Но от ритуального танца индейца до ранней религиозной мистерии древних греков — долгий путь. У греков обычно присутствует некое божество, бог, которому посвящается представление. Бог — свидетель, главный зритель драмы. Все происходящее на сцене — слова благодарности этому богу. В этом — истоки театра с его актерами и зрителями.

У индейцев все по-другому. У них нет никакого бога. Индейцы не считают, что они созданы кем-то, что они — твари, живущие вне бога, или божьи твари. У индейца нет понятия бога. Сотворение мира — это великий поток, неизбывный, с прекрасными и ужасными волнами. Во всем — мерцание творения, и процесс творения нескончаем. Нет различия между богом и божьей тварью, между Духом и Материей. Все, все суть прекрасное мерцание творения, мерцание может быть губительным — как вспышка молнии или вспышка гнева в крохотных глазках медведя, может быть дивным — как бегущий олень или ветви сосны, мерно покачивающиеся под хлопьями снега. Творение дарит нам заклятого врага, закадычного друга, дарит нам девушку, ее нежную грусть, девушку, приносящую в жгучие морозы пищу. Но даже эта нежная грусть страшна и опасна для диких зверей — для оленя, и медведя, и бизона, ибо они обречены погибнуть.

У них нет Бога в нашем понимании этого слова. Но все сущее у них божественно. Нет Великого Разума, управляющего Вселенной. Однако тайна сотворения света, чудо и красота творения мерцают в каждом листике и камне, в каждой колбочке и каждом бутоне, в ядовитом зубе гремучей змеи, в красивых спокойных глазах молодого оленя. И совсем другие проявления жизни — рычание горного льва, листья тополя — тоже чистейшее чудо творения. Воин-апач, раскрашенный боевыми узорами, выкрикивающий победные кличи и перерезающий горло старухам, — тоже частица таинства творения. Он столь же божествен, как и прорастающее зерно. Таинство творения заставляет нас точить свои ножи, и, преисполненные решимости, мы направляем стрелы своих луков против него. Так должно быть. Это тоже часть чуда. А мы должны найти ответ любому проявлению чуда.

Индейцы принимают распятого Христа, как принимают любые проявления чуда. И распятый Христос, равно как и скорбная Богородица, нисколько не мешают им исполнять свой воинственный боевой танец. Храбрец возвращается домой со скальпом. А утром идет к мессе. Два таинства! Душа человека — театр, в котором разыгрываются обе мистерии, присутствуют оба таинства. Иисус, Дева Мария, танец змеи, алая кровь на лезвии ножа — все это пульсация неизреченного, животворного потока, и все это, в каком-то примитивном плане, и есть Природа.

Здесь нет разделения между актером и зрителем. Все слились воедино.

Здесь нет Бога, которого можно прозреть. Единый Бог здесь является постоянно в удивительном чуде постоянного сотворения сущего. Бог полностью погружен в сотворенное им, словно для того, чтобы Его нельзя было отделить от сущего и узреть. У индейцев нет Идеального Бога.

Теперь вы можете понять разницу между представлениями индейцев и ранней драмой древних греков. С самого начала на драматическом представлении в Старом Свете присутствовал зритель, пусть даже и в ипостаси Самого Бога или Самой Богини, им-то и предназначалось действие. И этот Бог или Богиня в результате растворились в Разуме, одержимом идеей, мыслью. Путем долгой эволюции мы сами стали богами нашей собственной драмы. Спектакль теперь предлагают смотреть нам. И мы сидим, возвышаясь над всем происходящим, на троне собственного Разума, одержимого одной доминирующей идеей, и судим о представлении.

В индейском танце нет ничего подобного. Нет Бога. Нет Зрителя. Нет Разума. Нет доминирующей идеи. И, наконец, нет оценки происходящего, никакой оценки.

Индеец целиком поглощен чудом своей драмы. У этой драмы нет ни начала, ни конца, она включает в себя все. Ее нельзя оценивать, потому что вне ее нет ничего и никого, кто оценил бы ее.

Разум здесь выполняет роль слуги, который обязан сохранить человека чистым и честным для таинства, постоянно присутствующего в представлении. Разум склоняет голову перед таинством творения, даже если творец — ужасный воин-апач. Он не решает, хорошо или плохо то, что он видит перед собой, а лишь — правда это или ложь. Воин-апач во всем своем зловещем обличье — правдив в мистерии, которую он создает. А потому с ним следует сражаться. Нельзя сказать, что он — пример лжи, выдумки. Значит, его нельзя поставить в один ряд с мерзавцами, трусами, лжецами, всеми теми, кто предает чудо.

Индеец, будучи существом невинным, чистым, знает только две заповеди, гласящие, чего он не смеет делать:

«Не лги».

«Не будь трусом».

И одну заповедь, гласящую, что он должен делать:

«Поверь в чудо».

Ибо дьявол — во лжи и трусости. А колдовство, то есть попытка извратить, испортить чудо творения своим разумом, волей, своей ложью, — зло.

А добродетель? Добродетель заключена в героическом отклике на чудо творения, полной отдаче себя этому чуду. Мужчина должен использовать всю свою силу, чтобы встретить чудо и двигаться с ним вперед. Женщина должна использовать всю свою тонкую, восхитительную чувствительность, которая притягивает к ней чудо, а мужчину — к этому, заключенному в ней чуду, ведь благодаря ему она выманивает даже диких зверей из зимних берлог.

Вы можете это наблюдать во время гонок индейцев. Голые, измазав себя грязью, чтобы скрыть наготу и принять мощь земную, облепив себя пухом и перьями с подбрюшья орла, чтобы принять мощь небесную, взрослые мужчины и юноши бегут по дороге эстафетой. Это забег не ради выигрыша. Это забег не ради приза. И забег не ради того, чтобы продемонстрировать свою силу.

Они бегут, полностью выкладываясь, в диком напряжении, испытывая физические и душевные страдания и экстаз, стремясь вобрать в себя как можно больше животворного огня, животворной энергии, которые помогут его племени пережить год, пережить испытания, выпадающие на его долю месяц за месяцем, бегут вперед и вперед — в бесконечной гонке всего человечества по бесконечной дороге среди бездорожья сотворенного мира. Это героическое усилие, священное героическое усилие, которое люди призваны совершить, призваны совершать его постоянно. Словно выброшенный катапультой, юноша-индеец бежит, напрягаясь всем телом — странным и непостижимым для нас образом. А когда снова приходит его черед, он бросается вперед с еще большим рвением, на еще большей скорости, словно устремляясь в самое сердце пламени. И старик, стоящий у обочины, вдохновляет его, погоняет зелеными ветками, смеясь, насмешничая, поддразнивая, но одновременно испытывая удивительно чистое волнение и заботу о нем.

И вот, наконец, он уходит прочь, грудь его тяжело вздымается, взгляд отсутствующий, ведь он бежал вместе с неизменным богом, который никогда ничем не одарит нас, пока мы не победим его.

6. Танец прорастающего зерна

Бледная, сухая, выжженная земля, над ней — поземка мельчайшей пыли. Низкие холмы выжженной зноем бледной земли, тяжело спускающейся по склонам, кое-где покрытой веснушками зарослей кедра. Речушка на высушенной земле, просто расселина, по которой течет струйка красно-коричневой воды, кажущейся потоком. И над всем этим — синее, тревожное, ядовитое небо.

Бледный, неровный, иссушенный мир, в котором по песку прыгает машина, покачиваясь и вихляя. Мир, выбеленный зноем, необитаемый из-за слабого привкуса ядовитой щелочи. Словно плывешь по дну высохшего миллионы лет тому назад моря, только зной небывалый, нестерпимый, но все-таки след моря незримо присутствует здесь, — песчаные холмы, кажется, вот-вот потонут, вокруг прямые столовые горы в глубоких трещинах, напоминающих трещины в высохшей грязи, намытой морскими волнами.

В сторонке, поодаль от pueblo, притаилась церквушка-мазанка, ее почти и не видно. А на фасаде из самана, прямо под деревянным скосом крыши, — две пегие лошади, стоящие на дыбах, рыжая и черная. Их нарисовали индейцы.

Послышался шелест. Над бревнами мостика, под которым бежит коричневый ручей. А внизу — пуэбло, домишки-мазанки, словно лепешки из грязи, сгрудились в беспорядке, готовые превратиться в прах и сгинуть, прах — к праху, земля — к земле.

Почему они не разрушаются, остается загадкой. Почему маленькие квадратные кучки грязи держатся веками, тогда как мраморные палаты греков разваливаются, и их соборы вот-вот рухнут, — невозможно понять. Просто человек с горстью мягкой глины в руке опережает время, побеждает века.

Низкие квадратные мазанки, словно лепешки из грязи, тянутся вдоль широкой улицы, повсюду — голая земля, лишь то тут, то там — порог дома или оконце с бледно-голубой рамой. В конце улицы — поворот на другую, параллельную, широкую, пустынную улицу. А там, в пустом, уходящем вдаль пространстве колышется лесок, островок жизни, оттуда доносятся дробь барабана и пение мужских голосов, напоминающее вздох ветра в глубине леса.

И вы осознаете, что уже издали слышали дробь барабана и глухое пение, но не обратили на это внимания, как не обращаете внимания на ветер.

Все колышется, словно молодые гибкие деревца на ветру. Это — танец прорастающего зерна, каждый его участник держит в руках маленькую веточку зеленой сосны. Бух-бух-бух-бух! — гремит барабан, грузно подпрыгивают мужчины, плавно колышутся ветки сосны. Все колеблется будто небольшой лесок, а низкий звук мужских голосов напоминает глухое завывание ветра где-то в самой чаще. Индейцы исполняют танец прорастающего зерна.

Сегодня среда после Пасхи, после Воскресения Господня, после дня первых побегов. Индейцы танцуют в понедельник и во вторник. В среду — третий и последний танец этого зеленого Воскресения.

Вы видите длинную цепочку танцоров, густую толпу мужчин, облепивших барабанщика. Видите черно-белую фантазию скачущего koshare*, шутов, танцоров, вызывающих у вас восторг. Вы слышите перезвон колокольчиков на подвязках на коленях мужчин, непрерывный звон колокольчиков и внезапный вой, раздавшийся рядом с барабаном. Потом слышите дробный звук трещотки из тыквы, напоминающий стук падающего зерна, — танец меняется, и качающиеся зеленые ветки сосны сливаются позади танцоров в широкую зеленую ленту.

Медленно двигается навстречу вам черная сплошная масса танцующих женщин — подобно густой тени, за покачивающимся мужчиной, плотно придвинувшись к нему, плывет женщина. Длинные шелковистые волосы струятся по спине, точно так и блестящие струящиеся волосы мужчин покрывают их широкие голые оранжево-коричневые плечи.

Вы видите лица этих женщин — бесстрастные, полноватые, с золотистым загаром, с подведенными глазами, в короне из зеленой tableta*, напоминающей плоскую тиару. В этих бесстрастных босоногих женщинах есть нечто странное и благородное, они в черных коротких платьях, мягко ступают в ритме танца, едва заметно двигаясь, но тем не менее ритмично плывут вперед, размахивая зеленой веткой сосны в такт барабанному бою; они плывут вслед крадущимся танцорам в лисьих шкурах. И эти tabletas, изумрудно-зеленого цвета, плоские деревянные тиары, напоминающие врата в замок, подвязанные широкой лентой под подбородком, гордо возвышаются над их слегка склоненными головами. Все tabletas вытянулись в один ряд, изумрудно-зеленые, почти недвижные, а блестящие черноволосые головы мужчин медленно покачиваются между ними.

Постепенно вас захватывает это зрелище. Вы пока что не составили себе полного представления о происходящем, только видите перед собой какой-то лес, небольшую группку деревьев в движении, блестящие черные волосы и золотисто-красные торсы, впрочем, они не нарушают этого образа леса.

А когда вы смотрите на женщин, вы забываете о мужчинах. С обнаженными руками и ногами, с ниспадающими волосами и горделиво возвышающимися зелеными тиарами, эти женщины — лица их бесстрастны, опущены долу — размахивают веточками ритмичным, легким движением запястья. Женщины облачены в черную, старинного покроя короткую тогу, застегнутую на одном плече, другое плечо обнажено, под мышкой виден край розовой или белой нижней рубахи, платье подхвачено плетеным шерстяным поясом, расшитым алыми и зелеными нитками. Благородный и смиренный, легкий наклон головы, увенчанной тиарой. Маленькая, будто птичья, нога, ступни плоские, и, отталкиваясь от земли, они будто прилипают к ней, а потом мягко отрываются. Непрерывное покачивание сосновых веток.

Но когда вы смотрите на мужчин, вы тотчас забываете о женщинах. Мужчины обнажены до талии, золотисто-красный торс в ритмичных прыжках танца склоняется долу, сильное, мощное тело опускается все ниже, ниже, ниже в такт музыке. Черные волосы потоком струятся вниз по спине, прямые черные брови, темные глаза смотрят из-под шелковых ресниц с одним и тем же выражением. Они красивы, они поглощены завораживающим ритмом танца, но следят за происходящим, не теряя контроля над собой. Все ниже, ниже и ниже они опускаются в тяжелом непрерывном движении танца, на обнаженной груди подпрыгивают жемчужные ожерелья, они прыгают вверх и вниз, короткий белый килт из ткани с вышивкой толстой шерстяной ниткой — зеленой, красной и черной — то обнажает, то прикрывает мощные колени.

Тяжелые белые веревки, свисающие сбоку с пояса на килте, отлетают и скручиваются вдоль правой ноги, до самой лодыжки, колокольчики на красной подвязке под коленями непрерывно раскачиваются, а нога в башмаке из шкуры антилопы, отороченном возле лодыжки полоской из дивного меха скунса, черного с белой каймой по краю, ступает красиво, мощно, мягко и уверенно — сначала одна, потом другая, впечатывая шаг в землю. Держа в правой руке черную трещотку из тыквы, в левой — маленькую зеленую ветку, танцор исполняет вечный прыжок вниз, тот, что катит его жизнь по наклонной — все ниже, и ниже, и ниже, сначала мысленно, потом она опускается вниз по его широкой красивой груди, потом по мощным коленям, потом по лодыжкам, потом через ступни уходит глубоко в землю, туда, к алой сердцевине земли, которой принадлежат все эти люди, они обозначают свою причастность ей, покрывая себя красной глиной.

А тем временем жемчужины со дна Тихого океана непрерывно подпрыгивают на их груди.

Бездумно, без усилий, под палящим солнцем, не останавливаясь, не потея и не задыхаясь, они продолжают танцевать. Бездумно, но одновременно прислушиваясь и наблюдая за всем вокруг. Они слышат глухое, призывное пение стариков, звучащее будто вздох ветра. Они слышат крики и вопли человека, бьющего палочкой по барабану. Они ловят слова песни, и в одно мгновение начинают греметь трещотками, поворачиваются, строй распадается, женщины отходят от мужчин, потом образуют новые ряды. А пока мужчины идут по кругу, их черные волосы сияют и колышутся, лисьи шкуры тоже колышутся, как хвосты. И всякий раз, когда люди выстраиваются в новый ряд, образуется длинная красивая линия, трепещущая, словно сама жизнь, прямая, словно струи дождя.

Старики и пожилые мужчины сгрудились вокруг барабана. Они стоят тесной группкой, в обычной одежде, в просторных хлопчатых панталонах, розовых или белых хлопчатых рубахах, волосы стянуты сзади красной тесьмой, а на голове — полоска розовой, или белой, или голубой материи. Так они и стоят, плотно и тесно, словно пчелиный рой, их черноволосые головы в розовых повязках близко склонились друг к другу, мужчины держат сосновые веточки в гибких обветренных руках, размахивают ими, легонько топают в такт музыке, чаще всего правой ногой, и без остановки поют, их темные глаза полны происходящим, темные губы приоткрыты, а глубокий сильный звук вырывается изо рта подобно ветру, и непонятные слова сами собой рождаются в темноте.

Внезапно держащийся особняком человек, барабанщик, переворачивает барабан и начинает бить по тыльной стороне, на более высокой ноте: вместо басовых — бух!-бух!-бух! — раздаются

тонкие звуки. Внимательно следящий за всем человек, стоящий рядом с барабанщиком, начинает кричать и раскачиваться на носках. Кошары делают странные, выразительные жесты, обращенные небесам.

И снова блестящие темно-бронзовые мужчины, танцующие шеренгами, потрясают трещотками, нарушают ритм, переходят на неожиданно красивый шаг, длинные ряды внезапно разбиваются на кольца, на четыре кольца танцоров, прыгающих, будто светящихся, мужчин, в плотной, нежной, податливой черноте женщин, украшенных изумрудными тиарами; а потом они все вместе образуют кольца. Потом снова медленно перестраиваются, на этот раз образуя звезду.

И постоянно, постоянно обнаженные кошары семят рядом. Темно-бронзовых танцоров сорок два, возле каждого — смуглая, увенчанная короной женщина, следующая за ним тень. Стариков, певцов в рубахах, с завязанными сзади черными волосами, — около шестидесяти, вернее, шестьдесят четыре. Кошаров — двадцать четыре.

Кошары — изящные и обнаженные, вымазанные черной и белой землей, волосы у них выкрашены белой краской и собраны в узел на темени, откуда торчит пучок колосьев и сухих листьев злаков. На них нет ничего, кроме маленьких квадратных лоскутов материи, прикрепленных спереди и сзади, но сбоку они не кажутся голыми, потому что одни разрисованы черными пятнами, как у леопардов, а у других, на вымазанной грязью коже нарисованы широкие черные линии и зигзаги, и лица у них — черные, испещренные треугольниками и ровными линиями, так что они смахивают на маски колдунов. Волосы, выкрашенные в белый цвет и собранные в узел, с пучком колосьев, торчащим из узла, довершают фантастическую картину. Они абсолютно нереальны. Похожи на черные привидения мертвых злаков, что торчат пучком у них в волосах.

И они беспрерывно бегут, подобно странным пятнистым собакам, словно вплетают незаметно в танец других свой забавный колдовской узор, зримый и прекрасный, прорезая ряды, пробегая вдоль них вперед и назад, изящно жестикулируя гибкими руками, красивыми движениями что-то призывают с небес и из недр земных, не останавливаясь ни на мгновение. И внезапно, уловив какое-то слово певцов, означающее звезду, или ветер, или солнце, или облако, они вздымают руки вверх, потом соединяют их и медленно опускают. И снова, когда они слышат слово, означающее землю, земные недра, подземные воды или колебание красной земли, их руки медленно опускаются, они словно набирают воду, сгребают землю, поднимают ее к небу — небо к земле, силы небесные к силам земным, чтобы они встретились в ростке зерна, там, где теплится жизнь.

Мужчины танцуют, а кошары наблюдают за танцующими мужчинами. И если у кого-нибудь чуть-чуть распахивается у пояса лисья шкура, другие запахивают ее на нем посильнее, продолжая танцевать, или наклоняются и завязывают развязавшийся шнурок на башмаке. Потому что танцор не должен нарушать ритма до конца танца.

А потом, спустя сорок минут, барабан смолкает. Танцоры медленно выстраиваются в один ряд, за мужчинами встают женщины, и все молча уходят к kiva* под слабые звуки колокольчиков на коленях мужчин.

Но в то же самое мгновение до нас начинает откуда-то доноситься звук невидимого барабана, гул низкого голоса. Это другая половина племени идет продолжить танец. Они появляются вокруг kiva — кошар и танцор, они ведут за собой ряды танцоров, с ними старик, он очень громко поет.

И так — с десяти утра до четырех дня — сначала одна половина племени, потом другая. Пока наконец день не начинает угасать, тогда обе половины встречаются, и пение одной группы подхватывает другая, подобно урагану, порывы которого догоняют друг друга, а густая чаща ветвей превращается в настоящий лес. Конец третьего дня.

А потом мужчины и женщины собираются на двух низких круглых башнях, kivas, кошары бегают вокруг них, кривляются, шутят, собирая пожертвования у женщин — караваи хлеба и лепешки из голубого маиса. Женщины пришли сюда с большими корзинами хлеба и гуавы в обеих руках — это их пожертвование.

И таинство прорастания новых побегов, а не продолжения рода, таинство импульса движения вперед, Воскресения, зарождения жизни в зерне, — состоялось. У небес — свой огонь, свои хляби, звезды, электричество, ветер, персты холода. У земли — созревшая плоть, невидимое горячее сердце, подземные воды, много жизненных соков и неисчислимое богатство всего прочего. И между ними — крохотное зерно, а еще человек, точно зерно, — постоянно в заботе и в работе. И с горных вершин и дольных низин человек, гость на этой земле, приходит сюда, мудрец сохраняет все ценное, полученное им в наследство от прежних поколений, и передает следующим, но простой человек, такой ранимый и зависимый, даже в своей ранимости и зависимости остается хозяином, распоряжается невидимыми знаниями и опытом и подчиняется им.

Распоряжается с помощью этой песни, этой ритмической энергии танца, этого шутовства кошаров. А заканчивает свое действие уже в качестве хозяина. Он принимает участие в прорастании зерна, и вот оно дает молодые побеги, потом дает завязь, потом колосится. А когда он наконец получает свой хлеб и ест его, он возвращает себе все, что когда-то отдал, и снова принимает участие в передаче энергии зерну, которую обретает в необъятной Вселенной.

7. Танец змей в Хопи

Хопи живут в Аризоне, рядом с навахо, около семи-десяти миль к северу от железной дороги, ведущей в Санта-Фе. Хопи — пуэбло индейцев, их поселение; резервация у них небольшая. Она представляет собой квадратную площадку сероватой, невзрачной, бесплодной земли, над которой высятся три высокие, выжженные солнцем столовые горы, со временем превратившиеся в зубчатые белые скалы. На вершине гор прилепились убогие сероватые пуэбло, точь-в-точь такие же, как горы, на которых они ютятся.

Самое ближнее поселение — Уолпи, полуразрушенное пуэбло, приткнувшееся высоко-высоко, почти на вершине узкой горы, где испокон века ничто не радовало глаз. Все серо, совершенно серо, совершенно белые камень и пыль, все стиснуто, тесно. А внизу — слепящий свет знойного солнца Аризоны.

Уолпи называют первой столовой горой. А на дальнем склоне Уолпи видны скрюченные клювы, когти и кости орлов, принесенных в жертву, — они лежат в расселине под открытым небом. В конце каждого года там приносят в жертву орла — его спугивают, потом хватают и душат, но так, чтобы не пролить ни капли крови. Потом бросают в сухую расселину, что в выступе дальней серой вершины.

Тропинка, вся в чудовищных ухабах, тянется на тридцать миль, мимо второй столовой горы, где стоит пуэбло Чимопова, к третьей горе. Воскресным днем 17 августа черные автомобили один за другим, прыгая по ухабам, ползли по серой пустыне, где унылые, серые, цвета шалфея, тона переходили в мертвенно-желтые. Черный откидной верх автомобиля ползет за черным откидным верхом другого, подобно похоронному кортежу. Машины с туристами направляются к третьей, самой дальней столовой горе, преодолевая тягостные тридцать миль по этой пустыне, где вращает крыльями странная мельница, мимо лоскутов земли, где трепещет от ветра пшеница, развеивается и колышется, словно женщины в темно-зеленых платках с бахромой, недалеко от подножья большой серой шероховатой столовой горы.

Танец змей (так мне сказали) происходит раз в год на каждой из трех столовых гор по очереди. В этом благословенном 1924 году он состоится в Хотевилле, последнем поселении, на самой дальней, западной вершине третьей горы.

Машины продвигаются вперед. Вдалеке — вторая столовая гора, она стоит особняком. Вперед, вперед, к призраку в лохмотьях, к третьей горе.

На третьей горе два основных поселения — Ораиби, что стоит у ближнего края, и Хотевилла, оно на дальнем склоне. Машины карабкаются вверх, на четырех лапах, точно черные жуки, мимо школы и магазинчика, вверх по голой скале, объезжая огромные камни, проходят подъем и головокружительно крутые повороты — до края неба, где пристроилась довольно нелепая церквушка. А чуть дальше — серая, выжженная зноем, разрушенная, явно заброшенная деревня Ораиби, несколько жалких каменных лачуг. Машины преодолевают этот тяжкий путь, но пассажирам явно не по себе.

Вы медленно взбираетесь по скале, еще несколько миль по высокой, обдуваемой ветрами столовой горе, и наконец оказываетесь в Хотевилле, где состоится этот танец и где в рощице рипоп* уже стоят сотни машин.

Хотевилла — крошечная деревушка, несколько серых лачуг из нетесаного камня и глины, сгрудившихся вокруг небольшой прямоугольной plaza, часть из них полуразрушены. Один большой двухэтажный дом на этой площади тоже разрушен, зияет большими квадратами пустых окон.

Это выжженный, серый край змей и орлов, затерявшийся на вершинах гор, под самым небом. Несколько темнолицых, низкорослых, ширококостных индейцев выращивают под самым небом, здесь, на песке, персиковые деревья, выращивают бобовые и тыквы на голом песке, пьют воду из ручейков с солоноватой, неприятной на вкус водой.

В этом году три тысячи человек приехали посмотреть танец маленькой змеи, преодолев долгую дорогу по пустыне и ухабам. Три тысячи самых разных людей, вполне культурные жители Нью-Йорка, Калифорнии, вечно спешащие туристы, ковбои, индейцы навахо, даже негры. Отцы, матери, дети, люди всех возрастов, цветов кожи, всех размеров, всех степеней любопытства.

Зачем они приехали? В основном, чтобы увидеть, как мужчины держат во рту живых гремучих змей.

— Я никогда не видела живую гремучую змею, так хочется увидеть ее! — кричала девочка с короткой стрижкой.

Сейчас ты это увидишь. Люди ползли сотни миль, терзаемые жаждой поглазеть на это цирковое представление — мужчины с гремучими змеями, готовыми в любое мгновение укусить их, да они и кусают их. Вот это зрелище!

Но в танце змей есть и другая сторона — ритуальная. Зритель может наблюдать за этим зрелищем, как за культурным феноменом, к примеру, он так же смотрит на Анну Павлову, танцующую в русском балете.

А есть иной взгляд на происходящее, религиозный. До начала танца змей, в понедельник, когда разношерстные, сгорающие от любопытства зрители сели плотным кольцом, так что яблоку негде упасть, прямо на землю на площади, столпились в окнах и на крышах, им произносят краткую речь, суть которой в том, что зрителей просят вести себя тихо и относиться с почтением к происходящему, ибо это сакральный, религиозный ритуал индейцев хопи, а не светское представление. Поэтому, говорят им, просим вас не хлопать, не выкрикивать приветствия, а помнить, что вы находитесь в храме.

Аудитория принимает скрытый укор относительно ее религиозности и с насмешкой оглядывает «храм». Но здесь собрались люди добродушные, достойные, готовые уважать любые чувства ближнего. А индеец со своей «религией» — кумир публики.

Как культурный феномен танец хопи со змеей ничего собой не представляет, обычный цирковой номер или уличная детская игра. В нем нет впечатляющей красоты танца прорастающего зерна Санто-Доминго, к примеру. Большие *rueblo* Зуни, Санто-Доминго, Тао сохранили традиции, культуру, а в танце хопи со змеей этого не увидишь. Он скорее неуклюжий, чем красивый, да, скорее неуклюжий и ужасающий. Отсюда нервное возбуждение и толпа зрителей.

С точки зрения культуры, это всего лишь цирковой номер, мужчины танцуют со змеями, ядовитыми змеями, свешивающимися у них изо рта.

В плане религиозного ритуала, вы можете или вежливо и терпимо отнестись к этому представлению хопи, как обычный зевака, или же в вас тоже вспыхнет искра понимания религиозного смысла происходящего.

— Эти индейцы, — услышал я слова одной женщины, — они считают, что они все между собой братья и змеи — братья индейцев, а индейцы братья змей. Индейцы никогда не обидят змею и не причинят ей зла, они вообще никакому животному не причиняют зла. Поэтому змеи никогда не кусают индейцев. Они все братья, и никто никого не обижает.

Все это звучало очень мило, но больше относилось к индусам, чем к хопи. Сам танец не несет в себе братских чувств. Его ни в коем разе нельзя сравнить с тем, как святой Франциск молился за птиц небесных.

Анимистская религия, как мы называем оную, не является религией духа. Религией духов, но не Духа. У индейцев нет Единого Духа. Нет Единого Бога. Единого Творца Вседержителя. Строго говоря, у них вообще нет Бога — потому что все и вся живое. В нашей религии есть Бог и Сотворенное Им, это два понятия. Мы — дети Господа нашего, поэтому мы молимся Ему — Отцу, Спасителю, Творцу.

Строго говоря, в религии аборигенов Америки тоже нет Бога Отца и нет Бога Творца. Есть животворящий источник жизни, то есть Солнце всего сущего, которому не надо молиться, как не надо молиться электричеству. И это Солнце порождает великие потенциальные неукротимые возможности, которые даруют нам свет, тепло и дождь. А из этих взаимосвязанных потенциальных возможностей дождя, тепла и грома прорастает побег самой жизни, зерно и всякие твари, подобные змеям. И венец творения — люди. Но все проявляется по отдельности. Ни в чем нет единства, нет стремления отождествить себя с остальными. Закон одиночества — тяжкое бремя, лежащее на каждой твари.

Итак, Солнце, дождь, свет, гром — живые. Хотя это не люди и не народ. Они живые. Они — проявление и подтверждение жизненной активности. Но они не персонифицированные Божества.

Все вокруг живое. Гром живой, и дождь живой, и солнечный свет живой. Но они не персонифицированы.

Как человек вступает в контакт с бесконечными проявлениями жизнедеятельности дождя, грома и солнца, ибо они — проявление жизни и силы, но подобно животным — непонятны и загадочны? Как удастся человеку войти с ними в контакт — с этими самыми мощными из всех космических животных?

Это многовековая проблема, стоящая перед человеком. Наша религия исповедует, что космос — это Сущее, которое должен покорить Дух человека. Йоги, факиры, святые стараются покорить его физической мощью. Подлинный покоритель космоса — наука.

Американские индейцы не различают Дух и Сущее, Бога и не-Бога. Все — живое, хотя и не всегда персонифицировано. Гром — не Тор и не Зевс. Гром — это мощный реальный гром, напоминающий о себе, подобно непостижимому монстру или громадной птице-рептилии доисторических времен.

Как победить гром с пастью дракона?! Как поймать перья дождя?!

Мы роем водоемы, ирригационные каналы и артезианские колодцы. Мы создаем проводники электричества, строим большие электростанции. Мы говорим, что это — дело науки, энергии, силы.

Но индейцы говорят: «Неправда! Это все живое!» Просто надо открыто, с глубочайшим уважением, а также с отчаянным мужеством подойти к ним, встретиться с ними лицом к лицу. Потому что человек должен покорить космического монстра живого дождя и грома. Дождь, проливающий воды из своего источника, приливы и отливы, с их непонятной нам энергией, жизненную природу которой признают даже наши ученые, — все это суть жизни, и все это человек должен покорить. Покорить Дождь, весь в перьях, похожий на полоски серпантина.

А мы одерживаем победу над ним, строя плотины, водоемы и мельницы. Индеец, подобно древнему египтянину, стремится одержать победу над Космическим Драконом, опираясь на собственные мистические силы.

Мы должны помнить, что согласно анимистскому мировоззрению, у нас нет никакого совершенного Бога, сотворившего нас и предопределяющего весь ход вещей. Нет такого Бога. Есть только чудовищный ужасный грубый Источник, мистическое Солнце, источник всего и вся. Из этого мистического Солнца возникают Драконы, Дождь, Ветер, Гром, Свет, Потенциальные энергетические возможности. А они дают жизнь Земле, рептилиям, птицам и рыбам.

Потенциальные энергетические возможности не Боги. Они Драконы. Солнце Творения тоже чудовищный дракон, безграничный и самый мощный, но тем не менее, он не мощнее нас. Единственные боги на земле — люди. Ибо боги, как и люди, не существовали до сотворения мира. Они возникли постепенно, благодаря безмерному усилию, из огня в горниле жизни. Они высшие творения, выплавленные в горниле Жизни-Солнца, выкованные на наковальне Дождя молотами грома и порывами ветра. Космос — огромное горнило, берлога дракона, где герои и люди-полубоги готовят себя к жизни. Это огромная жестокая матрица, где души, подобно алмазам, обретают свою оболочку под огромным прессом.

Так что эти боги — следствие, а не причина. А лучшие из них — люди. Но боги гибнут, как цветы, тогда как искра божья в тварях, спасшихся от когтей дракона-космоса, может сделать их совершенными. Человек подобен цветку, дождь может убить его или помочь ему, зной может обжечь его своим слепящим хвостом и уничтожить или же, наоборот, может осторожно вызволить из яйца космоса и даровать ему жизнь. Человек — нежный цветок, он божествен в отличие от цветка, но его власть над всем сущим весьма ненадежна и хрупка.

Он должен одержать победу, сохранить завоеванное и вновь одержать победу. Победить силы космоса. Для нас наука — религия победы. Благодаря науке мы стали победителями и божествами земли. Но для индейца так называемый механический процесс не существует. Все вокруг живое. И только животворящая воля дарует победу.

Такова религия всех аборигенов Америки. Перуанцев, ацтеков, атабасканов, а может, такова религия всех аборигенов мира. Но для индейца, жителя *ruablo*, самый чудовищный дракон все равно обладает добрым сердцем.

Вернемся к хопи. У него нелегкая задача, ему противостоит сама судьба. Его внутренний голос повелел ему поселиться на вершине этих выжженных солнцем столовых гор, этих скал, среди орлов, песка и змей, и ветра, и солнца, и щелочи. Он все это должен был покорить.

Не в буквальном смысле слова покорить все то, о чем мы упоминаем, не естественные условия окружающего его мира, но мистический дух, который царствует там. Покорить орла и змея.

Это судьба, как и любая другая. Судьба анимистской души человека, не в пример нашей судьбе Разума и Духа. Мы с помощью науки покорили внешние силы, природные явления. Это было сравнительно легко, и мы стали победителями. Взгляните на наши черные автомобили, подобно черным жукам ползущие по горам в Орайби. Взгляните на три тысячи наших туристов, собравшихся поглазеть на двадцать одиноких мужчин, исполняющих ритуальный танец змеи!

Хопи взыскивают победы мистическим путем, животворящая воля человека, сокрытая в нем самом, вступает в поединок с животворящей силой дракона-космоса. В давние времена египтяне сумели отчасти одержать победу таким же путем. Мы одержали частичную победу другим путем. Наше зерно не подвело нас — у нас нет семилетнего голода, и никогда не будет. Но нас подвело иное — странное внутреннее солнце жизни, и мы никогда не увидим чистые полосы монстра-дождя. Нам небеса зажигают днем свет и включают душ. Мы божки всего лишь механических поделок. Они наше высшее достижение. Наш космос — огромная машина. И мы умираем от тоски и скуки. И коварный дракон жалит нас, купающихся в изобилии и достатке. *Quos vult perdere Deus, dementat prius.*

Воскресным вечером на площади в Хотевилле исполняется первый небольшой танец, который называется танцем Антилопы. На маленьком прямоугольном пятачке душно, по южному краю его торчит пучок зеленых, будто ватных, похожих на перья, кустов, а под ними видна маленькая крышка ловушки. Говорят, там — змеи.

Говорят, что двенадцать старейшин змеиногo клана этого племени девять дней ходили по горам, охотясь на змей. Потом они священнодействовали над змеями еще девять дней в *kiva*, а два дня постились, не брали в рот ни крошки. Все это время они ухаживали за змеями, мыли их, осматривали, умиротворяли, передавали им свою духовную силу и заряжались их состоянием. Духовную силу человека, умиротворяющую, сочувствующую и откликающуюся на внутренний настрой змей. Змеи более простые организмы, они ближе к великим пульсирующим силам. Ближе к безымянному Солнцу, не боящиеся его и косых струй дождя, ведающие о том, куда ступает невидимая нога дождя-монстра, обитателя небес. Змеи — посланники человека богу-дождю. Змеи ближе к источнику энергии, темному, беспощадному солнцу, затаившемуся в недрах земли. Для культурного анимиста, каковым является сельский индеец, темные недра земли удерживают свое темное солнце, наш источник одинокого существования — вокруг этого солнца и свернулся наш мир, подобно огромной змее. Змея ближе к темному солнцу и больше знает о нем.

Говорят, — в народе говорят, — что гремучие змеи не мигрируют. Они обитают в одних и тех же местах и там же умирают. Еще говорят, что так называемый жрец змей из племени хопи, скорее всего, ловит из года в год одних и тех же змей.

Пусть будет, как будет. На закате солнца, перед тем как начнется исполнение настоящего танца, исполняется короткий танец Антилопы. Мы стоим на крыше и ждем. За нами кружит орел, весьма растрепанный, он садится на стену и смотрит на нас с невыразимым негодованием. Посмотрите на него, посмотрите, какие «братские» чувства испытывают индейцы ко всем животным, — в лучшем случае молчаливое терпение, — напоминающие об опасном различии человека и его «братьев». Мы ждем, но ничего не происходит. Молчат барабаны, никто не делает никаких объявлений. Вдруг на plaza появляется группка людей. Они шагают резко, размашисто. Они выкрашены в серый и черный цвета, на них ничего нет, кроме коротких килтов, украшенных, как сакральные килты индейцев других поселений — красное, зеленое и черное на белой ткани. За спиной висит лисья шкура. Ноги — босые, пепельного цвета. Волосы длинные.

Впереди идет старик с тяжелой гривой длинных седых волос, с тяжелой челкой. Он быстро продвигается вперед, сохраняя полное молчание, в окружении других, вымазанных серой глиной, длинноволосых, обнаженных, сосредоточенных мужчин. Всего их восемь, так называемых жрецов антилоп. Они идут по кругу, размашисто, сосредоточенно, пока их вожак, грузный старик

с массивной седой гривой, не подходит к яме-ловушке, что возле кустов, растущих рядом с kiva. Он быстро бросает что-то съестное, белого цвета, на деревянную крышку и правой ногой растаптывает это, да так сильно, что крышка скрипит. Каждый мужчина, включая мальчика, бросает еду на крышку, растаптывает ее сильным движением, так что дерево скрипит, отступает на шаг в сторону, погруженный в себя, потом снова подходит к kiva, бросает еду, давит ее ступней, отступает на шаг, потом третий раз подходит к ловушке, но в этот раз плюет на нее, растаптывает плевком и уходит в сторону. И вот восемь человек уходят строем по тропинке, что между ловушкой и зелеными кустами. Потом они встают в ряд спиной к кустам — молчаливые, сосредоточенные, немного склонившись вперед.

Вдруг появляется другая группа мужчин — они идут быстрым шагом. Они обнажены, вымазаны красной «колдовской» краской, с огромными черными ромбами, нарисованными грязью на спине, густые длинные волосы распущены. Первым ступает грузный седой старик, затем мужчины средних лет, потом молодые, замыкают шеренгу два школьника — тощих паренька с подстриженными под горшок волосами.

Взрослые мужчины все грузные, низкорослые, мощные, мускулистые, с прямой осанкой. Их запястья не такие тонкие, как у индейцев тао. Они утратили эту особенность своих предков. Зато они приземистые, как их предки, пышнотелые. Волосы у них черные, густые. Это так называемые жрецы змей, люди змеино-го клана. Сегодня их одиннадцать.

Они быстро движутся по кругу в полнейшей, гнетущей тишине, полностью сосредоточенные на своем занятии, сначала кладут на крышку ловушки пищу, потом растаптывают ее, повторяют то же самое по второму кругу, а когда возвращаются в третий раз, плюют на нее и растаптывают свой плевком. Потому что для дикаря, анимиста, плевком — своего рода благословение, жест общения, нечто вроде поцелуя.

Одиннадцать жрецов змей образуют шеренгу, встав лицом к восьми вымазанным пеплом жрецам антилоп, расположившимся по другую сторону ловушки, и легонько склоняются к земле. Потом жрецы антилоп начинают тихо петь, вернее, издавать звуки без слов, так что слышно лишь низкое глухое «Ай-яй-яй!». Они наклоняются вправо, каждый раз встряхивая дважды маленькой белой плоской трещоткой, которую держат в левой руке, и тяжело притопывая правой ногой. В правой руке, в которой они держали еду, у них маленький кожаный мешочек, верно, там тоже еда.

Затем они наклоняются влево и дважды встряхивают трещоткой, будто сея зерно, тяжело притопывая правой ногой, поют глухую призывную песню-клич, непонятную окружающим. Это странный, низкий звук, мы такого никогда не слышали, он говорит нам о том, как глубоко погружен человек в таинство, которому он служит, как глубоко погружен он в тот мир, что гораздо глубже нашего, в мир змей, в темные перепоутья земли, туда, где сплетаются корни побегов и где маленькие речушки безбрежной несотворенной жизни-страсти текут, будто темные огоньки струящегося света к корням побегов и к ногам людей, из самых недр земли, где затаилось мрачное солнце. Они взывают к змеям на их глубинном, почти немом языке и к лучам мрачного Солнца, что затаилось в недрах земных.

В это мгновение все зрители смолкли. Это подобно знаменитой тьме и молчанию Египта, прикосновению иного таинства. Глубочайшая сосредоточенность «жрецов» смиряет на несколько секунд наше бледнолицее легкомыслие, и мы слышим лишь глухое «А-ха! А-ха!», обращенное к змеям и недрам земным.

Так длится минуту-другую. Потом жрецы антилоп застывают в поклоне, а жрецы змей снова начинают раскачиваться и петь, их пение порой столь глухое, что похоже на беззвучное бормотание где-то под землей. Ритм их — не слажен, они раскачиваются не в унисон. С точки зрения культуры, тут нет ничего интересного. Но какая мистическая, мрачная, сакральная сосредоточенность!

Вымазанные грязью, длинноволосые мужчины, стоящие шеренгой лицом друг к другу, несколько раз по очереди раскачивались и пели. Потом прекратили. Ряды распались. Молодой жрец змей взял в руки что-то, напоминающее лепешку, — не исключено, что ее дали ему жрецы антилоп, — и сделал шаг вперед вместе с грузным, но хорошо сложенным старым жрецом, тот остановился чуть поодаль и принялся смахивать с его плеч пыль пучком перьев, наверно, орлиных: у индейцев их полые стволы используются во время богослужения, как обрядовые палочки. Тяжелыми, точными прыжками они двигались по кругу, у молодого жреца в руках была лепешка, на которую он смотрел с любопытством, а старый жрец с важным видом поглядывал на молодого, словно колдуя над ним и обмахивая его плечи обрядовыми перьями. Сзади на нас накатила божественная волна, перешла на руки, а потом — на лепешку. Появилось несколько молодых жрецов, со склоненными головами, держащих лепешки, а позади них ступали старые жрецы. Они обошли площадь по кругу и вернулись к kiva, взяли новые лепешки и снова двинулись вокруг.

Вот и все. Через десять-пятнадцать минут все было кончено. Две цепочки людей ушли, быстро и молча. Короткое примитивное представление.

Толпа стала рассеиваться. Зрителей осталось немного. Ядовитых змей так никому и не показали, получается, что не было причины ехать сюда. Однако удивительное, сильнейшее напряжение жрецов змей передалось белым и захватило их.

К полудню следующего дня на маленькой plaza снова собралось около трех тысяч человек, кто-то занял место на крыше и возле окон, туристы были повсюду, казалось, что крошечное pueblo построено не из камня, а из человеческих тел. Самые разные люди — сотни и сотни белых женщин (в бриджах они были похожи на мужчин), сотни и сотни мужчин, приехавших на автомашинах, много индейцев навахо (женщины были в длинных юбках и узких бархатных корсажах, мужчины довольно худые, с низкими талиями, настоящие кочевники). Три тысячи туристов сидели часами в ожидании представления, не обращая внимания на жаркое солнце, на ветер, дующий без продыху и поднимающий с земли песок, который кружил и бил по углам домов. Полицейские освободили центральный пятачок перед kiva. Зрители в передних рядах сидели на земле вплотную. И вот наконец, — ведь народ измучился в ожидании — внезапно, молча, так же торопливо жрецы антилоп вышли в центр, погруженные в себя, и, как в предыдущие разы, обошли несколько раз крышку ловушки. Сегодня восемь жрецов антилоп были совсем серыми. Ноги — пепельные, словно *suede**, мягкие ботинки и подбородок — пепельного цвета, а остальная часть лица выкрашена черноватой краской. С бледно-пепельным подбородком они смахивали на мертвецов, украшенных лентами. Тело было вымазано серой грязью, с черными разводами на пояснице.

Они прошли по кругу и молча встали позади крышки спиной к зеленым кустам — таинственные пепельные фигуры с маленькими кожаными мешочками в руках. Они казались властелинами теней, полумраком перехода, чем-то после жизни и до возникновения жизни, вместилищем ветра перемен. Повелителями таинственной текучей власти перемен.

Внезапно воцарилась тишина, и вперед вышел жрец змей, которого вел все тот же грузный мужчина с густыми, седыми, цвета железа, волосами. Сегодня их двенадцать — от старца до тоненького, коротко стриженного, стройного мальчика лет четырнадцати. Двенадцать человек, по двое на каждую из шести сторон света — восток, север, юг, запад, верх и низ. Сегодня они находились в необычно приподнятом настроении. Лица выкрашены в черный цвет, оттенявший белые глазные яблоки. На них короткие, завязанные на пояснице черные передники. Горячие, полные жизни люди тьмы, повелители лучей недр земных, черного солнца животворящей сердцевины земной, из которой выбирались пятнистые змеи, похожие на лучи.

Они снова быстро зашагали в нервной, молчаливой сосредоточенности, сделали три круга. Потом выстроились в шеренгу и повернулись лицом к восьми мужчинам пепельного цвета, стоящим по другую сторону ловушки. Все они склонили долу головы, все, кроме юношей.

Потом выкрашенные в пепельный цвет мужчины начали петь что-то неразборчиво и взволнованно, раскачиваясь при этом справа налево, встряхивая рукой — раз-два, раз-два, над крышкой в земле, под которой притаились змеи, всякий раз наклоняясь слева направо, слева направо. И их низкие, таинственные, глубокие голоса вели беседу с подземными духами, а не с людьми на земле.

Но толпа жаждала увидеть змей, нетерпеливо ожидая, когда же они перестанут бормотать. В воздухе царило нетерпение и невнимание. Однако после мужчин пепельного цвета начали петь и раскачиваться чернолицыцы, потом они поменялись ролями, и так несколько раз.

Наконец эта часть танца была закончена. Строй распался. В центре, вокруг ловушки, столпились люди. Старец, так называемый жрец антилоп, наклонился вперед. И прежде чем толпа что-либо осознала, появился молодой жрец и стал почтительно кланяться, держа в зубах бледную тонкую гремучую змею. Маленькую, совсем наивную тварь, чья птичья головка застыла возле черной щеки юноши, а длинное, бледное, желтоватое, блестящее тело извивалось подобно толстой красивой веревке. Чернолицый молодой жрец двинулся вперед, зажав в зубах удивительную змейку, извивавшуюся у него во рту, вошел в круг, а позади него, почти вплотную, стоял старец, жрец, отряхивающий пучком перьев невидимую пыль с плеч юноши, он пребывал в напряженном, величайшем волнении от сосредоточенности, подобное состояние я наблюдал однажды у старого индейца, исполнявшего религиозный обрядовый танец.

Из толпы жрецов вышел другой чернолицый юноша с другой извивающейся у него во рту змейкой, а старый жрец стоял у него за спиной, стряхивая пучком перьев пыль с его плеч, потом еще один и еще один, пока их не стало шесть, а потом четверо с извивающимися змейками, свисающими из их ртов, тронулись с места и прошли три круга. Завершив третий круг, молодой жрец наклонился и осторожно положил свою змейку на землю и махнул ей, чтобы она ползла прочь от него, на свободу. Она не должна была возвращаться в кусты у kiva.

И, ненадолго застыв в недоумении, бледная тонкая змейка устремилась прочь, двигаясь изящно, как все гремучие змеи, извиваясь и петляя, подняв свою маленькую, чуткую головку, напоминающую антенну: она поползла к густой толпе зрителей, которые сидели вокруг на корточках. Она надвигалась на толпу подобно мягкой бесцветной молнии. Когда она подползла ближе, люди, словно загипнотизированные, стали отступать. Но страха они не испытывали. И вот змейка совсем близко, тут вперед выскочил один из темнолицых молодых жрецов с палочкой для укрощения змеи и застыл на мгновение над ней в благоговейной, молитвенной сосредоточенности, которая символизировала его победу над змеей, осторожно схватил бледную, длинную тварь, поднял с земли и стал размахивать ею над головами сидящих зрителей, потом нежно погладил ее левой рукой, похлопывая, поглаживая и умиряя длинное, бледное, похожее на птицу существо, после чего вернулся к kiva и передал змею жрецу антилоп с пепельным подбородком.

Тем временем то и дело на пяточке появлялись другие молодые жрецы со змейками, свисающими изо рта. Юноши перестали ходить по кругу. Они клали своих змеек на землю, будто спускали корабль на воду, а змейки, будто корабли, уплывали от них. Тут же выходил один из двух чернолицых жрецов с палочкой для укрощения змей, змеелов. Всякий раз, когда змейка подползала слишком близко к толпе, он хватал ее и неистово размахивал ею, при этом глаза его пламенели на черном лице. А между тем жрец, стоявший возле ловушки под кустом у kiva, дал мальчику длинную красивую змею. Она не ядовита. Это удав. С красивейшим узором на коже. Он раскачивал своим бледным брюшком, свесив голову изо рта мальчика. Двумя руками мальчик положил его удобнее. Он снова высунулся. Мальчик снова положил его на место и схватил покрепче. А потом, когда он стал продвигаться по кругу, удав обвил дважды его колено, изящно изогнув туловище. Мальчик спокойно нагнулся и спокойно, словно развязывал подвязку, разомкнул кольца удава. И старый жрец сосредоточенно обмахивал перьями худые прямые плечи мальчика. Змеи были на удивление нежными, наивными, им все было интересно, и казалось, они пребывают в согласии и гармонии с человеком. А это ведь и было заветной целью. Мальчик оставался спокойным и доверчивым, что и было нужно для того, чтобы он чувствовал себя

единым целым со змеей. Единственные танцоры, проявлявшие беспокойство, — два юных змеелова, причем один из них был так возбужден, что это напоминало актерскую игру на публику. Но старые жрецы оставались столь напряженно, с религиозной отрешенностью, погруженными в себя, что казалось, их околдовали, и они во власти некой силы из мира иного.

Мальчик отпустил удава. Сначала он хотел было вернуться в кусты у kiva. Змеелов нежно подтолкнул его вперед. И он пополз к толпе, а в последнее мгновение его схватили и подняли в воздух. Потом удава передали старику, сидевшему на земле среди зрителей в первом ряду. Это был старый хопи из змеинового клана.

Молодые жрецы носили по кругу одну змею за другой, зажав ее шейку в зубах, а она медленно извивалась и раскачивалась, вертя маленькой, изящной головой, словно удивляясь чему-то и прислушиваясь. Выносили и несколько очень больших гремучих змей, необычно больших двух-трех удавов, несколько полозов. После того как жрецы, положив их в рот, носили их по кругу, затем выпускали, а потом молодые жрецы с палочками для заклинания змей ловили их, одну-другую передавали старикам из змеинового клана, сидевшим среди зрителей, и те так и оставались сидеть на земле, держа их в руках, будто котят. Но большую часть змей отдавали жрецам антилоп пепельного цвета, стоявшим в ряд спиной к кусту у kiva. Наконец у некоторых из этих вымазанных пеплом жрецов оказалось полно змей, свисавших с рук, будто мокрое белье. Змеи извивались и переплетались с другими, показывая бледные брюшки.

Однако многие были спокойны и покорны. Покорны, почти миролюбивы. Зрителя поразило, какое у них чистое, тонкое, длинное, нагое туловище, поразила их красота, схожая с мягкой, молчаливой молнией. Они были такими чистыми, потому что жрецы их помыли, смазали и очистили в те дни, когда они находились в kiva.

Наконец жрецы пронесли всех змей по кругу, зажав зубами их шеи, и они совершили свои короткие экскурсии к толпе, и их благополучно вернули жрецам, стоящим в ряд. А затем полицейские-индейцы, хопи и навахо, начали поднимать зрителей, сидевших в пять-шесть рядов на земле вокруг маленькой plaza. Всех змей скоро отпустят на волю. Нам пора уходить.

Мы отошли к дальнему краю plaza. Там две женщины хопи раскладывали на земле белые лепешки. И тотчас же туда пришли два змеелова, держа в руках много змей. Стоявшие в том месте люди не успели еще сообразить, что происходит, как змеи, извиваясь и корчась, оказались на земле в белой от лепешек пыли — всего в двух ярдах от наших ног. Тут же, не дав змеям переплестись друг с другом и уползти, их быстро и очень осторожно снова поймали два молодых жреца и, держа их в руках, убежали с plaza.

Мы пошли медленно следом за ними, преисполненные изумления, к западной, вернее, северо-западной стороне столовой горы. С той стороны у нее крутой склон, а широкая дорога сползает в огромный провал пустыни, залитой сильным вечерним светом, из которого прорезается вдаль остроконечная гора, а за ней — столовые и крутые горы — огромное, с низиной и дикими горами пространство этой части Аризоны, залитое светом.

А по дороге удаляются от нас маленькие темные обнаженные фигурки, прижав руки к туловищу, — это два молодых жреца быстро бегут в низину, они становятся все меньше, пока пересекают ее, направляясь к скалам, застывшим по другую сторону ее. Две крошечные, быстрые, упорные, все уменьшающиеся фигурки. Крошечные, темные искры людей. Частички богов.

Они исчезают из поля зрения, скрывшись за скалой в тени и сравнившись размером с камнями. Говорят, они пошли отпустить змей на волю под скалой, которую называют змеиной гробницей. А змеи смогут передать послание и слова благодарения богам-драконам, способным одарять и взysкивать. Смогут передать человеческий дух, человеческое дыхание, человеческую молитву, человеческое благодарение, человеческие приказания, ведь это передалось им через уста жрецов, через пучки перьев и обрядовые палочки, которыми старые жрецы обмахивали плечи молодых, тех, кто держал змей; они смогут вернуть все это бескрайним, сумеречным, глухим

уголкам земли, где чудовища, властелины дождя и ветра, попеременно то милостивы, то преисполнены гнева. Передать молитву человека и его духовную силу тайникам ветра и самой сердцевине спрута, откуда берет начало дождь. Отнести лепешки, положенные на землю женщинами, ужасному, чудовищному, могучему, темному солнцу, притаившемуся в сердце земли, тому самому, что отправляет нас собирать урожай, посылает нам пищу или погибель, в зависимости от силы наших жизненных целей, от силы нашей воли, нашего мужества.

И каждый раз это бой, поединок. Солнце, безмянное Солнце, источник всего и вся, который мы называем солнцем, потому что другое его имя столь пугающе, это огромное темное протоплазменное солнце, источник, питающий нашу жизнь, это неповторимое Оно, которое попеременно чего-то хочет и не хочет. Систолическое и диастолическое, оно пульсирует, перегоняя свои желание и нежелание, согласно которым мы должны жить и двигаться вперед, от существа к существу, от человечества к человечеству. Человек, убогий, грешный человек, искатель приключений, оторвавшийся от темного сердца изначального, первого солнца, был брошен в сотворенный мир. Человек, последний из богов, победил — и существует! И постоянно Источник, потаенное солнце-дракон поддерживает его и угрожает ему, запугивает и поддерживает. И постоянно человек должен покоряться и одновременно побеждать. Покоряться странной милости Источника, чьи пути неисповедимы. И побеждать странную злую волю Источника, которая не поддается пониманию.

Потому что великие драконы, подарившие нам жизненную силу, постоянно хотят и не хотят, чтобы мы были на этой земле. И в результате лишь герои стяжают мужество, постепенно, понемногу черпая его в таинственной берлоге Космоса.

Человек, маленький человек, призвав на помощь сознание и волю, должен подчиняться великим изначальным силам, управляющим его жизнью, и побеждать их. Змеи, побежденные преодолевшим свои страхи человеком, должны вернуться в недра земли с посланием от человека — посланием нежности, просьбы и силы. Они возвращаются, как лучи любви, в темное сердце первого из солнц. Но еще они возвращаются, как стрелы, метко пущенные благодаря знаниям и мужеству человека прямо в сопротивляющееся, злобное сердце древнейшего, крепчайшего ядра земли. В ядре, первом из солнц, где человек черпал свои жизненные силы, — яд, такой же горький, как у гремучей змеи. Этот яд человек должен преодолеть, он должен стать хозяином положения. Потому что от первого из солнц бегут лучи, благодаря которым человек становится сильным и радостным, а боги способны выбрать между познанным и непознанным. Лучи, которые рвутся, извиваясь, как змеи, из недр земли, обнаженные и полные жизни. Но в каждом луче — отравка для неосмотрительных, непочтительных и трусливых. Осведомленность, осмотрительность — первая добродетель морали примитивного человека. И его осведомленность должна включать в себя все, что было и будет, что было и будет — от самого темного изначального прошлого до самого светлого храма творения.

И пусть эти представления кажутся нам диковатыми, рассчитанными на низменные чувства толпы, жаждущей ужасов, мы не можем не проникнуться почтением к тонкой, мистической храбрости жрецов змей (как их называют), которую они проявляли в обращении с этими тварями.

Говорят, у хопи есть чудодейственное лекарство, исцеляющее от укусов змей. Говорят, старые женщины дают после танца укушенным какой-то напиток, вызывающий рвоту, и те должны лечь на край утеса, и их будет выворачивать наизнанку. Я этого никогда не видел. Два змеелова, убежавших в тень скалы, скоро снова прибежали, они бежали, не останавливаясь, поглядывая на склон, снова взбежали на столовую гору, но на ту, что стояла за глубоким, бездонным ущельем. Потом, когда они оказались на одном уровне с нами, мы увидели их на той стороне: смуглые и нагие, они мылись в пруду, смывая краску, снадобья и свой экстаз, чтобы вернуться к повседневной жизни и обычной пище. Потому что, говорят, в течение двух дней они ничего не ели. И следующие девять дней они были погружены в таинство змей и потому тоже держали строгий пост.

Люди, жившие долгие годы с индейцами, говорят, что не верят, будто у хопи есть какое-то чудодейственное лекарство. Говорят, иногда жрецы умирают от укусов. Но гремучая змея выпускает свой яд медленно. Всякий раз, когда она нападает на человека, она выпускает яд, но если она нападет несколько раз, то яда почти не останется и она не сможет отравить человека. Яда останется мало, недостаточно, чтобы убить его. В железах змеи должно быть много яда, как бывает после зимней спячки, — тогда она способна сразить человека наповал. Но в том случае, если она укусит его рядом с артерией.

Поэтому в течение девяти дней, когда змей держат в kiva, моют, поглаживают и очищают, не исключено, что они выпускают свой яд на какой-нибудь неодушевленный объект. И безусловно, они становятся умиротворенными и спокойными благодаря этому, а жрецы, накопившие опыт столетий, знают, как с ними надо обращаться.

Мы построили плотину на Ниле и железнодорожные пути через всю Америку. А хопи успокаивают гремучих змей, ходят, взяв их в рот, и благодаря этому они возвращаются к темным недрам земли, становясь эмиссаром внутренней мощи индейца.

У каждого типа человека — свои достижения, своя победа, свое преодоление. Для хопи истоки творения темны и дуалистичны, в них заложено зло, а потому круг за кругом все сотворенное движется навстречу мерцающему, проявляющемуся божеству, венцу творения. Пока что этот венец творения — Человек, пусть и сомневающийся и несовершенный.

Для нас и для жителей Востока божество — идеал, который дал импульс всему, а человек механически совершает путешествие в уже сотворенную и предуготованную Вселенную, стремясь достичь идеального божества, стоящего у истоков.

Для нас в начале был Бог. Рай и Золотой век давным-давно канули в Лету, и единственное, что нам остается, — вернуть их.

Для хопи Бог еще не явил себя, а Золотой век тоже еще не настал и настанет не скоро. Из логова дракона-космоса мы вырвали лишь начало нашего бытия, основы нашего божества.

Между двумя этими мироощущениями лежит водораздел — отрицание одними взглядов других. Но мы идем вперед быстрее, поэтому на данный момент победители — мы.

Американские аборигены, по сути своей, от рождения религиозны. Религия составляет саму материю их жизни. Их религия анимистична, истоки ее — темны и безличны, их конфликт с богами развивается медленно, но бесконечно.

Эти замечания относятся и к оседлым индейцам, живущим в pueblo, и к кочующим навахо, и к древним майя, и к уцелевшим ацтекам. Они ни на секунду не забывают о своей древней воинствующей религии.

Не забывают, пока не впадают в уныние под натиском нашего веселого ликующего успеха. А это происходит весьма быстро. Молодые индейцы, те, кто в течение нескольких лет учился в школе, отходят от своей религии, становятся мрачными, им все надоедает, они теряют свои корни. А индеец, сохраняющий в душе исконную веру, не может потерять интереса к жизни. Но даже для него постоянный напор мистики не под силу, и потому он не в состоянии приспособиться к механическим обстоятельствам. Он терпит фиаско. И в результате в великой религиозной битве за человека — венец творения — он терпит поражение. А Личный Бог, придумавший «механический космос», дарует победу своим сыновьям, механическую победу.

Вскоре после того как танец закончился, навахо начали спускаться по западной дороге, навстречу свету. Женщины в бархатных корсажах и длинных-длинных юбках, с серебряными и бирюзовыми ожерельями на шее, сели на лошадей и стали медленно спускаться по крутому склону, с любопытством оглядываясь, поворачивая в разные стороны свои красивые монголоидные лица кочевниц. И мужчины, долговязые, раскованные, с низкими талиями,

в больших шляпах, надвинутых на брови, в серебряных поясах, застегнутых низко на бедрах, стали спускаться на лошадях к воде. Мы говорим, что они похожи на дикарей. Но их религия, столь для нас далекая, их анимистское мироощущение делают их другими, мы видим это в их взгляде, они по-другому смотрят на мир. И они не в состоянии понять и принять нас. Они смотрят на нас так же, как смотрят на нас койоты — нас разделяет водораздел взаимных отрицаний.

И они молча спускаются вниз — группами, парами, в одиночку — ближе к свету, американцы-аборигены, направляющиеся в свои закрытые резервации. А белые американцы торопятся к своим автомобилям, и скоро воздух наполняется гудением моторов, подобным шипению гремучих змей.

8. Немного домашнего вина с лимоном, бреда и лунного света*

«Он, человек, шагнул над тесным миром,

Возвысаясь, как Колосс...»

Светила яркая луна, даже виноградная лоза отбрасывала тень, а на темных тусклых водах Средиземноморья мерцала широкая белая полоса света. У берега мигали огоньки старых домов, а яркий свет фар бил через стену волнореза. Сегодня праздник, День святой Екатерины, все мужчины сидят за столиками, внизу, у моря, пьют вино и вермут.

А что происходит на ранчо, на маленьком ранчо в Нью-Мехико? Там другое время, но я там тоже выпил свой бокал за святую Екатерину, поэтому мне не до подсчетов. По-моему, луна там тоже на юго-востоке, как и над Санта-Фе, что за грядой гор Пикорис.

«Sono io!» — говорят итальянцы. «Я это я!» И звучит это проще, чем получается в жизни.

Потому что мне уже не понять, что такое «Я это я», после того как я выпил за святую Екатерину; луна светит над морем, и мысли мои, все время куда-то ускользающие, заняты луной над Средиземным морем, и в голове звучат слова прощания: «Dunque, Signore! Di nuovo!»* — они должны домчаться по лунной дорожке, которая тянется на юго-запад, к великому Юго-Западу, где стоит маленькое ранчо.

Обычно говорят: «In vino veritas»**. О, как много говорят эти слова! А в вине святой Екатерины — мое маленькое ранчо и три лошадки возле лесочка. Если там выпал снег, то лошадки ушли, и вокруг лежит снег, а луна светит над склоном, поросшим люцерной, над соснами и хижинами с занавешенными оконцами. Там никого нет. Все закрыто. Только большая сосна растет у дома — тихая, равнодушная, но живая.

Может, когда мне выпадет отправиться в Weg***, моя Heimweg**** приведет меня к дереву перед домом, раскидистому тенистому дереву, зеленой верхушки которого никто никогда не видит. Это совсем близко. Выходишь из дома, и тебя, как ангел-хранитель, ждет ствол дерева.

Ствол дерева, и большой рабочий стол, и забор! А дальше, пока ночь и светит луна, во всяком случае она мне светит, далеко впереди — свет в Тао, или в Ранчос-де-Тао. Там, на западе, у линии горизонта, стоит замок Ноли. Но там, без всякого сомнения, выпал снег, потому что даже сюда долетает оттуда холодный ветер. Там снег и почти полная луна зловеще сияет — висит над горами, будто оборотень, у нас она никогда так не сияет. А здесь — густоватые космы сосен, что растут у кромки поля люцерны, и сероватое мерцание снега ночью возле низины, и красноватые точки человеческого жилья в Ранчос-де-Тао.

Светит луна, и ты видишь кольцо гор, а может, и не видишь.

И кто-то торопится домой, чтобы подбросить дров в огонь.

А кто-то и не торопится. Слышишь, как Джованни кричит издали: «Спокойной ночи!» Он спускается в деревню ненадолго. «Vado giù, Signor Lorenzo! Buona notte!»*****

А вдалеке что-то шепчет Средиземное море, будто раковина шумит. Еще чей-то свист, но кроме этого — ночь светлая и тихая. Житель Средиземноморья, бесконечно юный, символ юности! И Италия, по всеобщему убеждению, такая старая, но при этом навечно оставшаяся таким наивным ребенком! Она никогда, никогда не сможет постичь прекрасный седой век Америки, континента будущего.

Интересно — я здесь или я просто лег спать на моем ранчо? Может, листаю каталог Монтгомери Уорда, выпущенный к Рождеству, пью домашнее вино и горячую воду, потому что холодно? Надо выйти посмотреть, укрыли ли на ночь цыплят, не разбрелись ли лошади, ушла ли черная корова Сьюзен в свое стойло под деревьями. Коровы мало едят ночью. Но Сьюзен в лунную ночь непременно отправится бродить. От луны она делается беспокойной. И лошади топчутся вокруг хижин.

В такой холод звезды сверкают вдали, словно койоты, бегущие по полю люцерны. А сосны тихонько шумят — шепот их, неожиданный и воровской, напоминает чьи-то шаги. Здесь полно привидений. Здесь, на ранчо, полно привидений. А когда привыкнешь к привидениям, приходящим к тебе домой, их оказывается не так уж и много, и они не такие уж страшные, они становятся членами семьи, только еще роднее, чем кровные родственники. Но привидения, по которым ты больше всего тоскуешь, — это привидения со Скалистых гор, те, что всегда держатся у леска, поближе не подходят, а кружат возле ручья, будто звери. Я знаю их, а они знают меня — мы ладим друг с другом. Но они упрекают меня за то, что я уехал. Они обижены на меня.

Наверно, снег лежит хлопьями на кустах. Наверно, голубая сойка в голубом, цвета металла, облачке падает с сосен, растущих перед домом, на рассвете, сраженная жесточайшим морозом, а опасный, пронзительный свет занимается над горами и заливают далекую, далекую долину за Рио Гранде.

А я, я все это бросил. Здесь можно выбрать — вермут, марсалу, красное вино, белое. На ранчо сегодня вечером очень холодно, так что мне придется пить крепкое домашнее вино, не очень-то хорошее, но оно все-таки согревает, — с горячей водой и лимоном, и сахаром, и корицей, которую я достал из красной баночки Шиллинга. И я растоплю печурку в спальне, а она станет легонько гудеть, втягивая в себя ветер. Потом — в постель, а вокруг меня устроятся поудобнее привидения, обитающие на моем ранчо, потом я проснусь, потому что замерз нос. Проснувшись, я посмотрю в стеклянную дверь и увижу ствол большой сосны, точно часового в дозоре, и звезду, спускающуюся с горы, такую яркую, словно кто-то зажег электрический фонарь.

Si vedrà □ la primavera.

Fiorann' i mandorlini...*

Ну да ладно, пусть будет вермут, раз нет крепкого вина с лимоном и корицей. Может, позову Джованни, скажу ему, что мне хотелось бы

Un poco di chiar' di luna, con cannella e limone...**

Сумерки Италии

«Сумерки Италии» — первая из четырех книг, написанных Д.Г.Лоуренсом в жанре так называемых путевых заметок, в немалой мере способствовавших утверждению его художественной репутации в читательском сознании по обе стороны Атлантики.

Став итогом предвоенного путешествия автора вместе с Фридой по Германии, Австрии и Северной Италии в 1912—1913 годах, эта книга продемонстрировала как несомненную зоркость Д.Г.Лоуренса-очеркиста, натуралиста, внимательного, а подчас и язвительно-ироничного наблюдателя нравов, так и никогда не оставлявшую прозаика страстную тягу к философско-психологическому осмыслению и обобщению представавших ему жизненных конфликтов и парадоксов, что изначально выделяло его путевые очерки из ряда других произведений этого жанра, традиционно популярного в Англии.

Составившие книгу очерки писались по свежим следам в январе—октябре 1913 года, когда чета Лоуренсов путешествовала по Ломбардии, перемежаясь упорной работой над романом «Сестры», из которого впоследствии предстояло вырасти двум масштабнейшим созданиям писателя — «Радуге» и «Влюбленным женщинам».

Два года спустя, уже на родине, в Грейтхеме и Сассексе, в июле—октябре 1915 года, прозаик тщательно переработал все очерки книги, дав некоторым из них — в частности, вступительному — новые названия. В январе—феврале 1916 года в Корнуолле он закончил работу над гранками. Позднее в том же году «Сумерки Италии» вышли в издательстве «Дакуорт». В позднейшее время неоднократно перепечатывались массовыми тиражами.

Стоит заметить, что лоуренсовские «книги путешествий», как их иногда называют в критике, органично сочетающие непосредственность «моментальных» зарисовок посещаемых местностей, нравов и обычаев с глубиной и тонкостью навеянных их историей и культурой интуитивных прозрений, оказали заметное влияние на целый ряд англоязычных авторов, работавших в этом жанре на протяжении XX столетия. В числе наиболее ярких примеров заложенной Д.Г.Лоуренсом традиции — путевая эссеистика его соотечественника Лоуренса Даррелла (1912—1990) и автобиографическая проза американца Генри Миллера (1891—1980), признававшего, заметим в скобках, свое ученичество у английского прозаика и посвятившего размышлениям о его творчестве прочувствованную книгу.

На русском языке «Сумерки Италии» публикуются впервые.

Распятые в горах

С. 89. «Священная Римская империя» (962—1806, с конца XV века — «Священная Римская империя германской нации») — основана германским королем Оттоном I, подчинившим Северную и Среднюю Италию (с Римом). Включала также Чехию, Бургундию, Нидерланды,

швейцарские земли, нынешнюю Австрию. Императоры вели агрессивную политику, главным образом на юге (за Италию) и востоке (за земли полабских славян), в конце XI — XIII веках боролись с Римскими Папами за инвестуру, за Италию. Постепенно власть императоров стала номинальной. Германия распалась на территориальные княжества. Вестфальский мир 1648 года завершил превращение империи в конгломерат независимых государств.

С. 98. *Д'Аннунцио Габриеле* (1863—1938) — итальянский писатель, автор поэтических сборников, романов, драматических произведений.

Гвидо Рени (1575—1642) — итальянский живописец, представитель болонской школы. Изыщество композиции и рисунка сочетал с холодной идеализацией образов.

Гиацинт (Гиакинф) — в греческой мифологии сын спартанского царя Амикла и правнук Зевса. По другой версии мифа, его родители — муза Клио и Пиер. Гиацинт был любимцем Аполлона, который нечаянно убил его, попав в него во время метания диском. Из крови Гиацинта выросли цветы-гиацинты.

С. 99. «*Пусть слава укроет тебя, Тартарен, пусть фланель укроет тебя*» (фр.). — Тартарен — главный герой романа французского писателя Альфонса Додэ (1840—1897) «Тартарен из Тараскона».

С. 100. *Галерея Тейт* — галерея в Лондоне, основана в 1897 году Генри Тейтом.

Ex-voto — из благодарности (лат.). В Средневековье так называли предметы, пожертвованные в благодарность за излечение. Они часто были сделаны в виде органа, об излечении которого молились. Из серебра или полудрагоценного камня руки, пальцы и пр. прикрепляли к изображениям святых, благодаря заступничеству которых избавлялись от недуга.

На озере Гарда

1. Пряха и монахи

С. 102. *...церковь Рена в Лондоне.* — Имеется в виду церковь Святой Марии. Сэр Кристофер Рен (1632—1722) — выдающийся английский архитектор.

В Ветхом Завете был Орел... — Орел — символ силы и могущества как частных лиц, так и целых царств и народов, как, например, Вавилонского. Часто упоминается в Священном писании.

...а в Новом — Голубь. — «Дух Святой сошел на Спасителя при крещении в виде голубином» (Евангелие от Матфея 3:16). В сороковой день по рождении Иисуса Христа Пресвятая Дева Мария принесла в Иерусалимский храм двух птенцов голубиных, вместо агнца, ибо она была бедна.

С. 104. *Адиантум* — папоротник.

Яков (Иаков) — патриарх, родоначальник народа Израильского, младший сын Исаака. Предвосхитив у отца своего благословение, предназначенное для его старшего брата Исавы, он вынужден был бежать в Месопотамию, в Харран. На пути в Харран Иаков имел чудесное видение — таинственную лестницу, соединяющую небо с землей, и ему было обещано особенное покровительство в жизни.

С. 114. *...как Эвридика в объятиях Орфея, как Персефона в объятиях Плутона?* — *Эвридика* — в греческой мифологии жена фракийского певца Орфея. Однажды, когда Эвридика с подругами-нимфами водила хороводы в саду, ее ужалила змея, и Эвридика умерла. Орфей, чтобы вернуть любимую жену, спустился в Аид. Звуками своей лиры он укротил Кербера и растрогал Аида и Персефону, которые разрешили Орфею вывести Эвридику на землю. *Орфей* —

сын фракийского речного бога Эагра (по другим мифам — Аполлона), певец и музыкант, наделенный магической силой искусства, которой покорялись люди и боги. Он участвует в походе аргонавтов, своей игрой усмиряя волны. *Персефона* — богиня царства мертвых, дочь Зевса и Деметры, супруга Аида, который с разрешения Зевса похитил ее. *Плутон* — одно из имен бога — владыки царства мертвых Аида. Аид именовался Плутоном (богатым), так как он владелиц несметных человеческих душ и скрытых в земле сокровищ.

2. сады Лимонов

С. 119. *Тигр, о Тигр, в крошечный мрак...* — Цит. по: Блейк У. Тигр. Перевод В. Степанова // Песни Невинности и Опыта. СПб.: Северо-Запад, 1993. *Блейк* Уильям (1751—1827) — английский поэт и художник, автор сборников стихов «Песни Невинности», «Песни Опыта», «пророческих поэм». Иллюстрировал собственные произведения, «Божественную комедию» Данте.

...*куст, охваченный пламенем.* — «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что куст горит огнем, но куст не сгорает» (Библия. Исход. 3, 1—5).

...*придавлив его череп...* — Парафраз строк У. Блейка:

Кто ужасный млат вздымал?

Кто в клещах твой мозг сжимал?

С. 120. ...*в обличье чудовищного орла, ангела страстей эпохи Возрождения.* — Орел, согласно Моисееву закону, считался нечистой птицей, символом зла, дьявольского начала: «Где труп, там соберутся орлы» (Евангелия от Матфея 24:28).

...«*Мы все едины в Боге Отце Нашем — мы явимся.*» — Парафраз библейской строки: «Кто не является, не останется жив» (4-я Книга Царств 10:19).

...«*Мы все едины во Христе: мы продолжим свой путь.*» — Парафраз библейской строки: «Господь да управит путь наш» (1-е послание к Фессалоникийцам 3:11).

3. Театр

С. 140. *Берсальеры* — стрелки в итальянской армии.

С. 143. «*Привидения*» — драма норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828—1906), автора всемирно известных пьес «Кукольный дом», «Пер Гюнт», «Катилина» и др.

С. 146. *Д'Аннунцио* Габриеле (1863—1938) — см. примечание к с. 98.

С. 148. *Гретхен* — Маргарита, возлюбленная Фауста в трагедии Иоганна Вольфганга Гёте (1749—1832) «Фауст». *Дездемона* — героиня трагедии Уильяма Шекспира «Отелло». *Ифигения* — героиня трагедии Еврипида (480 — 406 до н.э.) «Ифигения в Авлиде». Ифигения, дочь царя Агамемнона, добровольно отдает жизнь во имя спасения родины. *Дама с камелиями* — героиня одноименного романа Александра Дюма-сына (1824—1895). *Лючия ди Ламмермур* — героиня романа Вальтера Скотта (1771—1832) «Ламмермурская невеста» и оперы Гаэтано Доницетти по мотивам романа. *Мария Магдалина* — равноапостольная. Она была исцелена Господом от злых духов, присоединилась к числу тех немногих благочестивых жен, которые всюду сопровождали Господа во время Его земной жизни. При крестных страданиях Господа Мария Магдалина стояла при кресте Его и присутствовала при Его погребении. *Мелисанда* — героиня пьесы бельгийского драматурга, лауреата Нобелевской премии Мориса Метерлинка «Пеллеас и Мелисанда». *Баттерфляй* — героиня оперы Джакомо Пуччини (1858—1924) «Чио-Чио-сан». *Федра* — в греческой мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи, внучка солнца Гелиоса. Федра

страстно любила своего пасынка Ипполита. Она — героиня одноименной драмы Жана Расина (1639—1699). Это вершина поэтического творчества Расина. *Миннегага* — возлюбленная Гайаваты в поэме американского поэта Генри Лонгфелло (1807—1882) «Песнь о Гайавате».

Риголетто — герой одноименной оперы Джузеппе Верди (1813—1901). *Электра* — в греческой мифологии дочь Агамемнона и Клитемнестры, сестра Ореста. Ей посвящены трагедии Софокла (ок. 496 — 406 до н.э.) и Еврипида. *Изольда Белокурая* — дочь короля Ирландии в легендах о короле Артуре, возлюбленная Тристрама (Тристана). *Зиглинда* — героиня народного немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах». *Маргарита* — героиня оперы Мария Гуно «Фауст».

Спаси меня, Господь! О Боже, я твоя! — слова Маргариты в трагедии Иоганна Гёте «Фауст». Часть первая. Сцена 25. Перевод Н.Хлодковского.

С. 149. *Бернс Роберт* (1759—1796) — великий шотландский поэт, стихи которого стали народными песнями его страны.

С. 150. *Галахад* — сын рыцаря Ланселота и дочери короля Пелеса Элейн. Герой поэмы Мэлори «Смерть Артура». Он наделен непорочной чистотой, отправляется на поиски Грааля. *Ланселот* — Ланселот Озерный, доблестный рыцарь Круглого стола, персонаж легенд Артуровского цикла, один из самых романтических образов англосаксонского фольклора. Герой поэмы Мэлори «Смерть Артура».

С. 153. *Королева Виктория* (1819—1901) — королева Великобритании с 1837 г., последняя из Ганноверской династии.

Сэр Робертсон Форбс (1853—1937) — английский драматический актер, считавшийся лучшим исполнителем роли Гамлета.

С. 154. *Орест* — в греческой мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры. Агамемнон был убит Клитемнестрой и Эгисфом. Орест по приказу дельфийского оракула убивает мать. Эсхил и Еврипид на материале этого мифа написали трагедии: Эсхил — «Орестея», Еврипид — «Электра» и «Орест».

С. 157. *Савонарола* Джироламо (1452—1498) — настоятель доминиканского монастыря во Флоренции. Обличал папство, призывал церковь к аскетизму, осуждал гуманистическую культуру, организовал сожжение произведений искусства. В 1491 г. был отлучен от церкви, по приговору приората казнен.

Лютер Мартин (1483—1546) — основоположник лютеранства, крупнейшего по численности направления протестантизма. Крупнейший деятель Реформации, автор 95 тезисов против индульгенций. Перевел на немецкий язык Библию.

С. 158. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — лидер Английской революции XVII века, руководитель индепендентов (приверженцы одного из течений протестантизма). В 1640 г. был избран в Долгий парламент. Одержал во главе парламентской армии победу над королевской армией в ходе 1-й и 2-й гражданских войн. Был инициатором казни короля и провозглашения республики.

Карл I (1600—1649) — английский король из династии Стюартов. В ходе Английской революции низложен и казнен «как тиран, изменник, убийца и враг государства».

Шелли Перси Биши (1792—1822) — великий английский поэт, чьи философские воззрения свидетельствуют о том, что он унаследовал взгляды французских мыслителей-революционеров 1790-х. Наиболее значительные произведения — трагедия «Ченчи» и лирическая драма «Освобожденный Прометей».

Годвин Уильям (1756—1836) — английский писатель, священник, разошедшийся во взглядах с англиканской церковью и ставший атеистом и философом анархического толка. Считал, что разумному человеку не нужны законы и государственные институты.

Ницше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ, один из основателей «философии жизни». В своих сочинениях о «сверхчеловеке» — «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла» — проповедовал культ сильной личности, эстетический имморализм.

С. 159. ...*соответственно вести себя, a! la Sanine.* — Санин — герой одноименного романа М.Арцыбашева (1878—1927), проповедовавший аморализм, сексуальную свободу. Этот роман не приняли ни прогрессивно настроенные соотечественники, ни революционеры, ни церковь. Против Арцыбашева по инициативе Синода было начато уголовное дело по обвинению его в порнографии и кощунстве. Роман был переведен на все европейские языки, Д.Г.Лоуренс, естественно, откликнулся на него, ибо судьба его романов была аналогичной.

С. 161. *О, если б этот плотный сгусток мяса...* — Цит. по: Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Акт 1. Сцена 2. Перевод М.Лозинского. М., 1960.

С. 162. *Иосиф* — обручник Пресвятой Девы Марии Богоматери, сын Иакова, муж праведный и благочестивый, жил в Назарете в бедности, был плотником.

4. Сан Гауденцио

С. 166. *Рождественские розы* (*Hellebodus niger*) — белые цветы, цветут с поздней осени до ранней весны, часто под снегом.

С. 170. *Мантенья* Андреа (1431—1505) — итальянский живописец и гравер раннего Возрождения. Автор фресок в церкви Эремитани (Падуа).

С. 172. *Полента* — каша из ячменя или кукурузной муки, каштанов.

С. 174. *Signoria* — Синьория (*ит.*), форма политического правления, при которой вся полнота власти сосредоточена в руках единственного правителя (синьора).

5. Танец

С. 189. *Адидже* — река в Северной Италии.

7. Джон

С. 197. *Фальстаф* — персонаж драмы Уильяма Шекспира «Генрих IV». Воплощение жизнелюбия, остроумия и смекалки.

С. 203. *Dago* — итальяшка (*англ. сленг*), оскорбительная кличка итальянцев, эмигрировавших в США. Предположительно этимология от испанского Diego.

8. Италиянцы в изгнании

С. 208. *Мейстерзингеры* — в Германии XIV—XVII веков члены профессиональных объединений (гильдий) поэтов и певцов из числа горожан, преемники миннезингеров. Миннезингеры, поэты-певцы при германских дворах XII—XIII веков, в свою очередь переняли традиции трубадуров. Темой их песен были рыцарская доблесть и беззаветное служение избраннице.

С. 213. ...*чем-то напоминать Карузо*. — Карузо Энрико (1873—1923) — знаменитый итальянский певец. Великий мастер бельканто, выступал во многих театрах мира.

С. 223. ...*сражаться в Киренаике*... — Киренаика — провинция Ливии. С 1912 по 1943 год была в составе итальянской колонии Ливия. Синуситы, члены мусульманского религиозно-политического ордена, сражались против итальянского колониального режима. В конце Второй мировой войны оккупирована англичанами.

Возвращение

Тоннель Фурка — гора Фурка находится в Альпах на границе швейцарских кантонов Валлис и Ури. На высоте 2436 метров у перевала Готард были построены туннель и самая известная железная дорога в начале XX века. До сих пор по дороге ходят три поезда, которым около ста лет. Здесь постоянно много туристов.

С. 231. *Ронский глетчер* — глетчер у вершины горы Фурка, где берет начало река Рона.

Андерматт — городок в Швейцарии, расположен на северных склонах Лепонтинских Альп на высоте 1500 метров, на перекрестке путей, ведущих в Италию (перевал Сан-Готард), Францию (перевал Фурка), Германию (перевал Гримзель).

Интерлакен — городок в Центральной Швейцарии, в кантоне Берн, расположен в межгорной котловине Бернских Альп на реке Ааре, между озерами Тунским и Бриенцским.

С. 234. *Стритхем* — один из старейших районов Лондона, где при римлянах была построена улица, ведущая в Брайтон. Позднее живописная природа этих мест привлекла внимание купцов и прочих состоятельных граждан Сити, там они построили свои летние резиденции. В 2002 году она была признана самой грязной улицей Англии.

С. 236. *Гесхенен* — городок в кантоне Ури, на северном конце туннеля Сен-Готард.

С. 237. ...*будто из Скегнесса или Богнора*... — Скегнесс и Богнор — известные курорты Англии.

С. 238. *Детриты* — обломочные (кластические) горные породы, образуются в результате механического выветривания горных пород на поверхности Земли. Они классифицируются по размерам и форме обломков.

По следам этрусков

Историей давней и до сих пор остающейся загадочной цивилизации, предшествовавшей римской на территории Италии, Д.Г.Лоуренс заинтересовался в последнее десятилетие своей жизни, когда за его плечами уже были снискавшие оживленные и противоречивые отклики в прессе «Море и Сардиния» (1921) и «Утро в Мексике» (1927).

4 апреля 1926 года он обращается с просьбой к своему лондонскому издателю Мартину Секкеру:

— Возможно, мы съездим в Перуджу, и я напишу книжку об Умбрии и о том, что осталось от этрусков... Это будут наполовину путевые заметки об окрестностях Перуджи, Ассизи, Сполето, Кортонь и Мареммы, а наполовину — о достопримечательностях этрусков, которые страшно меня

интересуют. Если вы услышите о какой-нибудь новой книге об этрусках, — пожалуйста, закажите ее для меня. Я читал только старую работу Денниса «Города и кладбища Этрурии»*.

Все глубже погружаясь в археологическую и историческую литературу по теме и замышляя длительную экскурсию по местам, где сохранились этрусские артефакты, весной и летом этого года писатель укрепляется в стремлении написать такую книгу. Однако напряженная работа над другими замыслами и спорадические ухудшения состояния здоровья заставляют Д.Г.Лоуренса надолго отложить замышленное путешествие. Давнее желание ознакомиться с этрусскими памятниками ему удастся реализовать лишь в начале апреля 1927 года, когда он посещает Черветери, Тарквинию и Вольтерру. В конце того же месяца он сообщает Мартину Секкеру: «Я начал писать свои заметки об этрусках»**.

Писатель с увлечением работает над очерками и в целом завершает их в июне, надеясь безотлагательно навестить еще ряд мест, связанных с этрусским наследием, описание которых, как он надеется, выльется во второй том путевых заметок. Однако легочное кровотечение, сваливающее его с ног в конце месяца, заставляет Д.Г.Лоуренса надолго — как выяснится впоследствии, навсегда — отложить задуманную поездку.

Идея второго тома заметок об этрусках и их культуре так и остается нереализованной. А первая книга выходит в свет уже после смерти автора — в 1932 году и в дальнейшем не раз перепечатывается (в мягком переплете — под одной обложкой с «Утром в Мексике»).

Предлагаемый читателю перевод А.Г.Николаевской впервые напечатан в книге: Лоуренс Д.Г. Утро в Мексике. По следам этрусков. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2005.

С. 244. *Моммзен* Теодор (1817—1903) — немецкий историк, автор работ по истории Древнего Рима и римскому праву.

...пруссак, что притаился во всепобеждающих римлянах. — С 1714 г. после войны за Испанское наследство в Италии установилось господство Австрии, которое в результате наполеоновских войн на короткий период перешло в руки французов, а после поражения Наполеона, в 1814 г., в результате Венского конгресса было реставрировано. Лоуренс подчеркивает внутреннюю зависимость характера итальянца от австрийца.

Мессалина — супруга римского императора Клавдия. По приказу мужа была казнена в 48 г. за неверность ему. Символ порочности и распутства.

Гелиогабал (Элагабал) — «Солнце гор», бог в западно-семитской мифологии. Отождествлялся с Гелиосом и Юпитером. Римский император Марк Аврелий Антонин (205—222, годы правления 218—222) назывался Гелиогабалом, поскольку был жрецом в культовом храме этого бога в Эмесе. Он пытался возвести Гелиогабала в ранг верховного божества римского официального пантеона. Марк Аврелий был жестоким, кровавым диктатором, казнен вместе со своей матерью преторианцами.

Из Рима... в черном колтаке. — В Италии в 1922 году к власти пришли фашисты. Д.Г. Лоуренс писал свои очерки об Этрурии в 1925 г. (опубликованы лишь в 1932 г., спустя два года после смерти писателя).

С. 247. *Маремма* — широкая прибрежная болотистая равнина, часть Этрурии.

С. 253. *Лукомоны* — этрусский титул «лукомон», означающий «монарх», «царь», латинизированная форма — Луций. Римский историк Ливии в монументальном труде «Римские истории» пишет о первом римском монархе-этруске: «Женой лукомона была Танаквиль, женщина самого знатного происхождения».

С. 254. *Фаллическое сознание* — связанное с обожествлением фаллоса; фаллический культ — обожествление органов оплодотворения, имевшее место у древних народов.

Династия Тарквиниев — В 616 г. до н. э. царем Рима (город тогда состоял из нескольких поселений на берегу Тибра) становится Луций Тарквиний Приск из этрусского княжеского рода, он основал династию Тарквиниев (Приск, старший в роду, то есть основатель династии). При наследовавших ему Сервии Туллии и затем Тарквиний Гордом болотистое пространство, ставшее потом известным как Форум, было осушено. Римляне пошли войной на дом Тарквиниев, чтобы отомстить за поруганную честь римлянки Лукреции, и изгнали этрусского царя. После этого Рим стал республикой.

С. 262. *Тирренское море* — Согласно римским авторам, этруски называли себя раснами или расеннами. Греки же называли их тирренами, по водному пространству между островами Корсика и Сардиния — Тирренскому морю, где тиррены и пиратствовали.

Лидия — в древности страна на западе Малой Азии, населенная племенами лидийцев. В VII — VI вв. до н. э. независимое государство.

Улисс (Одиссей) — в греческой мифологии царь острова Итака, герой авантюрно-сказочных сюжетов и гомеровского эпоса о Троянской войне, десятилетней войне ахейских царей во главе с Агамемноном, царем Микен, против Трои, завершившейся взятием города около 1260 г. до н. э.

Хетты — народ, живший в центральной части Малой Азии, основал Хеттское царство в восточной Анатолии, существовавшее в XVIII — начале XII вв. до н.э. Соперник Египта за господство в Передней Азии.

Гомер (родился предположительно в период между 685 и 1159 до н. э.) — легендарный древнегреческий эпический поэт, автор «Илиады» и «Одиссеи». За честь называться родиной Гомера спорили семь городов.

С. 263. *Двуглазые кораблики* — на носу судов в древности мореходы рисовали глаза, чтобы корабль «лучше видел» в темноте.

Афины — Древние Афины, город-государство (полис) в Аттике, игравший ведущую роль в экономической, политической и культурной жизни Греции. Расцвет Афин пришелся на 2-ю половину V в. до н. э.

...во времена принца Карла... — Этническую основу ирландцев составляют кельтские племена гэлов, переселившихся с континента в IV в. до н. э. В XII в. на остров высадились англичане. Шотландцы — этническую группу составляют пикты, коренное население Шотландии, и кельтские племена скоттов, переселившихся в Северную Ирландию в конце V — начале VI вв. Карл I (1600—1649) — английский король с 1625 г., из династии Стюартов. Второй сын Якова I, после смерти старшего брата, Генриха, стал принцем Уэльским (1612), то есть престолонаследником. Его звали Красавец принц. Карл I закрепил английское владычество на Гебридских островах, архипелаге в Атлантическом океане у западных берегов Шотландии. В ходе Английской буржуазной революции XVII в. низложен и казнен «как тиран, изменник, убийца и враг государства». При нем была осуществлена окончательная колонизация Ирландии и Шотландии.

...эгейской ветви. — Эгейская культура — крито-микенская, в которой выделяются географические варианты: на Крите — минойская, в материковой Греции — элладская, на островах Эгейского моря — кикладская. Скорее всего, Д.Г. Лоуренс имеет в виду кикладскую.

С. 264. *...аборигенов... называют Вилланова...* — На самом деле так называют не местных жителей, а ранний период этрусской культуры, датируемый с 1000 до 700 г. до н. э., он получил такое название по имени предместья в окрестностях Болоньи, принадлежащего графу Джованни Гоццadini, богатому любителю-археологу, финансировавшему раскопки в 1853 г. Остатки

культуры Вилланова были открыты во многих городах, находившихся в центре древней Этрурии и в Кампании.

С. 265. *Царь Соломон* — третий царь израильский (965—928 до н. э.) ; когда ему было шестнадцать лет, царь Давид назначил его своим преемником. Воспитанник пророка Нафана. Отличался мудростью, автор ветхозаветных «Песни Песней» , «Экклезиаста», притчей. Построил по завещанию Давида храм Божий в Иерусалиме на горе Мориа, ставший одной из величайших святынь иудеев (около 1010 г. до Р. Х.).

Авраам — первый библейский патриарх, родился около 2000 г. до Р. Х. в Уре Халдейской (Месопотамия), женился на Сарре, с племянником отправился в Ханаан; дожил до 175 лет. У него было восемь сыновей.

Пирги — город, расположенный в 220 км севернее Рима. В переводе с греческого — башни. Пирги служил портом для города Цере, располагавшегося приблизительно в 60 км от берега. Римские авторы хорошо знали эту гавань. Вергилий воспел древний Пирги. В 384 г. до Р. Х. храм Пирги был ограблен Дионисием Старшим, 1000 талантов, похищенных из сокровищницы, Дионисию пришлось выплатить в качестве контрибуции четыре года спустя.

Magna Graecia — Магна Греция; Большая Греция, в нее входили Сицилия и южная оконечность Апеннинского полуострова, где были колонии греков.

Правитель Сиракуз — имеется в виду Дионисий Старший, правитель греческой колонии Сиракузы на острове Сицилия.

Корсары — морские разбойники, пираты (последнее название имеет греческую этимологию). В 1356 г. испанец-пират Пер Бернат защитил родные берега от атаки флотилии мавров. Каталонская, а затем испанская корона выпустила специальные сертификаты, которые давали морским волкам — отныне корсарам — право вполне законно грабить вражеские корабли.

С. 277. *Магистрат* — в Древнем Риме лицо, занимавшее государственную должность, представитель власти, например, консул, претор, трибун.

С. 278. *Vucchero* — этрусские сосуды, буккеры. Различают тонкие буккеры (тончайшие стенки и металлический отлив) и тяжелые (изящная гравировка поверхности сменяется рельефом). Черные буккеры — керамика, выражающая национальные особенности Этрурии.

...«непоруганных невест тишины». — Цитата из стихотворения Джона Китса «Ода греческой вазе». См. примечание к с. 359.

С. 287. *Вакх* (Бахус, Дионис) — в греческой мифологии бог плодоносящих сил земли, виноградарства. Божество восточного происхождения. Распространение культа в Этрурии относится к VIII — VII вв. до н. э. Помимо прочих удивительных способностей Бахуса, он освобождает людей от мирских забот, снимает с них путы размеренной жизни, рвет оковы, которыми пытаются опутать его враги. Позднее стал почитаться в Дельфах наравне с Аполлоном.

С. 289. *Епитрахиль* — часть облачения священника, расшитый узорами передник, надеваемый на шею и носимый под ризой.

С. 290. ...*очень много ветвей и ягод плюща... царство Вакха.* — У Вакха было много имен, одно из них — Эвий (плющ, из плюща), подчеркивающее его растительное происхождение. Во время плавания с острова Икария на остров Наксос его похитили морские пираты-тиррены (этруски). Они заковали Бахуса в цепи, чтобы продать в рабство, однако оковы сами упали с рук Бахуса, оплетя виноградными лозами и плющом мачту и паруса корабля, а Бахус явился в виде медведицы и льва.

Фриц Виг (1886—1945) — немецкий археолог, филолог, занимавшийся античной культурой, автор работы «Этруская живопись» и ряда других.

С. 298. *Бальтазар* (Вальтасар) — последний халдейский царь Вавилонии. Семитское племя халдеев утвердилось в конце второго тысячелетия до н. э. на берегу Персидского залива, к югу от Вавилонии. В 626 — 538 гг. до н. э. в Вавилонии стала править Халдейская династия. В Книге пророка Даниила (5,26—28) говорится о том, как во время пира у Вальтасара на стене появилось три слова «Мене, Текел, Фарес». Предсказание, смысл которого смог растолковать пророк Даниил, сбылось: ночью Вальтасара убили, а Вавилонское царство было захвачено Дарием.

Ашшурбанипал — ассирийский царь (668—631 до н. э.), прославился знаменитой библиотекой, где хранились письменные памятники культуры народов Востока.

Александр — имеется в виду Александр Македонский (356—323 до н. э.), царь Македонии, создавший крупнейшую мировую монархию древности.

С. 302. *...гусь... что спас Рим во тьме ночи.* — Когда в 390 г. до н. э. галлы захватили Рим и сожгли его, в руках римлян оставался лишь укрепленный Капитолий. Галлы пытались ночью, поднявшись по неприступной круче, атаковать крепость. Один солдат неслышно поднялся почти до самой вершины незамеченным, но споткнулся; шум разбудил священных гусей, обитавших в храме богини Юноны. Гогот птиц поднял на ноги защитников крепости. Марк Манлий, получивший затем прозвище Капитолийский, первым преградил путь врагу. В честь этой победы римляне каждый год устраивали праздничную процессию, впереди которой несли золотого гуся.

...Иисуса изображали в виде рыбы... — Изображение рыбы долгое время служило выразительной эмблемой для христиан первенствующей церкви, как и чаша, дверь, крест, якорь, агнец, виноградная лоза, корабль, голубь, пастырь и овцы. Опасение ранних христиан, что их обвинят в идолопоклонничестве как язычники, так и иудеи, тоже играло весьма существенную роль в том, что в древней церкви не было изображения лица или определенного образа Иисуса Христа.

С. 303. *Авгур* — в Древнем Риме жрец, толковавший волю богов по крику и полету птиц, по падению молнии и другим небесным явлениям; прорицатель.

...или предсказание по внутренностям жертвы... — Этруские жрецы гадали чаще всего на печени животного, принесенного в жертву. Руководство к гаданию по внутренностям животных было изложено в «Книге гаруспиков». Известное бронзовое изображение печени овцы в натуральную величину (называется «Печень из Пьяченцы»), относится к I в. до н. э., открыто в 1877 г.) служило наглядным пособием для избранных, изучающих науку гадания.

С. 305. *Сократ* (470/469 — 399 до н. э.) — древнегреческий философ, один из родоначальников диалектики как метода поиска истины путем постановки наводящих вопросов. Был обвинен в «поклонении новым божествам» и казнен (принял яд цикуты).

Тит Ливий (59 до н. э.—17 н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города», в 142 книгах, сохранилось 35 книг — о событиях периода до 293 г. до н. э. и 218—168 гг. до н. э.

С. 306. *Даже Иисус — Агнец Божий.* — См.: Новый Завет, Евангелие от Иоанна 1:29.

...так и волчица вскормила первых римлян... — Имеется в виду Капитолийская волчица, вскормившая легендарного основателя Рима и его брата-близнеца Рема. Ромул стал первым царем Рима (VIII в. до н. э.). По легенде Ромул и Рем, сыновья Реи Сильвии и бога Марса, были вскормлены волчицей и воспитаны пастухом.

С. 306—307. *Сарджент* Джон Сингер (1856—1925) — американский художник. Наряду с виртуозными светскими портретами создал психологически содержательные образы.

С. 316. *Химера* — чудовище, рожденное Ехидной и Тифоном, опустошавшее Грецию. Была убита Беллерофонтом, поднявшимся в воздух на крылатом Пегасе.

...статуе Химеры из Ареццо... — Художник Джордже Вазари в своих «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, скульпторов и архитекторов» писал: «В 1554 году во время рытья траншей и насыпей у Ареццо была обнаружена бронзовая скульптура Химеры». Хранится во Флорентийском дворце Козимо Медичи, великого герцога Тосканского.

Бенвенуто Челлини (1500—1571) — художник Возрождения, вдохновлялся в своем творчестве наследием этрусков. Знаменитый бронзовый Персей высотой более трех метров был навеян бронзовой этрусской статуэткой 350 г. до н. э., которую он до этого реставрировал.

Беллерофонт — один из главных героев старшего поколения, сын коринфского царя Главка (бога Посейдона), внук Сизифа. После того как он убил родного брата Беллера, его стали называть Беллерофонтом (убийцей Беллера — греч.).

С. 318. *Al fresco* — по свежему (*um.*); роспись стен водяными красками по сырой штукатурке стала называться фреской.

Гробница Тифона была построена в I—II вв. до н. э., когда Рим захватил этрусские города, здесь была похоронена аристократическая семья Пумпу, гробница — самая большая в некрополе Монтероцци.

С. 319. *Джек Смит* (1580—1631) — капитан, отправился в экспедицию вместе с виргинскими колонистами в 1606 г., попал в плен к индейцам. Был спасен индейской принцессой Покахонтас.

С. 321. *Деннис Джордж* — английский исследователь этрусской цивилизации, автор книги «Города и гробницы Этрурии» (1848), его экспедиции стали апогеем интереса — как научного, так и любительского, — проявившегося в новое время в культуре Этрурии.

С. 323. *Актеон* — сын Аристея и Автонои, дочери Кадма, знаменитый фивский герой, обученный Хейроном охоте. Во время охоты на горе Кифероне был превращен Артемидой в оленя и растерзан своими же псами.

Роза Бонер — французский скульптор Мари-Розали Бонер, автор знаменитой картины «Лошадиная ярмарка». Бернард Шоу писал о ней: «И тогда Роза Бонер пишет свои картины в мужской блузе и брюках, а Жорж Санд ведет жизнь мужчины...» («Святая Иоанна»).

Рубенс Питер Пауль (1577—1640) — фламандский художник эпохи Возрождения.

Веласкес Родригес де Сильва Диего (1599—1660) — испанский художник эпохи Возрождения.

С. 324. *Уильям Блейк* (1757—1827) — великий английский поэт-мистик, художник, гравер. Его поэма «Иерусалим» стала вторым национальным гимном Англии. Автор иллюстраций к «Божественной комедии» Данте.

Царство Аида — Древние греки и римляне представляли себе царство Аида, царство душ умерших, мрачным и страшным, а загробную жизнь — несчастьем. Недаром тень Ахилла, вызванная Одиссеем из подземного царства, говорит, что лучше быть последним батраком на земле, чем царем в царстве Аида.

Орк — в римской мифологии божество смерти, соответствует греческому Аиду.

С. 327. *Феопомп* — греческий историк, который в IV в. до н. э. убеждал всех в безнравственности этрусков, бесстыдстве их женщин, распутстве мужчин.

С. 329. *Morra* — морра (*um.*), азартная игра на пальцах; двое участников выбрасывают друг перед другом пальцы одной руки, одновременно с этим один из играющих называет любое число, выигрывает тот, кто угадает количество выставленных обоими пальцев.

- С. 331. Перикле *Дукати* (1880—1944) — итальянский историк и археолог, видный специалист по истории и культуре Древней Италии и Этррурии.
- С. 340. *Люсьен Бонапарт* (1775—1840) — принц французский и князь Канино, считался самым умным и образованным из всех братьев Наполеона.
- С. 347. *Гробница Франсуа* — названа по имени итальянского археолога Алессандро Франсуа, описавшего в 1857 г. только что раскопанную этрусскую гробницу IV в. до н. э. в Вульчи. Там покоится аристократ Вел Сатий.
- С. 351. *...горы Каррара, потом предгорье Апеннин, тянущееся к сердцу Тосканы.* — Один английский путешественник, посетив руины крепости Вольтерры, написал: «Даже обломки внушительны настолько, что только песни и легенды могут сказать о них: город возводили богоподобные титаны».
- С. 359. *Китс* Джон (1795—1821) — английский поэт-романтик, центральные темы его творчества — прославление гармонии и красоты природы; он автор символично-аллегорической поэмы «Гиперион». «Ода греческой вазе» по-английски звучит так: The Odes to Greek Urn.
- С. 360. *Александр Поп* (1688—1744) — английский поэт. Стихотворный трактат «Опыт о критике» — манифест английского просветительского классицизма.
- С. 362. *...в то же самое время они — стражи сокровищ.* — В греческой мифологии грифоны — чудовищные птицы с орлиным клювом и туловищем льва, «собаки Зевса», в стране гипербореев стерегут золото от одноглазых аримаспов.
- ...в образе получеловека-полуконя.* — Полулюди-полукони, кентавры, в греческой мифологии обитатели гор и лесных чащ, отличаются буйным нравом. Особое место среди кентавров занимают Хирон и Фол, воплощающие мудрость и благожелательность.
- Медуза* — в греческой мифологии Медуза, младшая из трех сестер-горгон, чудовищных порождений морских божеств, внучек Земли Геи и Моря Понта. Отличаются ужасным видом — крылатые, покрытые чешуей, со змеями вместо волос, со взором, превращающим все живое в камень. Персей обезглавил спящую горгону Медузу, из ее крови появился крылатый Пегас.
- С. 363. *...Мелеагр и калидонский вепрь...* — Мелеагр, сын царя Калидона Ойнея, принял участие в охоте на вепря, в ней участвовали все герои Эллады. В награду победивший должен был получить шкуру зверя. Победил вепря Мелеагр. В греческой мифологии это один из наиболее распространенных мифов, в котором объединены сказания о многих героях материковой Греции.
- ...яростный зверь Эриманфа.* — Эриманф, сын Аполлона, был ослеплен Афродитой, когда невольно увидел купающуюся богиню. Аполлон в отместку насылает на Адониса, спутника и возлюбленного Афродиты, дикого вепря, и тот убивает Адониса.
- С. 364. *Елена* — спартанская царица, прекраснейшая из женщин, дочь Зевса и Леды, из-за которой разгорелась Троянская война, одна из главных героинь античных произведений.
- Диоскуры* — сыновья Зевса, братья-близнецы Кастор и Полидевк.
- Пелоп* — сын Тантала. Убив сына, Тантал пригласил богов на пир и подал им угощение, приготовленное из тела Пелопа. Разгневанные боги приказали Гермесу вернуть Пелопу жизнь.
- Минотавр* — чудовище-человекобык по имени Астерий, жившее на Крите. Был помещен в подземный лабиринт, построенный Дедалом. Тесей убил чудовище и с помощью нити своей возлюбленной Ариадны вышел из лабиринта.
- Ясон* — правнук бога ветров Эола, участник Калидонской охоты, предводитель аргонавтов. Стал мужем Медеи, которая помогла ему похитить Золотое руно.

Медея, убегающая из Коринфа — дочь царя Колхиды Ээта, возлюбленная Ясона, помогла ему овладеть Золотым руном, став его женой, поселилась с ним в Коринфе. Когда Ясон решил жениться на Главке, Медея отравила соперницу. Убив своих детей, она улетела из Коринфа на колеснице, запряженной крылатыми конями.

Эдип — сын фиванского царя Лая и Иокасты. Так как Лаю была предсказана смерть от руки собственного сына, он велел жене бросить младенца на горе Киферон, проколов ему спицей сухожилия. Однако пастух отнес его бездетному царю Полибу, назвавшему его Эдипом («с опухшими ногами»). Когда Эдип подрос, он отправился в Дельфы узнать у оракула Аполлона о своем происхождении. Тот предсказал ему, что он убьет отца и женится на матери. Предсказание Аполлона сбылось — он убил Лая, не зная, что тот его родной отец, а вскоре женился на его вдове и стал царем Фив. Они прожили вместе 20 лет, и у них родилось четверо детей, но потом Эдип узнал, чей он сын, и выколол себе глаза золотой застежкой, снятой с пояса повесившейся Иокасты. Миф об Эдипе нашел самое яркое отражение в трагедии Софокла «Царь Эдип».

Сфинкс — чудовище, порожденное Тифоном и Ехидной с лицом и грудью женщины, телом льва, крыльями птицы. Сфинкс расположилась на горе близ Фив и спрашивала каждого: «Кто из живых существ утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?» Загадку разгадал Эдип.

Сирены — демонические существа, рожденные рекой Ахеолом и одной из муз — Мельпоменой, Терпсихорой или дочерью Стеропа. Это полуптицы-полуженщины, унаследовавшие от отца дикую стихийность, а от матери — божественный голос. Они обитают на скале, куда заманивают своих жертв. В классической античности Сирены превращаются в сладкоголосых, мудрых существ, своим пением создавая величавую гармонию космоса.

Этеокл — сын Эдипа и Иокасты, брат Полиника и Антигоны. Изгнал брата из Фив, потом возглавил оборону осажденного города. О нем писали Эсхил — «Семеро против Фив» и Еврипид — «Финикиянки».

Полифем — циклоп, сын Посейдона и нимфы Тоосы. Кровожадный великан с одним глазом, живет в пещере, пасет коз. Одиссей ослепил его, тем самым избежав участи своих товарищей, которых Полифем съел.

Лапифы — фессалийское племя, обитавшее в горах и лесах Оссы и Пелиона. Название «лапифы» означает «каменные», «горные», «дерзкие». Лапифы — участники Калидонской охоты и похода аргонавтов.

Ифигения — дочь Агамемнона и Клитеместры. Артемида, оскорбленная Агамемноном, потребовала принести в жертву Ифигению, но во время жертвоприношения она была похищена с алтаря сжалившейся над ней Артемидой и перенесена в Тавриду, где стала жрицей ее храма.

«*Тимон Афинский*» — трагедия Уильяма Шекспира, написанная в 1608 г.

...*Католическая Церковь была здесь низвергнута.* — В XVI в. государственной религией Англии стала одна из конфессий протестантизма — англиканская церковь. По духу и обрядовым канонам ближе всех прочих ветвей протестантизма к католической церкви.

С. 365. *Елзаветинцы* — имеются в виду величайшие поэты эпохи правления Елизаветы I (1533-1603) Э. Спенсер, У. Рэйли, У. Шекспир.

Утро в Мексике

С. 376. *...Но головы пред нею не склоняю.* — Стихотворение У.Е.Хенли «Invictus. In Memoriam R.T.H.V.»

С. 377. *Ацтеки* — крупнейший народ в Мексике, язык ацтекский (науатль), католики. До XVI века на территории современной Мексики существовало государство ацтеков со столицей Теночтитлан. Создали уникальную культуру, уничтоженную испанскими конкистадорами.

С. 383. *«...откуда придет помощь моя...»* — См.: Ветхий Завет, Псалтирь 120:1.

С. 385. *«...птица ты или демон вещей?»* — цитата из стихотворения Эдгара По «Ворон». Перевод Дм.Мережковского.

С. 388. *Кактус-орган* — кактус, который так называют за мощные боковые ветви, поднимающиеся, как трубы органа, высоко вверх.

Васкес — вероятно, имеется в виду Грегорио Васкес (1638—1711), колумбийский художник.

С. 389. *Форум* — в Древнем Риме площадь, рынок, ставшие центром политической жизни.

С. 392. *Хуарес Бенито* Пабло (1806—1872) — национальный герой Мексики, президент (1861—1872). Возглавлял борьбу против интервентов во время Мексиканской экспедиции.

С. 393. *Zapotec* — сапотеки (*исп.*), индейский народ в Мексике, язык — отоми-миштеко-сапотекской семьи.

С. 410. *Монтесума* (1466—1520) — вождь ацтеков с 1503 г., был захвачен в плен Эрнаном Кортесом, призывал покориться испанцам, за что был убит восставшими индейцами.

С. 411. *...вместо остролиста.* — Из веток остролиста плетут рождественские венки и гирлянды.

...кактусы-канделябры... — Имеется в виду карнегия гигантская, достигающая 10—12 м в высоту, растение-долгожитель: живет до двухсот лет. Огромные, толщиной до 70 см канделябровидные ветви, как гигантские свечи, видны издалека.

С. 414. *Mixtecas* — микстеки (*исп.*) — индейское племя, населяющее Мексику.

С. 417. *Бернал Диас* — солдат Кортеса. Сопровождал его в походе на ацтекскую столицу в 1519 г.

Кортес Эрнан (1485—1547) — испанский конкистадор. В 1504—1519 гг. служил на Кубе. В 1519—1521 гг. возглавлял завоевательный поход на Мексику, приведший к установлению там испанского владычества. В 1522—1528 гг. — губернатор, в 1529—1540 гг. — генерал-капитан Новой Испании (Мексики).

С. 419. *Макс Рейнхардт* (наст. имя Максимилиан Гольдман, 1873—1941) — известный немецкий режиссер, художественный руководитель Берлинского национального театра. С приходом к власти нацистов эмигрировал в США; одна из его самых удачных постановок в эмиграции — «Сон в летнюю ночь» У.Шекспира.

«Король Лир» — трагедия Уильяма Шекспира, написанная в 1604 г.

«Электра» — трагедия великого древнегреческого драматурга Софокла (ок. 496 — 406 до н. э.).

...на сцене — машина. — Бог из машины, драматургический прием, применявшийся в античной трагедии: запутанная интрига получала неожиданное разрешение — вмешивался бог, который с помощью механического приспособления появлялся среди действующих лиц. В современной литературе употребляется для указания на неожиданное разрешение трудной ситуации.

Миссис Парадизо — вероятно, имеется в виду Беатриче, проводившая Поэта в Рай (Paradiso) — в «Божественной комедии» Данте.

С. 438. *Хопи* — индейское племя и поселение, где живет это племя.

Санта-Фе — город в Аргентине, административный центр.

С. 442. *Святой Франциск Ассизский* (1181 или 1182—1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных и поэтических произведений.

С. 445. *Quos vult perdere Deus...* — Кого бог (Юпитер) хочет погубить, того он прежде всего лишает разума (лат.). Позднелатинская формулировка мысли, неоднократно встречающаяся у греческих и латинских авторов.

С. 459. «Возвысьсь, как Колосс...» — Шекспир У. Юлий Цезарь. Акт 1. Сцена 2. Перевод М.Зенкевича.

Эссе

Порнография и непристойности

Ставшее одним из наиболее известных публицистических выступлений Д.Г.Лоуренса против лицемерия и ханжества буржуазной общественной морали и охранительной цензуры эссе «Порнография и непристойности» было вызвано к жизни усилившимися нападками на литературное и живописное творчество автора. Завершенное в конце апреля 1929 года, оно впервые было опубликовано в августе—сентябре в парижском журнале *This Quarter*, а затем, в более расширенном варианте, отдельной брошюрой в лондонском издательстве «Фейбер энд Фейбер». Спустя год тот же вариант эссе вышел в издательстве «Альфред А.Нопф» в Нью-Йорке.

Вошло в антологическое собрание эссеистики и прозы писателя «Феникс. Посмертные рукописи Д.Г.Лоуренса» (Лондон, Хейнеманн, 1936). В послевоенные десятилетия неоднократно перепечатывалось в сборниках литературно-критических произведений писателя.

С. 465. *Кромвель* Оливер — см. примечание к с. 158.

С. 466. *Аристофан* (446 — 385 гг. до н.э.) — величайший древнегреческий комедиограф, впоследствии прозванный «отцом комедии».

С. 467. *Рабле* Франсуа (1494—1553) — французский писатель-гуманист эпохи Возрождения, автор бессмертного романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Аретино Пьетро (1492—1556) — итальянский поэт и драматург эпохи Возрождения, вошедший в поговорку фривольностью своих сюжетов и образов.

Боккаччо Джованни (1313—1375) — итальянский поэт и прозаик, создатель знаменитого «Декамерона» — собрания новелл, сатирически рисующих быт и нравы своего времени.

С. 469. *Тициан* Вечеллио (ок. 1480—1576) — итальянский живописец позднего Возрождения, глава венецианской школы живописи.

Ренуар Огюст (1841—1919) — ведущий представитель импрессионизма во французской живописи.

«*Песнь Песней*» — «Книга Песни Песней Соломона» — одна из книг Ветхого Завета, пронизанная вдохновенной чувственностью образов и метафор.

«*Джен Эйр*» (1847) — наиболее известный из романов английской писательницы Шарлотты Бронте (1816—1856), сыгравший заметную роль в развитии движения за эмансипацию женщины в обществе.

«*Памела, или Вознагражденная добродетель*» (1740) — снискавший шумную и неоднозначную известность роман английского прозаика Сэмюэля Ричардсона (1689—1761).

«*Кларисса Харлоу*» (1749) — роман Сэмюэля Ричардсона.

...*вагнеровская опера «Тристан и Изольда»* (1859) — созданная по мотивам кельтских средневековых преданий опера немецкого композитора Рихарда Вагнера (1813—1883).

...*авторица «Шейха»*... — Эдит Мод Холл, дебютировавшая в 1919 году остросюжетным романом о похищении в пустыне английской аристократки арабским шейхом; с пренебрежением отвергнутый критикой роман стал бестселлером и в 1921 г. был экранизирован с Рудольфом Валентино в главной мужской роли.

С. 473. «*Мельница на Флоссе*» (1860) — роман виднейшей представительницы английской реалистической прозы викторианской поры Мэри-Энн Эванс, писавшей под «мужским» псевдонимом Джордж Элиот (1819—1880).

С. 474. *Марсель Пруст* (1871—1922) — французский прозаик, виднейший представитель экспериментального романа в XX столетии, автор романа-эпопеи «В поисках утраченного времени».

С. 476. *Когда полиция совершила налет на мою выставку...* — Писатель имеет в виду налет лондонской полиции на его персональный вернисаж летом 1929 г., в ходе которого под предлогом «недопустимо эротического» содержания было конфисковано тринадцать его полотен.

Почему важен роман

Эссе, в наиболее полной форме воплощающее мировоззренческий взгляд Д.Г.Лоуренса на роман как литературный жанр, его идейно-художественные потенции и перспективы в жизни общества*, было создано, по мнению биографов писателя, в июне 1925 года в Куэсте, штат Нью-Мексико.

Наряду с другими эссе-манифестами автора, созданными в это время («Искусство и мораль», «Мораль и роман», «Роман», «Роман и чувства»), оно должно было предположительно войти в пронизанную пафосом язвительного неприятия буржуазных эстетических стандартов книгу эссе «Размышления о смерти дикобраза» (вышла в Филадельфии в 1925 году), однако впоследствии писатель отказался от этого намерения. При жизни Д.Г.Лоуренса не публиковалось.

Первая публикация: «Феникс. Посмертные рукописи Д.Г.Лоуренса» (Лондон: Уильям Хейнеманн, 1936).

На русском языке впервые напечатано в книге: Писатели Англии о литературе. М.: Прогресс, 1981.

С. 479. *Франциск Ассизский* (1181 или 1182—1226) — см. примечание к с. 442.

С. 482. «*Трава иссохнет, цветок увянет, но Слово Господне пребудет вовеки*». — Исаия, 40 (6—8).

Из книги «Очерки классической американской литературы»

Работа над этой книгой очерков — не столь литературно-критических, сколь историко-философских — растянулась для автора почти на десятилетие. 15 сентября 1917 года Д.Г.Лоуренс записывает в дневнике: «Я пишу ряд эссе о “Трансцендентальной стихии в классической американской литературе”»*.

Отвлеченный работой над другими замыслами, он на время оставляет работу над этой книгой, но возвращается к ней в январе—июне 1918 года, создавая двенадцать глав-очерков. Восемь из них печатаются в журнале «Инглиш Ревью» в период с ноября 1918 по июнь 1919 года. Однако книга упорно отказывается складываться в единое целое, и прозаик радикально переделывает их — в декабре 1920 года на Сицилии, в сентябре—декабре 1922 года — на юге США. Наконец в июне 1923 года, уже из Мексики, он отправляет своему американскому издателю Томасу Селтцеру прочитанные гранки. В конце года книга выходит в США, а годом позже в Лондоне, в издательстве «Уильям Хейнеманн».

О значении американской литературы для мировой культуры и собственного творчества Д.Г.Лоуренс пишет в предваряющем «Очерки» предисловии:

«Мне кажется, подлинного предела достигли два массива современной литературы: русская и американская... А под американской я отнюдь не имею в виду Шервуда Андерсона, такого русского. Я имею в виду стариков: тоненькие книжечки Готорна, По, Даны, Мелвилла, Уитмена. Они, мне кажется, достигли предела, как достигли его с другой стороны и более объемные Толстой, Достоевский, Чехов, Арцыбашев...»

На русском языке впервые публикуются два очерка, посвященные произведениям Натаниэля Готорна (1804—1864).

Натаниэль Готорн и «Алая буква»

С. 485. *«Как вам это понравится»* (1599) — комедия У.Шекспира.

«Смерть Артура» (1470) — роман Томаса Мэлори (?—1471), первая в истории английской литературы обработка цикла средневековых мифов о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола.

Лонгфелло Генри Уодсворт (1807—1882) — американский поэт-романтик, автор национального эпоса *«Песнь о Гайавате»* (1855).

С. 490. *Зверобой не позволил Джудит Хаттер соблазнить себя.* — Имеются в виду персонажи романа Джеймса Фенимора Купера (1789—1851) *«Зверобой»* (1841), завершающего цикл произведений, объединяемых персонажем Натти Бампо по прозвищу Кожаный Чулок.

С. 491. *Все же не Бампо.* — Натти Бампо — персонаж романов Джеймса Фенимора Купера о Кожаном Чулке.

С. 492. *Лигейя* — героиня одноименной новеллы (1838) американского писателя-романтика Эдгара Аллана По (1809—1849), образ идеальной возлюбленной.

С. 494. *...одураченный Энджел Клер возненавидел Тэсс. Так же, как Джуд в конце возненавидел Сью...* — Имеются в виду главные герои романов Томаса Гарди (1840—1928) *«Тэсс из рода д’Эрбервиллей»* (1891) и *«Джуд незаметный»* (1896).

С. 495. *Вильсон Вудро* (1856—1924) — президент США (1913—1921).

С. 498. *...клеймо Гекаты и Астарты.* — Геката — в греческой мифологии богиня мрака и чародейства; Астарта — богиня плодородия и любви в мифологии западных семитов.

С. 502. *Бэкон Фрэнсис* (1561—1626) — английский философ, литератор и государственный деятель елизаветинской поры, автор романа-утопии *«Новая Атлантида»* (1626).

Бэкон Роджер (ок. 1220—ок. 1292) — английский ученый и философ позднего Средневековья.

Готорн: «Роман о Блайтдейле»

С. 507. *Клеопатра* (69—30 гг. до н.э.) — последняя царица Египта из династии Птолемеев, вошедшая в легенду своей красотой и искусством покорять мужчин.

Потому что, когда Цирцея ложится с мужчиной... — в древнегреческой мифологии дочь бога солнца Гелиоса, обитающая на острове Эа и владеющая колдовскими чарами; персонаж десятой песни «Одиссеи» Гомера.

С. 509. *Старая мелодия, сыгранная Кревкёром*. — Мишель-Гийом-Жан де Кревкёр (1735—1813) — французский дворянин, эмигрировавший в Новый Свет и проживший там десять лет, занимаясь фермерским хозяйством. Вернувшись в Европу в разгар войны за независимость, опубликовал под псевдонимом «Дж.Гектор Сент-Джон, фермер из Пенсильвании» получившие сенсационную известность «Письма американского фермера» (1782), ставшие одним из первых образцов своеобразного жанра «Америка глазами европейца».

С. 511. *Фуллер Маргарет* (1810—1850) — американская писательница и публицист, внесшая заметный вклад в развитие движения за женское равноправие.

С. 512. *...Гефесту подземного царства*. — Гефест — в древнегреческой мифологии бог кузнечного ремесла.

«Уединенное», «Опавшие листья» В.В.Розанова

27 апреля 1927 года Д.Г.Лоуренс пишет одному из своих корреспондентов из Флоренции: «Розанова я прочел, как только получил; и как только прочел, написал рецензию...»*. В июле того же года лоуренсовский отзыв на русского философа был опубликован в альманахе *Calendar of modern letters*.

Второй отзыв писателя — на книгу В.В.Розанова «Опавшие листья» — оказался едва ли не последней прижизненной публикацией Д.Г.Лоуренса: написанная в первую неделю ноября 1929 года короткая рецензия вышла в газете «Эвримен» 23 января 1930 года, за месяц с небольшим до кончины ее автора.

В 1936 году обе рецензии вошли в собрание эссеистики и прозы писателя «Феникс. Посмертные рукописи Д.Г.Лоуренса».

С. 516. *...мнение князя Мирского...* — Святополк-Мирский Д.П. (1890—1939) — русский литературовед, после революции эмигрировавший на Запад. В 1922—1932 гг. преподавал русскую литературу в Англии, активно пропагандируя отечественных писателей, в числе которых особое место отводил В.В.Розанову как выдающемуся религиозному философу и одному из реформаторов русского языка и стиля.

С. 518. *Бедный Вольтер, он тоже раскаивался...* — Вольтер Франсуа-Мари-Аруэ (1694—1778) — французский литератор, ученый и философ, основоположник и редактор «Энциклопедии», один из ведущих деятелей европейского Просвещения.

С. 519. *Рип ван Винкль* — персонаж одноименной новеллы (1819) американского писателя-романтика Вашингтона Ирвинга (1783—1859).

С. 527. *Вейнингер Отто* (1880-1903) — австрийский психолог, автор отмеченной антифеминистской направленностью книги «Пол и характер» (1903).

Николай Пальцев,
Алла Николаевская
Содержание

ЛИС 5

Перевод М.Кореновой

СУМЕРКИ ИТАЛИИ 87

Перевод А.Николаевской

Распятие в горах 89

На озере Гарда

1. Пряжа и монахи 102
 2. Сады лимонов 114
 3. Театр 139
 4. Сан-Гауденцио 166
 5. Танец 182
 6. Грубиян 189
 7. Джон 196
 8. Итальянцы в изгнании 206
- Возвращение 227

ПО СЛЕДАМ ЭТРУСКОВ 241

Перевод А.Николаевской

1. Черветери 243
2. Тарквиния 261
3. Фрески гробниц Тарквинии 279
4. Фрески гробниц Тарквинии 307

5. Вульчи 330

6. Вольтерра 351

УТРО В МЕКСИКЕ 371

Перевод А.Николаевской

1. Корасмин и попугай 373

2. Прогулка в Хуайапа 382

3. Mozo 397

4. Базарный день 410

5. Индейцы и развлечения 419

6. Танец прорастающего зерна 431

7. Танец змей в Хопи 438

8. Немного домашнего вина с лимоном, бреда и лунного света 459

ЭССЕ 463

Порнография и непристойности 465

Перевод Ю.Комова

Почему важен роман 477

Перевод Н.Пальцева

Натаниэль Готорн и «Алая буква» 485

Перевод Е.Богатыренко

Готорн: «Роман о Блайтдейле» 505

Перевод Е.Богатыренко

«Уединенное» В.В.Розанова 516

Перевод А.Николаевской

«Опавшие листья» В.В.Розанова 522

Перевод А.Николаевской

Н.Пальцев, А.Николаевская Комментарии 528

Литературно-художественное издание

Лоуренс Дэвид Герберт

том VII

*Сумерки
Италии*

Редактор

А.Г.Николаевская

Младший редактор

Д.В.Савиных